

181

Н. К. БУХ

801-17

3561

505

91-76

17458

ВОСПОМИНАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ФЕЛИКСА КОНА



28-39044.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И СС-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва—1928



ГЛАВЛИТ А-15883
ТИРАЖ 3000 экз.

Заг. 1400



2007076655

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Среди некоторого количества воспоминаний, появившихся в последнее время, воспоминания Н. Буха занимают особое место. Мы не сравниваем их с другими, не оцениваем выше или ниже они других, мы лишь отмечаем, что они иные по своему характеру.

Воспоминания таких крупных светил революции, как В. Н. Фигурин, М. Ф. Фроленко и т. п., при всем желании авторов избежать того, приковывают к себе внимание читателя прежде всего тем, что они написаны ими, описание же среды является, если можно так выразиться, лишь «побочной продукцией», имеющей значение лишь постольку, поскольку оно служит фоном для их деятельности. Н. Бух не принадлежит к числу этих революционных светил. Он не рядовой революции — то во всяком случае и не генерал. В его воспоминаний менее всего требуется восстановление той либо другой черты его характера; автор в них, опять-таки, независимо от того, желает ли он этого или нет, отступает на далекий план, то время как на первый план выступает та среда, в которой ему приходилось действовать, вначале — чиновничья, а затем студенческая, крестьянская, революционная.

Н. Бух — человек, одаренный способностью наблюдать и иной раз штрихом изображать замеченное. Так, например, вспоминая отца он пишет: «строгий был у нас родитель, как строг был и Николай I, которому он служил. Но когда на престол вступил Александр II и правительственная политика изменилась, отец смягчился...». Какой характерный для тогдашнего чиновничества штрих. нас уже мало интересует надуманное автором или отцом — это различно, объяснение этого явления тем, что он и сам был в ссылке пощечину, данную им когда-то начальнику из-за личной обиды или что он был в каком-то родстве с декабристами. Ведь и об этой ссылке и об этом родстве он вспомнил лишь тогда, когда сверху дул другой ветер... Но явление подмечено верно и верно изображено.

Таковыми верно подмеченными явлениями, в настоящее время уже совершенно исчезнувшими, полным воспоминания Н. Буха. А так как он еще в детстве был свидетелем доживавшего крепостного права, а в юности пережил период величайшего подъема народной интеллигенции и сам был участником знаменитого «хажения в народ», в его воспоминаниях находят свое отображение и явления тогдашней мрачной действительности, и целая галерея типов, то они как исторический памятник представляют большую ценность.

В воспоминаниях Н. Буха упоминаются лица, которые впоследствии оказались далеко не такими, какими были тогда и какими изображает автор. Исходя из того, что воспоминания тем ценнее, чем точнее воспроизводятся в них описываемые автором условия того времени и отношения между деятелями, редакция воздержалась от внесения каких бы то ни было исправлений в характеристики лиц, упоминаемых автором.

Феликс Кон.

I. ДЕТСТВО.

Мать моя была русская, дочь дворянина, владельца сельца Ваксина, Калужской губернии. Во всем этом селе, насколько помню, было не больше двадцати крестьянских изб. Отец был норвежец. Дед его состоял посланником при дворе Екатерины II от Дании, Швеции и Норвегии, а затем приняв русское подданство, променял свой посольский мундир на красный мундир русского сенатора. Отец, подчиняясь духу времени, гордился своим дедом: большие портреты этого сенатора, в мундире и орденах, и его жены, в котором-то причудливом платье и седых локонах, в золоченых рамах крашали наши парадные комнаты. Портрет же моего деда по отцу занимал скромное место на письменном столе своего сына и был крашен лишь каким-то незначительным орденом на груди. Со стороны матери никаких фамильных портретов не было. Отец в числе своих многочисленных родственников имел и французов и немцев. Был, таким образом, уже по рождению своему был интернационалистом. Но в семействе нашем — за исключением отца, хорошо владевшего французским и отчасти немецким языками, — все говорили только по-русски и считали себя кровными россиянами.

Отца моего в первые 15 лет после женитьбы постоянно переводили из города в город, а потому все его ребята, а нас было девять душ, являлись на свет в различных российских городах и каждый из нас имел свой особый родной город, о котором часто до самой глубокой старости никакого представления не имел.

Я родился 6/18 ноября 1853 г. в г. Калуге; трех месяцев меня уже перевезли в Москву. Из калужской жизни я, со слов братьев, могу рассказать лишь два характерных для того времени эпизода. Как-то осенью, в день именин моей матери и старшей сестры — Любови и Надежды — дед, именине которого находилось в 40 вер. от Калуги, прислал в подарок целый воз, нагруженный овощами и фруктами. Наверху этого воза, как-бы венчая его, сидела маленькая репостная девочка, включавшаяся на-ряду со всякой снедью, в именинный подарок. Братья — старшему из них было всего десять лет — наевшись яблок и груш, обратили внимание и на девочку, испуганно таращившую на них свои глазенки. Они затащили ее в сад и не знали, что с ней делать. А сделать что-то обязательно

нужно было. Наконец, старший придумал: высечь ее крapiвo. Проект был принят и приведен в исполнение. Узнал об этом отец ребят строгий выговор. А девочку, очень скупавшую по ревне, во избежание впоследствии более серьезного над ней надругательства, что очень дурно отразилось бы и на его детях, возвратил ее родным. Другой эпизод. Построили ребята во дворе домик из обломков кирпичей, разукрасили его флагами. Захотела курочка снести яичко, залезла в этот домик и погибла под его развалинами. Стал судить отец, отыскивать виновных. Ребята докзывали, что домик был прочно построен, что курица не могла его развалить, а развалил его, вероятно, дворовый пес Барбос, имевший привычку чесать свои бока о все удобные для этого предметы. Отец, чтобы не оставить невольных убийц курочки без наказания, подверг экзекуции и строителей домика, и старого Барбоса, как предполагаемых виновников данного преступления.

Строгий у нас был родитель, как строг был и Николай I, которому он служил. Но когда на престол вступил Александр II и правительственная политика изменилась, отец смягчился. Он вспомнил, что и сам был в ссылке и хотя далеко не по прямой линии, но все-таки приходился несколько сродни только что вернувшимся из Сибири декабристам, которым в тайниках своей души всегда сочувствовал. В ссылку отец попал в первые же месяцы своего вступления в жизнь по окончании офицерских классов инженерного училища. Как танцевал он на великосветском балу. Пригласил даму на кадрили, а стулья все разобраны, посадить даму негде. Разыскал он где-то в задних комнатах стул и торжественно несет его на свое танцевальное место. Но когда уже подходил он к своей даме, к нему вдруг подлетает какой-то молодой генерал и пытается вырвать у него стул. Отец не дает. Генерал накричал, назвал его мальчишкой. Дама смотрит на отца со смущенной улыбкой. Отец дает генералу пощечину. Это при Николае I, когда все офицеры перед генералами тянулись в струнку. Отец был арестован, ему грозил суровое наказание, но нашлись защитники. Отца сослали в Оренбург, где он и пробыл несколько лет. Об этой ссылке отец всегда вспоминал с гордостью.

Когда подросток сыновья, вспоминая старину, которой уже минула десятилетия давность, напомнили как-то отцу о двух выше описанных эпизодах и спросили его, почему за высеченную или крапивой девочку они получили только выговор, а за убитую курочку были на равных правах с покойным Барбосом подвергнут телесному наказанию, отец рассердился и, ударив кулаком по столу, закричал на них: «Врете, никогда этого не было». Так и не узнал старик.

Я уже рос в эпоху смягченных нравов и никаким телесным наказаниям не подвергался, освободил меня от них своими реформами Александр II.

В Москве отец пробыл около двух с половиной лет. Жить в Москве с девятью ребятами было очень трудно. Когда я родился, отец отметил в своей записной книжке: «6 ноября 1853 года родился сын Николай. Последний!». Эта запись на языке того времени означала полное прекращение супружеских отношений между нашими родителями. Искусственных мер к прекращению деторождения в то время не знали и считали бы такие мероприятия в высшей степени предосудительными. Матери было, когда я родился, всего тридцать лет, ей было трудно. Она подала прошение царю об определении на казенный счет одного из старших сыновей, как более шаловливого, в кадетский корпус, а трех других, в том числе и самого младшего из них, брата Льва — в гимназию. Прошение было удовлетворено, все четыре брата были размещены в учебных заведениях С.-Петербурга. Это сняло с плеч матери только одну беду и далеко не главную, больше детей у нее не было.

Московские воспоминания, за малостью моих лет, у меня не сохранились. Помню только рассказ нашего единственного раба, лакея Никиты, полученного отцом в приданое за матерью. Никита вспоминал, что я присутствовал на коронации Александра II, в покушении на жизнь которого впоследствии обвинялся, и, сидя на руках Никиты, вместе с окружавшей нас толпой кричал «ура». В Москве умерла одна из моих сестер. Нас осталось — семь братьев и одна сестра, самая старшая из нас.

В 1856 году отца моего назначили управляющим уфимской палатой государственных имуществ. Это был крупный переворот в его жизни. Жалованья он стал получать значительно больше, половину ребят удалось сдать на содержание казны, материальные условия сложились благоприятно.

Губернатором в Уфе, куда мы переехали, был Григорий Аксаков, сын известного писателя Сергея и брат не менее известных Ивана и Константина Аксаковых. Так было в момент, с которого начинаются мои личные воспоминания. А момент этот, благодаря оригинальному стечению обстоятельств, я хорошо помню. Мне шел четвертый год. Как сейчас вижу нашу столовую. Мать сидит в кресле и что-то вяжет, а перед нею стоит в позе визитера Карташевский, друг семьи Аксаковых и, кажется, их сосед по имени. Он гладит меня по голове и, обращаясь к матери, говорит:

— В этом возрасте они еще совсем глупые, ничего не помнят. Что пережил сегодня, он через месяц уже не будет помнить.

— Ну, уж и через месяц... — подала реплику мать, продолжая свое вязанье.

— Самое большее через полгода... Скажи мне, — обратился Карташевский в мою сторону, — ты помнишь, как мы переехали на эту квартиру?

Напрягаю свою память, но ничего припомнить не могу. Это меня поражает и огорчает. Вырываюсь, выскакиваю на двор, вооружаюсь

своей палкой-конем. Чудный солнечный день, ароматный воздух, зеленая майская травка покрывает землю пушистым ковром. Скачу на своем коне и думаю. Как хорошо... и я это забуду... не может это исчезнуть из моей памяти. Время-от-времени я проверял себя: забыл или не забыл? И каждый раз описанная сцена выплывала в моей памяти во всех своих деталях. Таким же образом я зафиксировал в себе и несколько других эпизодов из этого моего раннего детства. Помню, напр., как приехали на лето мои старшие братья из Петербурга. Мать встречала их слезами радости, а они, наряженные в свои мундирчики с красными воротничками и серебряными пуговицами, холодно подставляли ей свои щеки для поцелуев, а потом, разбежавшись по усадьбе, вели себя как в стране завоеванной, всюду внося беспорядок. Но в общем Карташевский, конечно, был прав. Вся жизнь за этот период, кроме немногих зафиксированных мною эпизодов, провалилась из моей памяти в нирвану. Так, напр., двух своих старших братьев, оставшихся со мной дома, я помню за это время лишь настолько, насколько они вошли в зафиксированные в моей памяти сцены, в которых играли всегда второстепенные роли. А где была наша детская, как мы проводили в ней время, какие отношения установились тогда между братьями, — все это покрыто для меня мраком неизвестности.

Спустя года полтора, когда мы жили уже на другой квартире, я без искусственной фиксации запомнил смерть брата, самого близкого ко мне по своему возрасту. Оба мы заболели скарлатиной и лежали в детской. Была при нас сиделка, навещали нас только мать и доктор. Помню меня поразило, что брат, раньше разговаривавший со мной, перестал отвечать на мои вопросы. Мне запретили окликать его, говоря: «Женя болен... Женя спит, нельзя его беспокоить». Пришел доктор, слегка осмотрел меня и очень долго что-то делал у кровати Жени. Вечером собрались три доктора. Осмотрев брата, они сели на диван, что стоял против моей кровати, и, не стесняясь моим присутствием или забыв обо мне, — я был закрыт кисейной занавеской, — совещались между собой. Один из них сказал: «...я много видел ребят в таком положении, все они отправились на тот свет». Фраза эта не была мной понята, она возбудила во мне только любопытство. Куда это Женя отправится, в какой другой свет? В результате совещания решили обертывать брата в простыни, смоченные в кипятке. Я испугался за брата, зная, что кипяток причиняет боль. Доктора ушли, я уснул. Ночью проснулся от необычайного шума. Раздвинул занавески своей кровати и увидел, что брата обертывают в горячие мокрые простыни, от которых клубами валит пар. Я протестовал. Сиделка меня успокоила: «Женя не кричит, значит не чувствует боли». Верно, брат молчал. Я повернулся на другой бок и заснул.

Когда утром я проснулся, меня поразило, что нет ни брата, ни его кровати. Пришла мать, принесла мне фунт конфет, до которых

я был большой охотник. Я ее спросил: «Где Женя?». Удерживаясь от рыданий, она объяснила мне, что Жене лучше, что его унесли в нижний этаж нашей квартиры. Я с'ел несколько конфет, остальные спрятал под подушку. Через несколько часов пришел доктор. Осмотрев меня, он отошел с матерью в сторону и сказал: «Нет ничего серьезного, нужна только осторожность в пище: не давайте сладких булок, жирного, особенно вредны ему конфеты». Я моментально вынул конфеты из-под подушки и спрятал их под тюфяк. Доктор ушел, мать потребовала, чтобы я отдал ей подаренные мне конфеты, но мне удалось уверить ее, что конфеты мной уже с'едены. Мать побледила и ушла. Конфеты я с'ел ускоренным темпом, они не повредили мне. Скоро я совершенно поправился.

Когда мне разрешили спуститься в нижний этаж нашей квартиры, обошел все комнаты, но к удивлению моему не нашел там брата Жени. Стал расспрашивать. От меня старались отделаться, но я проявлял настойчивость и безжалостно бередил еще свежую рану в сердце матери. Наконец, брат мой, который был старше меня на три года, объяснил мне, что Женя умер, что умереть это значит не двигать ни руками, ни ногами и закрыть глаза, что Женю положили и заколотили в ящик... «Такой?» — спросил я с недоумением, ужасом и любопытством, указывая на ящик с салынными свечами, стоявший у нас в буфетной. «Нет, — пояснил брат, — в гроб, в хороший, блестящий ящик. Положили, заколотили и зарыли в землю». Все это я представлял себе крайне смутно, но в конце-концов помнил с мыслью, что брата Жени у меня больше нет. Скоро мать повезла меня и на его могилку.

Помню и свадьбу своей сестры. Сестра, когда ей минуло четырнадцать лет, была еще из Москвы отправлена отцом в Петербург, моего родным, для привития ей светского лоска. Года через три она приехала в нашу глушь. Уфимские кавалеры ей, конечно, не понравились своей «грубостью». Но почти одновременно с ней приехал Уфу отпрыск московских аристократов, старого дворянского рода Смирновых. Этому Смирнову по наследству досталось небольшое имение около Уфы. Усадьбы не было. Он все лето, осень и весну жил в избе своего старосты, пьянствовал и развратничал. Ранней же зимой, ликвидировав добрую часть хлеба, собранного его крепостными, брал с собой двух парней, наряжал их в черные костюмы, везя их на это время лакеями, и, сняв квартиру, вел в Уфе разгульную жизнь. Был он красивый, здоровый, сыпал французскими фразами, прекрасно танцевал, обладал хорошими манерами. В этом светском лоске они сошлись с моей сестрой и, хотя были круглыми невеждами, но на окружающих провинциальных уральцев смотрели свысока. Молодые люди решили венчаться. Родители протестовали. Полостая жизнь Смирнова была всем известна. Такого ли жениха рочили родители своей дочери! Но дочь настаивала, грозила садовольным уходом. Время было либеральное, сопротивление роди-

тельское было сломлено. Свадьба состоялась, молодые поселились у нас. По приказу своего помещика вся деревня от стариков до малых ребят, худые, истощенные, одетые в какую-то грязную рвань сквозь которую местами проглядывало голое тело, в лютой мороз приехала на поклон к своей новой хозяйке. Дрожа от холода холопы гуськом входили в наши комнаты, земным поклоном приветствовали своих разодетых и надушенных владельцев, припадали к их рукам и, получивши, смотря по возрасту и по стакан водки и бутерброд или красный головной платок, или пряника — в таком же порядке выходили снова на морозный двор. Эта сцена неизгладимо врезалась в моей памяти. Мать часто читала нам о страданиях христианских мучеников. И вот я увидел таких мучеников в живых образах окружавшей меня жизни.

Мать наша была очень добра и религиозна. Каждое утро она опускалась с нами на колени перед киотом с многочисленными образами и читала бесконечный ряд молитв и акафистов. Перед праздниками и в праздники водила нас в церковь. Посты соблюдали строго. Одаряя нищих, мать строго придерживалась евангельского правила, чтобы правая рука не знала, что творит левая. Как-то брат, зная этот обычай матери, подвел меня к ее окну и, изменивши голос, зашел: «Хри-ста-ради, бед-нень-кому... подай-те». Из окна протянулась рука матери и бросила нам две копейки. В доме нашем находили приют странники и странницы, рассказывавшие нам о своих путешествиях по святым местам, о найденных или завороченных кладах, о разбойниках, о том, как одна монашка, впадши вероятно, в летаргию, была взята живой на небо и по возвращении рассказала, что она там видела. Одна из странниц, глубокая старушка, рассказала нам, как осадил Пугачев Уфу: «Стреляли в него с горы из пушек, но он одолел. И поставил он на базарной площади виселицы и многих господ казнил. Потом, — старушка вздохнула, — где-то поймали его, и все пошло по-старому».

Мать была большой поклонницей священника Ильинской церкви. Это был фанатик. Почти весь свой доход он отдавал на расширение и украшение своей церкви. Питался только причащением, просфорой и стаканом крепкого чая. Организм не выдержал, умер от чахотки, оставив без всяких средств жену и трех мальчиков. Хоронили его с большой помпой. Пытались сделать из его праха мощи, но это не соответствуя духу времени, не удалось.

Мы были очень привязаны к своей матери, сидевшей над нами как курица над цыплятами, но как только подрастали, так выходили из-под ее влияния. Она не удовлетворяла нашим умственным запросам, была почти без всякого образования, слабохарактерна и очень боялась отца. Отец не вмешивался в наше религиозное воспитание. При заключении брака от него, как лютеранина, взята была соответствующая расписка, и он строго соблюдал данное в этой бумажке обещание. Но все же мы на каждом шагу видели

что отец, воспитавшийся на великих писателях Франции конца XVIII века, будучи значительно умнее своей жены, ни в бога, ни в чорта не верит¹, образам не молится, в церковь не ходит, постов не соблюдает. Все это будило нашу мысль, заставляло критически отнестись к наивным верованиям, столь дорогим для нашей матери, жившей сердцем, но не умом. Мать очень огорчалась постепенным уменьшением своего цыплячьего табунка, но для борьбы с этим не имела сил.

Отец мой был в большой дружбе с губернатором Григорием Аксаковым. Были они прогрессистами-администраторами и с восторгом ожидали назревавших реформ Александра II. Эти преобразования, о которых им часто писали приятели из Петербурга и Москвы, служили постоянной темой обмена их мыслей. Уфимское общество, состоявшее из чиновников и помещиков, разделялось на два враждебных лагеря. Либеральная часть группировалась около Аксакова и отца, консервативная, стоявшая за сохранение крепостного права и ожидавшая от реформ всевозможных бед, — около предводителя дворянства Стобеуса и жандармского полковника, бывшего при Николае I грозой уфимского общества, а потом в значительной степени потерявшего свою силу. Вражда была очень упорной, ни Стобеуса, ни жандармского полковника я в нашем доме никогда не видел.

Стобеус был высокого роста, очень тучный, с таким громадным животом, каких я потом в натуре не видел, встречал только на лубочных картинках, продававшихся в то время на базарах и ярмарках. Картинки эти, не изображавшие из себя чьих-либо портретов, а служившие только символом власти, наклеивались на стены крестьянских изб, как и царские портреты, около образов. Украшены они были всевозможными мундирами, орденами и лентами. Под брюхо этих бюрократических светил, как и под брюхо Стобеуса, свободно могли спрятаться, стоя и не сгибаясь, несколько подобных мне мальчиков.

В конце 50-х годов, в эпоху расцвета воскресных школ, открылся такой просветительный пункт и в Уфе. Отец принимал деятельное участие в устройстве воскресной школы, был в ней одним из преподавателей. Ходил в эту школу и наш раб-лакей, получивший от отца волю. Научился читать и писать. После закрытия школы Никита купил себе толстую-претолстую энциклопедию. И чего только в этой книжке не было. И библия в сокращенном виде, и оракул, всевозможные гадания, толкователь снов, краткие сведения по истории, географии... Целый склад наук. Никита очень гордился почерпаемыми сведениями из этой книги, просвещал дворню и нас, малышей.

¹ Отец был деист, но мы тогда не разбирались в таких тонкостях.

Вечер. Старшие уехали в гости. Никита берет меня на колени, садится в буфетной за стол и, освещенный сальной свечкой, перелистывает свою любимую книгу. Смотрим картинки, гадаем, приступаем к чтению. Брат, кучер, повар, дворник, горничные, наклонившись над столом, внимательно слушают. Кто-либо следит за свечкой, время от времени снимает нагар с ее фитиля щипцами. Рассказываются сны, даются им толкования. Возникают споры. Никита яростно отстаивает авторитет своей энциклопедии. Комнатная собачка, растянувшись под столом, взвизгивает во сне. Видит ли собачка сон? Этот вопрос подвергается горячему обсуждению всей аудитории.

В августе 1859 года нужно было отвезти старших братьев, приехавших к нам на каникулы, в Петербург. Мать собралась проводить их до Твери и затем навестить своих престарелых родителей, доживавших век в своем родовом сельце. Взяла она и меня с собой. Из Уфы поехали на пароходе местного купца Софронова, владельца поташного завода. Других пароходов на Белой в то время не было. Из путешествия на этом пароходе помню одну характерную сцену. Как-то на Каме студент худой, бедно одетый, изрядно выпив у буфетной стойки, расположенной на палубе, ругал привилегированных пассажиров, сгруппировавшихся на капитанской рубке. «Погодите, — кричал он нам, грозя кулаком, — вот уж скоро встанет народ и всех вас, кровопийцев, и с вашими щенятами — суровый взгляд в мою сторону — перережет... перебьет...» Пассажиры позвали капитана, но и ему досталось на орехи от расхолившегося студента. Пароход пристал к пристани, студента окружили матросы и высадили. Стоя на берегу, он продолжал грозить кулаком фантатовой публике, удалявшейся на пароходе, обещая расправиться с нами в самом непродолжительном времени. Какая-то дама прижимала меня к себе, как бы опасаясь за свою и мою участь. Капитан волновался: «Вот, мерзавец... Если б знать, да ведать, высадил бы его на пустынный остров... там покричал бы...» Мысль о выдаче студента полиции или жадармам, очевидно, не приходила в голову ни публике, ни капитану. Или такой мысли стыдились, считали неприличной?

В Нижнем-Новгороде пересели на другой пароход, доставивший нас в Тверь. Здесь братья поместились в поезд, отправлявшийся в Петербург, мы поехали в Москву. В Москве мать наняла ямщика, благополучно, после трехдневного путешествия, доставившего нас в своей кибитке к деду.

Дед имел небольшой деревянный домик в пять маленьких комнат и флигелек, обращенный, за сокращением семьи, в кладовую. К усадьбе с обширным двором, покрытым зеленой травкой, и хозяйственными постройками на нем, примыкали огород и обширный фруктовый сад. Дед жил в то время только с женой и своей еще молодой дочерью. Была экономка из вольных со своим маленьким сыном и

дворня человек в пять, жившая в отдельной низкой и грязной избе в одну комнату, в которой готовилась и пища для господ и «людей».

По приезде мной овладел Ленка, семилетний сын экономки, водивший меня по всем закоулкам усадьбы, сада и окрестностям. Кончался сентябрь, наступала осень. Флигель был завален яблоками и грушами, нам не запрещали их есть. Но мы предпочитали насыщаться гнилыми яблоками, валявшимися в саду под деревьями. Ленка, успевший выпитать в себя грязь и разврат населения помещицей усадьбы, привел мне как-то в укромный уголок сада крохотную девочку. На мой удивленный взгляд Ленка ответил таким же недоумевающим взглядом и объяснил, что когда господа приезжают, то им всегда приводят девочек и указал зачем в весьма наивных поверхностно уловленных им деталях. Все эти детали — без изменений в костюмах — по его настоянию и под его руководством мной и были проделаны. Это, конечно, была только характерная для того времени игра в помещика и крепостных, мне было всего шесть лет, но эта игра оставила в душе моей скверный след на всю жизнь. Игра не понравилась, больше такие эпизоды не повторялись и забавы наши вновь приняли обычный детский характер. Деревенские парнишки с нами не яшались, вели себя довольно гордо, пренебрежительно к нам.

Слухи о предстоящем освобождении уже носились в воздухе, волновали крестьян. Волновался и дед, внимательно читая выписываемые им «Московские Ведомости».

— Свобода, — говорил он, — это я понимаю, видел в Париже... Но уж если освобождать, то пусть и нас освободят, свобода, так уж всем свобода!

Сердился он и на своих крестьян, только почуявших свободу, — которая еще будет или нет, бабушка надвое сказала, — и уже начавших своевольничать. Привлек он и меня к усмирению своих непокорных рабов, поручив как-то сбегать в деревню, позвать к нему Григория, чтобы шел на работу. Деревня находилась рядом, отделившись от господской усадьбы огородом. Побежал я, отыскал Григория, передал распоряжение помещика, но тот затопал на меня ногами и закричал: «Кыш, постреленок... туда же лезет!».

Дед, когда я передал ему этот ответ, рассердился, сел к своему письменному столу и принялся строчить послание. Письмо было адресовано становой приставу. Все в доме поняли значение этого письма. Права помещиков в то время были уже несколько ограничены, они могли подвергать телесному наказанию своих крестьян только при содействии и с разрешения полиции. Через несколько дней, для выполнения этих формальностей, приехал здоровый молодой человек в полицейской форме и совершил короткий суд и расправу над Григорием.

В общем жизнь в усадьбе текла мирно и монотонно. Утром умывшись, помолившись богу, пили чай и закусывали чем бог послал;

после чего сестра матери обучала меня и Ленку начаткам грамоты, потом играли; часа в два дед звал нас, мальчиков, к своему заветному шкафику, выпивал всегда с видимым удовольствием рюмку водки и нам, как представителям мужского пола, давал в малой дозе отведавать этот чудодейственный напиток, который нравился Ленке и был противен мне. После обеда все взрослые ложились спать, а мне и Ленке предоставлялась полная свобода для игр. Потом ужинали — полное повторение обеда, — пили чай и, помолившись богу, ложились спать. Чтением не развлекались, только дед читал «Московские Ведомости», да мать свои акафисты и жития святых. Дед с борзыми и гончими охотился на зайцев. Женщины разгonyли скуку рукоделиями да тихими разговорами о своем прошлом, о соседних помещиках, огороде, кухонных тонкостях и разных хозяйственных делах.

В первый раз я здесь увидел мертвого близкого человека. Одна из сестер матери вышла замуж за московского чиновника. Напившись пьяным, он выбросил ее из окна квартиры, помещавшейся во втором этаже. Дело нужно было замять. По совету друзей и собутыльников он отправил жену, совершенно больную, к ее отцу. Когда она умерла, нам с Ленкой запретили вход в ее комнату. Но, уличив минуту, мы тихонько пробрались в запертое помещение и со страхом осмотрели труп, лежавший еще на кровати.

В ноябре мать собралась в обратный путь. До Москвы ехали на лошадях деда, запряженных гуськом. В Москве остановились в меблированных комнатах, в двухэтажном деревянном домике на Театральной площади. Тогда еще много таких домиков сохранилось в центральных частях Москвы. Задержались, ждали присылки денег из Уфы. Были у Иверской, в Успенском соборе, осматривали дворец, колокольню Ивана Великого, царь-пушку, гуляли по бульварам, по Тверской. Все это произвело на меня грандиозное впечатление. Ходили по родным, знакомым, навестили младшую сестру матери, обучавшуюся в Екатерининском институте. Я удивился, что у меня такая маленькая тетя, много моложе моей сестры, и с недоумением допрашивал: «она и Наде тетка?».

Наконец, деньги были получены. Из Москвы до Нижнего-Новгорода ехали в дилижансе. На длинных санях устроены клетки с окнами и мягкими креслами, обитыми серым сукном. Пугали друг друга разбойниками, со страхом проезжали лесные участки. Сосед, военный, глубокий старик, успокаивал нас, показывая нам маленький шестизарядный револьверчик, только что купленный им в Москве, и уверял, что из этой крохотной игрушки он один может убить шесть человек к ряду. Разбойники не встретились. В Нижнем остановились в гостинице. Мать, разыскивая попутчиков, нашла двух молодых купеческих сынов из Уфы. Купили две кошовки и поехали вместе на почтовых. На раскатах мы часто вылетали из кошовки в сугробы, — это единственная неприятность, встретившаяся нам на

пути. Все обошлось благополучно. Дня через четыре мы были уже в Уфе.

У сестры родилась дочка. Я был горд, что сестра произвела меня на свет. Наняли кормилицу, но покинутый ею собственный ее ребенок заболел. Бабушка этого грудного младенца привезла ребенка к нам. Рьяко плакала кормилица над своим дитем, кормила его грудью. В доме поднялся переполох. Одним из ребят предстояло пожертвовать, силы конкурентов на жизнь были не равны. Кое-как угрозами парами бабушку с ребенком кормилицы от нас выпроводили. Но уже поздно. Заболел ребенок сестры и умер. Мне обещали, что я буду с образом итти впереди похоронной процессии, в этом видел некоторое утешение. Никакой процессии, однако, не состоялась, гробик повезли мы с матерью на монастырское кладбище в экипаже. Я нежно гладил парчевую обивку гробика, вспоминая брата. Утешения, его блестящий ящик, так смутно представлявшийся мне два тому назад.

Старшего моего брата Александра выптали из петербургской гимназии за буйный нрав и малые успехи в познаниях. Приехал он к нам, отец определил его на службу. Но через некоторое время он, готовясь, поступил в седьмой класс местной гимназии и, благополучно выдержав выпускной экзамен, поступил в Московский университет. Поступил в первый класс гимназии и следующий за мной старшинству брат Василий. Начал готовиться к вступительному экзамену и я.

В это время в служебной карьере отца совершился крупный перелом. В петербургских сферах решили отменить откупа. Приятелю, внешне сослуживцу отца, Гроту поручили организовать акцизное общество. Место управляющего акцизными сборами в Уфе было предложено отцу. Отец, конечно, согласился, содержание его увеличилось почти в три раза. У отца была широкая натура, был он босом, жил всегда несколько выше своих средств и терпеть не мог подомства. Переехали мы в большую квартиру, наняли солидных слуг, прислуги, завели карету, устраивали обеды, вечера, дом всегда был открыт для гостей. Словом, зажили широкой жизнью местных столяров.

Мать имела знакомых и друзей из среды старосветских обывателей, отец — из среды прогрессивных общественных элементов Уфы. В кружке матери еще с умилением вспоминали о носовом тисе, поднесенном Николаем I шефу жандармов для утирания слез частных. Из кружка матери помню старого, старого екатеринского генерала Случевского. Награжденный Екатериной II за свою службу или за другие услуги обширными именьями, он, по выходе в отставку, соорудил себе огромную карету со всеми удобствами: бельем, обеденным столом и проч., и, путешествуя в ней по всей империи, наслаждался жизнью. Только за год до своей смерти он вернулся в Уфу, центр своих имений, доходы с которых нужно было

урегулировать при предстоящем освобождении крестьян. Как-то мать спросила его, чем он объясняет свое долголетие. Генерал ответил стариковски: «Чем?... Ничем... Ах, да... вот: никогда в своей жизни не валялся. Как проснулся, так и встал». Это было сказано так важно и так эти наставления генерала мне понравились, что оно долго служило руководящим правилом в моей жизни. Помню еще высокую и толстую фигуру председателя местного губернского суда Юркевича. Как-то, стоя перед картой Европы и указывая мне на остров Исландию, он спросил: «Это что за курица?.. И люди там живут?... Вот так штука!» Через некоторое время мать отрекомендовала ему молодого человека, только-что окончившего курс в Казанском университете и желавшего определиться на службу по военному ведомству. Юркевич строго, важно и пренебрежительно допрашивал: «А где вы окончили курс? В Казанском?.. А на каком факультете?». А я вспомнил «курицу» и недоумевал. Около него группировались: Аксаковы, помещики, стоявшие за реформы, ссыльные помещики-поляки, доктор Гуревич, редактор первой уфимской газеты. Отец сотрудничал в этой газете, выходившей один раз в неделю.

В этой-то обстановке началось мое ученье, но двигалось оно очень туго и, вселяя во мне отвращение к науке, причиняло много огорчений. Меняли учителей, делу это не помогло. Кое-как, благодаря расположению отца и знакомству его с директором, меня приняли в первый класс. Но, попав в шумную компанию товарищей, среди которых были и взрослые, сидевшие в первом классе по шести-семи лет, я охотно участвовал в их играх, учителей же не слушал, уроки учить не умел, вел себя совершенным дурнем.

Такое безотрадное положение моих учебных дел совпало с освобождением крестьян от крепостной зависимости. Отец со слезами на глазах читал нам манифест. Гимназию водили в собор и потом на площадь, служили молебен, учитель истории говорил речь и затем, размахивая руками, пел с нами гимн жандармского полковника-композитора Глинки. Последний «Славься, ты, славься», как, впрочем, и помнят читатели, не выдержал конкуренции перед суевским Николаем I с звучным гимном жандармского полковника — «Богородице, царя храни». Вечером было гулянье в маленьком театральном сквере, единственном в городе саду. Снова речь того же учителя, снова гимн. Военного оркестра в городе не было, пели только военные песельники: «... Наши жены — ружья заряжены... наши сестры — сабли острые, вот где на-а-а-ши сестры». Поздно вечером гурьбой отходили вились гимназисты смотреть иллюминацию города, местами освещенного площадями. Встретилась нам более многочисленная толпа семейных нарисов, закричала: «Бей красную говядину!»... «Красная говядина» позорно бежала. При бегстве я упал вниз головой в какую-то яму. Вытащили за ноги. Лицо все в крови. Сквозь смех высказывали сожаления. Товарищи проводили меня до дома. Маменька с охами и ахами

папенька не заметил. А и до сих пор в брови над правым глазом сохранился след от этого падения. Сколько этому рубцу лет? Конечно не могу определить, так как и сам не знаю, что из описанных событий произошло в самый день освобождения крестьян и что — в одну из последующих годовщины его. Бывший наш раб Никита записался в мещане и долго колебался в выборе своей фамилии: взять нашу или фамилию графа Воронцова, прославившегося среди крепостных, как укрыватель их на родине России. Воронцов победил. Учение мое шло так плохо, что при всем значении в то время протекции не было никакой возможности продолжить мое пребывание в гимназии. Приглашенный ко мне в репетитору весьма образованный ссыльный поляк посоветовал взять меня из учебного заведения, ругаясь, что через год он подготовит меня во второй класс. Так и сделали. Этот учитель сумел возбудить во мне любовь к математике и интерес к естественным наукам, но, как сам математик, он не придавал большого значения развитию памяти и на это мое большое место не обращал внимания. Приготовляя уроки, я не пытался видеть прочитанное, пережить его, а стремился лишь запомнить печатный текст, что было, конечно, очень трудно. Взрослые обычно не умеют проникнуть в психологию детей и тем облегчить их работу. Вернулись из Петербурга и остальные братья. Только один из них, отданный в корпус, окончил Константиновское училище и пришел к нам подпоручиком, остальные, а в том числе и самый способный из них брат Лев, приехали под родительский кров по тем же причинам, как и старший наш брат. Выгнанные из Петербургской гимназии, братья поступили в Уфимскую. Одному из них не повезло, он побывал еще в юнкерском училище и затем уехал на военную службу в только-что завоеванный Ташкент. Брат Лев занимался более и, хотя всячески издевался над учителями, но курс окончил и поступил в Петербургский университет. Доставалось от него матери, которой он настоятельно пытался доказать, что Христос, хотя был выдающийся, но обыкновенный, нам подобный человек и что никакого бога в мире нет, а есть только материя и сила. Как-то раз, думая срезать законоучителя, спросил его, почему в библии говорится об утверждению ученых — несколько миллионов лет. Священник не стерпелся. Мы, говорит, о всем судим с нашей несовершенной точки зрения, думаем, что как теперь идет процесс развития в природе, так шел он и раньше, а бог-то всемогущ, законы ему не писаны. Он сам создает законы. Захочет он — движется медленно, идет еле-еле, захочет, то и побежит. Находчивость попа, показавшего пример, как бог еле-еле идет, а потом (священник приподнял плечу) побежит, привела в веселое настроение весь класс. Учение мое и у нового учителя шло туго. По всем предметам, где требовалась память, я оказывал весьма малые успехи. Но учитель унывал и особенно доволен был, что я обнаружил хорошие спо-

собности по математике, так как это значительно облегчало его задачу.

Дело в том, что из ссыльных поляков трое, как лица с университетским образованием, стремились попасть в учителя гимназий. Один из них был филолог, а два других, в том числе и мой учитель математики. Филолог был принят, кандидатуры же математиков были под вопросом; вакантное место было одно, начальство не знало, кому отдать предпочтение. Конкурент предложил моему учителю отказаться от своей кандидатуры, обещая за это предоставить ему много частных уроков, но тот не согласился, они разошлись врагами. В игре этой мой преподаватель остался, как говорится, при пиккет-ренте, завладев спорным местом, по злобе своей всячески старался лишить его и частных уроков. Таким отношением к товарищу возмущался филолог и, противодействуя математике, старался доставить моему учителю заработок. Для этой цели он вел себя на уроках зверем, хотя по натуре таковым не был. Спрашивая уроки, он старался сбить учеников и при малейшей их заминке ставил их на колени и проставлял единицы в журнале. Количество стоящих на коленах обычно доходило до десяти плачущих или озлобленно смотрящих на своего тирана ребят. Исключение делалось для учеников египетского протеза. У последних он спрашивал урок спокойно, ласково и все словенно удивляясь их ответам, говорил: «У вас, вероятно, репетитор есть?.. Кто?». И, получив ответ, добавлял: «А, это и видно... это видно... Превосходно! Садитесь». И ставил обязательно пять. Через одного из старших моих братьев он рекомендовал своего приятеля и в наш дом.

На этого филолога, преподававшего в младших классах географии, вполне надеялся мой учитель. По его предмету он меня почти совсем не готовил, по другим предметам не особенно старательно, а все мои силы направлял на изучение арифметики и решения задач, опасаясь, что враг его, математик, меня срежет.

Экзамен я выдержал. Математик, действительно, гонял меня по всей программе и ее тонкостям, но срезать не мог. Филолог же, предупрежденный своим приятелем, что я подготовлен очень плохо, отвел меня в сторону от других экзаменующихся к глухой карте т.-е. к карте без напечатанных на ней названий, и быстро тыкну пальцем то в одно, то в другое место, строго и громко спрашивая: «Какая это река?.. какой город?». И, не давая мне разинуть рот после каждого вопроса восклицал: «Хорошо-с! Отлично! Очень хорошо!...».

При такой подготовке и плохо развитой памяти мне трудно было учиться в гимназии, тем более, что филолог куда-то уехал, а под давлением математика, сумевшего воздействовать на отца, моему пришлось отказать. Во втором классе я просидел два года.

В городе, по инициативе и при усиленном содействии губернатора, открылась женская гимназия. В инспектрисы ее была назначена хорошо знакомая Аксаковых Чагина, выписанная ими из ее имения. По образованию они подходили друг к другу, отец заходил иногда в ее гимназическую квартирку поболтать по-французски, обмениваясь мыслями. Детям, находившимся в пансионе этой гимназии, отец привозил конфеты. Гимназистки, понятно, всегда с нетерпением ждали его и между собой называли папашей. Инспектрису называли мамашей, отца — папашей. Уж одного этого было достаточно, чтобы по городу поплыла грязная сплетня, хотя Чагина была толстая, некрасивая и довольно пожилая дама.

Скоро вся отцовская компания стала покидать Уфу. Чагина вернулась на родину, Аксакова назначили губернатором в Самару. И отец просился в этот город, но был переведен в Пензу.

Отец уехал на место своей новой службы осенью 1866 г., а нас материю, в виду обещанного ему скорого перевода в Самару, решили оставить в Уфе до окончания занятий в гимназии. Сняли мы маленькую квартирку, уменьшили число прислуги. Никита нас полюбил, женился, открыл лавочку где-то на окраине. Я его с тех пор больше не видел. Мать, я и брат Василий, ученик 5-го класса — вот все члены нашей семьи, проживавшей в новой квартире. Сестра мужа и маленькой девочкой жили отдельно. Ученье мое продолжалось плохо, не умел я взяться за дело. Каждое воскресенье брался у нас чуть ли не весь педагогический персонал местной гимназии. Делалось это, по обычаю того времени, для детей, чтобы учителя не относились к ним строго.

Аксаковы, скучая в Самаре, стремились собрать вокруг себя своих старых уфимских друзей. По их настоянию хлопотала и Чагина о назначении своим в инспектрисы Самарской гимназии. В связи с этим поступил запрос уфимскому жандармскому полковнику о ее нравственной и политической благонадежности. Местное жандармское начальство не знало, какой дать на это ответ. Сплетня о любовной связи отца с Чагиной пустила глубокие корни в уфимском обществе, никаких веских доказательств не было. Жандармский полковник, только за год перед тем назначенный в Уфу, часто бывал у нас в доме, любил играть с матерью в преферанс, но по такому деликатному делу допросить ее не решался. В виду этого к матери подослали живавшую в Уфе вдову бывшего жандармского полковника. Эта старая дама употребила все усилия, доказывая матери, что, во всяком случае, нет никаких сомнений относительно амурных увлечений отца, что, впрочем, мать обязана и перед богом и перед людьми принять меры к исправлению ребят, обучающихся в женской гимназии, от тлетворного влияния столь развратной особы; и что, наконец, никто обязан ей в устранении Чагиной от педагогической деятельности, когда не узнает. Под чувством ревности мать, бесхарактерная

женщина, поддавшись этим доводам и под диктовку ехидной дамы, насеившей на нее, как петух на курицу, написала требуемое от нею письмо к жандармскому полковнику.

Все было шито-крыто, но в сердце матери, как она ни пыталась себя оправдать, воцарился ад. Она чувствовала бы себя значительно лучше, совершив все это открыто, не прячась за жандармский мундир. Но мундир требовал тайны. И эта непривычная, не соответствующая ее натуре тайна особенно тяготила ее.

Вся эта драма прошла, конечно, мимо меня, я узнал о ней лишь впоследствии. В этот период я был увлечен чувством дружбы. Друг мой, мальчик лет четырнадцати, на год старше меня. Познакомился с ним на рождественской елке, ежегодно устраивавшейся в зале дворянского собрания. Это был единственный годовой празник детей местной интеллигенции. Друг мой поразил меня своей красотой и отвагой. После этого вечера я искал с ним сближения. Замечая как-то его идущим с матерью по улице, я издали последовал за ними, проводил их до дома. Установив, таким образом, место жительства так понравившегося мне подростка, я чуть ли не каждый день стал бродить вокруг и около его усадьбы. Друг мой скоро заметил мои аллюры, мой ищущий взгляд, выскочил на улицу и затолкал меня к себе. Он оказался сыном местного помещика, родственником Жуковских, из которых один был эмигрантом, а другой оставил себе имя тем, что, будучи товарищем прокурора петербургского окружного суда, отказался от предложенной ему роли обвинителя в процессе Веры Засулич. Друг мой, как и я, мало интересовался гимназической премудростью. За малоуспешность он был выгнан из второго класса гимназии и в тот момент готовился поступить в таксаторские классы или в юнкерское училище. Будущее мало нас интересовало, мы жили настоящим. Записались с ним в библиотеку, вместе читали Купера, Вальтера Скотта, Евгения Сьюэлла, — витали в мире фантазии. Лазили по горам, по козьим тропинкам, лепившимся узкой полоской на большой высоте отвесных скал, рискуя сорваться и разбиться в пух и прах; скакали верхом по окрестностям Уфы, купались, любили ночью бродить среди сонных городов, воюя с собаками. Словом чувствовали себя героями. Но скоро дружба наша кончилась. Сказалась разница в возрасте. В моем проснулась чувственность. Пока вопрос обсуждался теоретически, в области мечты, не шел дальше ухаживания за гимназической девочкой, я еще следовал за ним, но когда он призвал меня перейти к реализации ее, настойчиво приглашая меня пойти с ним в публичный дом, чем нарушил во мне поэзию, чистоту своего образа и нашей дружбы, — я почувствовал к нему охлаждение. Друг мой уехал с родными в имение, мне пришлось напрячь все силы к подготовке экзаменов.

Экзамены свои при дружном содействии всех педагогов, подкрепленных гостеприимством матери, я кое-как сдал, был переве-

данный в третий класс. Этим я опроверг предсказание гадалки. Гадалка эта, приглашенная матерью перед началом экзаменов, сразу ответа не дала. На другой день она подкараулила меня на площади и, словно выскочив из-под земли, и напомнив мне своим лицом и растрепанными седыми волосами ведьму из прочитанных мной романов, впи-сав в меня горящими глазами и спросила: «Выдержишь экзамен?». Я откровенно ответил: «Не знаю». Но ведьма, очевидно, что-то прочитав в моем лице, огорчила мать отрицательным ответом.

Распродав все имущество, мать повезла нас в Пензу. До Челнов, промежуточной станции на Каме, мы ехали на лошадях. По пути остановились в имении сестры, прожили у нее около недели. Бродя по полям, я наткнулся на косцов. Наступил вечер, так хорошо пахло свежескошенным сеном. Сидели крестьяне вокруг костра, варили себе кашу и спорили между собой. Молодой доказывал, что если их ребят кормить и холить, как кормили и холили меня, то и из них получатся барчуки. Старик оспаривал это мнение, говоря, что у Ноя, как сказано в писании, было три сына: Сим, Хам и Иафет, и что если они, крестьяне, рождены от Хама, то никогда из их ребят барчуки не получатся. Поразил меня этот старик утверждением, что с освобождением их от крепостной повинности им стало значительно хуже, чем было при помещиках. При всех несчастьях, утверждал он, мы получали помощь: падет корова — помещик даст другую, падет лошадь — то же, сгорит изба — построят новую; а теперь никому до нас дела нет, выкручивайся из всех бед сам, как знаешь.

После всяких отсрочек двинулись дальше. По пути заехали еще в три имения знакомых помещиков. Посетили усадьбу Брудинского, проживавшего в большом двухэтажном доме. Два сына его обучались с нами в гимназии, мать дружила с его женой. За обедом четыре девушки махали зелеными ветками над столом, уставленным стаканами, отгоняя мух. Вечером повели нас в обширный малинник, предоставив есть спелые ягоды до отвала. Пить чай разместились на балконе 2-го этажа. Хозяин, увидев крестьянских свиней, зашедших на его усадьбу через настежь открытые ворота, выбежал в комнаты, принес револьвер и открыл по этим бедным животным стрельбу. Стреляли и его сыновья, устроив из этого спорт-потеху. К счастью, на дальностью расстояния, никто из них не попал в цель, свиней поручили выгнать кучеру. Когда совсем стемнело, на деревне, при-ыкавшей к усадьбе, раздались хороводные песни. По приказанию барина пение прекратилось. Все это делалось, кажется, для демон-стрирования перед нами угасающей уже власти помещика. Жив, мол, еще курилка!

На другой день тронулись дальше, в усадьбу Юзефович. Небольшой, новенький, деревянный, монастырски-чистый, одноэтажный до-мик с мезонином. Фасадом он выходил на обширный зеленый двор, обсаженный хозяйственными постройками, среди которых выделялись своим корпусом длинные-длинные конюшни. Остальная часть

дома уходила в тенистый сад, спустившийся к речке, с хорошей курпальней на ней. Юзефович, недавно овдовевшая и не имевшая по-томства, сама вела свои дела. А дел было много: полеводство, лесное хозяйство, конный завод, кабаки, разбросанные по всем окрестностям, и проч. Целый день она сидела в своей конторе, щелкала пересчетах, принимая отчеты от своих приказчиков и целовальников. В углу стоял большой сундук, переполненный медной монетой, отпавлявшейся при оказиях в казначейство для обмена на бумажные деньги. По завещанию своего покойного мужа Юзефович, на сорок первый день своего вдовства, когда покойник, по ее верованиям, уже переселился в лоно абраамово, приехала в Уфу для отыскания себе нового супруга, способного помочь ей в ее сложных делах. Дама она была молодая, невеста завидная, конкурировавших женихов всевозможных возрастов и оттенков оказалось много; но в мужья она выбрала старого отставного судебного чина, видя в нем дарового опытного ходатая по своим многочисленным судебным делам. Только этим и занимался ее новый супруг, к хозяйственным же делам, как жаловалась мадам Юзефович моей матери, участвовавшей в выборе жениха, оказался совершенно неспособным и был решительно ею отстранен от них. На этого мужа, чувствовавшего себя несчастным, так как жена — для нас это было очевидно — была недовольна им и во всех других отношениях, и пала обязанность по приему и развлечению нас. Показывал он нам породистых лошадей из конюшни своей жены, фруктовый сад, устроил увеселительную поездку на мельницу.

Навелили еще именованное Топорных. Громадный трехэтажный каменный дом на берегу реки Белой. Чудные виды с балкона на терявшиеся вдаль тучные поля и луга, изрезанные извилистой речкой ярко блестящей на солнце. Дом еще не был вполне отделан, но одной из мрачных комнат уже были нарисованы во всю высоту стены портреты многочисленных предков хозяев. Владелец имения мы не застали. Напившись чаю, поехали к Каме. Добравшись, наконец до Челнов, двинулись на пароходе дальше. Остановились в Казани. Брат был больше поражен красотой этого города, я успел уже поглядеть Москву. В Саратове встретил нас отец. Пензе — мы добрались до нее на почтовых лошадях — отец продолжал от своего предшественника большую, хорошо меблированную квартиру, экипажи, лошадей, коров и обслуживающий все это персонал. Разместились очень просторно, я получил отдельную комнату. Вскоре после приезде мать, получивши письмо с известием о тяжелой болезни своего отца, уехала в вышеописанное мной селцо Вараксино. Мне было тоскливо, одиноко.

Директор гимназии был холостяк, развратник, кутила, имевший большие связи в Петербурге и потому чувствовавший себя независимым. Предложил он нам в качестве репетиторши одну из своих протеек, француженку. Отец отказался. Директор обозлился, пере-

стал здороваться с ним. Брат учился довольно хорошо, вся месть директора обрушилась на мою голову. Учителя сыпали единицы, хорошо я шел только по математике и естествознанию, проходившемуся здесь по книжке с описанием и объяснением явлений природы, которую я читал, как роман.

В хорошую осеннюю погоду после обеда запрягалась коляска, и мы всем семейством, т.е. отец, брат и я отправлялись в ботанический сад, находящийся в нескольких верстах от Пензы. Туда вело прекрасное, широкое шоссе, густо окаймленное с обеих сторон высокой зеленой стеной лиственных деревьев. Шоссе это казалось мне бесконечной лентой, уходящей в глубину таинственного леса. Это было единственное развлечение, я его любил, хотя оно и отражалось высокомерно-пренебрежительным отношением ко мне отца. Отец неуспехи мои в учении приписывал тому, что я был маменькин сынок, и стремился подтянуть меня.

Местный губернатор Селиверстов, ошибочно названный в одном из моих воспоминаний Стрельниковым¹, богатый помещик и фариант, от природы имел большую склонность к сыску. Про него рассказывали, что, перерядившись в костюм мещанина, он, пензенский губернатор, однажды отправился в лес, примыкавший к городу, ступил там с мещанами в запрещенную игру, орлянку, и затем, при содействии издала сопровождавшей его полиции, арестовал их. Эта склонность к сыску впоследствии и загубила его. Состоя начальником русско-парижского отделения департамента полиции², он имел неосторожность предложить одному из политических эмигрантов поступить к нему в тайные агенты, за что и был им убит. Были в нем и хорошие стороны: устраивал — может быть, тоже с провокаторскими целями — для учащейся молодежи вечера-концерты с обильным угощением за свой счет; оставил в г. Пензе в память своего губернаторства хорошую картинную галерею.

Этого еще молодого губернатора и будущего сыщика мы как-то встретили в ботаническом саду. Отец представил нас ему. Он положил мне свою руку на плечо и ласково задал ряд вопросов: «В каком классе? Я скоро буду вас в гимназии. Хочешь, чтобы я тебя вынул и спросил твой урок?.. По какому предмету?.. Не желаешь?...». Ему ответил только на первый его вопрос, на остальные промолчал — таким образом, бессознательно избавился от его высокого покровительства, о котором и теперь неприятно было бы вспоминать.

А без покровительства мне было трудно, я уже привык, педагоги всегда дружно тянули меня за уши. Не представляю себе, чем кончилось бы мое пребывание в Пензенской гимназии. Пока было очень кверно. Но случай выручил. Хлопоты отца о переводе его в Самару венчались, наконец, успехом.

¹ Рачковский. „Летопись Революции“, 1923 г., I т.

² Селиверстов официально никакой должности в заграничной охране не занимал. Red.

Приехал брат-офицер с безответным денщиком и веселой собакой, которыми он очень гордился. Когда этот брат возвращался из бани, денщик нес за ним собаку, завернутую в чистую простыню. Собака была умная, она служила мне развлечением в моем одиночестве.

Собрались, уложились. Кучер с женой, денщик и еще кто-то с громоздкими вещами, лошадьми и экипажами двинулись обозом мы же всей семьей поехали налегке прямым путем в Самару, в двух кибитках, на обывательских лошадях, останавливаясь, обычно, в крестьянских избах. В первой кибитке ехали: отец, брат-офицер, его собака и я, во второй — брат-гимназист с захваченным им из Пензы сиротой, его товарищем по классу. По Пензенской губернии ехали с большой полицейской помпой, устроенной нам генералом Селиверстовым. Остановились в имении последнего. Два деревянных домика из которых один, кажется, был специально назначен для густо развешенных по его стенам художественных картин, впоследствии отправленных их хозяином в Пензу. После обеда старшие поехали на сукожную фабрику Селиверстова, находившуюся где-то в окрестностях. Я остался один с собакой. Было скучно, было обидно, что меня не взяли с собой. Через несколько часов все вернулись. Отец накупил на фабрике много грубого сукна, с которым мать не знала, куда деться.

Помню еще остановку у раскольников. В небольшой, но очень чистой хате, под образами, среди которых выделялся по своим размерам, живописи и центральному положению — строго смотревший на нас Николай угодник, сервирован стол: белая скатерть, тарелки, ножи, вилки, деревянные ложки, подносик с ломтями черного хлеба. За братом-офицером ворвался его пес. Бабы визжали, протестовали, мужья их беспомощно разводили руками. Одна из раскольников свирепея оглянув своих растерявшихся мужиков, спешно бросилась к образам и задержала их ситцевой занавеской, свободно двигавшейся по натянутому шнуру. Уселись за стол в приятном ожидании сытного обеда, обдававшего уже нас аппетитным ароматом широкой пасти русской печки. Хозяйка вытаскивает ухватом какой-то белый сосуд, берет его чистым полотенцем, торжественно несет к нам и ставит среди стола... большой фаянсовый ночной горшок, наполненный жирным, дымящимся борщом. Мы так и покатились со смехом, невольно отпрянув от предположенной о седи. Хозяйка с недоумением смотрели на нас. Но голод взял свое, борщ был съеден до самого дна неприличного сосуда.

Выехав из пределов Пензенской губернии, мы уже двигались с меньшим комфортом. На одной из остановок нас навистил даже старик и потребовал у отца его паспорт. В Самару приехали вечером и по улицам, освещенным керосиновыми лампами, казавшимися после масляных необычайно яркими, добрались до гостиницы. Отец немедленно направился к Аксаковым.

Скоро все вошло в свою колею. Квартира, доставшаяся нам в Самаре, по размерам своим превосходила пензенскую, много комнат оказалось незанятыми. Вернулась мать, брат-офицер перевелся в полк, стоявший в Самаре; из Петербурга, по состоянию своего здоровья, вернулся брат Лев и поступил чиновником особых поручений к губернатору.

Все устроилось хорошо. Мать завязала дружеские отношения с педагогическим персоналом, я несколько подтянулся и, хотя не знал хорошо ни латинских склонений, ни спряжений, перешел в 4-й класс. Для обеспечения этого успеха я взял у учителя латинского языка несколько уроков, ничего из них не вынес, но заплатил его жене, у которой, как всем было известно, он находился под башмаком, тридцать рублей. С уплатой этих денег вышла маленькая задержка, на экзаме́не учитель поставил мне двойку, но когда деньги были уплачены, эта двойка магическим образом превратилась в тройку, хотя, уплачивая деньги, я и не ожидал такой метаморфозы, содействовавшей моему переходу в четвертый класс.

Назначение Чагиной в инспектрисы Самарской женской гимназии задерживалось. Аксаков и отец волновались. Мать страдала. По делам службы Аксаков поехал в Петербург и узнал там, что к назначению Чагиной все уже было сделано, но она не была утверждена III отделением, не считавшим возможным объяснить причины своего странного для всех, знавших Чагину, поступка. С этим известием Аксаков вернулся в Самару. Обсуждали этот факт на все лады. Мать сидела как на иголках. Это было замечено, вспомнили об уфимских сплетнях. Аксаков, приехав к матери в неурочный час, когда отец и братья были на службе, подверг ее допросу. Мать расплакалась и призналась ему во всех своих прегрешениях.

Отец, ничего не подозревавший раньше, был взбешен. Он решил выдать матери отдельный вид на жительство и, назначив ей сто рублей содержания, сказал: «Живи хоть за границей!». На все уведомления сыновей и приехавшей по этому поводу из Уфы дочери отвечал: «Не могу... Донос... Ложный, скверный донос... Никаких амурных дел и даже мыслей о них у меня с Чагиной не было.. И хоть молчала бы, так нет, всю эту измышленную ею грязь рассказала Аксакову»... Последняя фраза, случайно мною подслушанная, мне не понравилась, но с моим мнением, понятно, не считались. Мне было жаль мать, но полностью оправдать ее и я не мог. Она это чувствовала, это было ей горько. После трогательного прощания со мной и с другими детьми мать уехала в Вараксино.

В четвертом классе я учился довольно хорошо, был пятым учеником по успехам, хотя по иностранному языку и получал двойки. Искал выхода из этого положения. Попалась мне как-то в газетах программа для поступления в морское училище. Мне казалось не трудным подготовиться к этому экзамену, так как предъявляемые требования соответствовали моим способностям. Я любил чи-

тать путешествия, я воображал себя офицером, совершающим кругосветное плавание. Батальные картины никогда при этом не всплывали в моем воображении. На ряду с занятиями в гимназии я стал готовиться и по этой, вычитанной мной в газетах, программе. Это мешало моим гимназическим работам, но выработало во мне способность к самостоятельному труду. Увлечение это долго не продолжалось. Брат Лев не сочувствовал ему, за двумя зайцами тянуть было трудно, я охладел. Брат упрекнул меня, что я слишком много времени уделяю чтению романов и путешествий. «Что они дают тебе?». Он принес мне «физиологию» Льюиса и сказал: «Вот эта книга, если ты ее прочитаешь внимательно, даст тебе знания, которые останутся при тебе на всю жизнь». Семя пало на подготовленную почву, я прочитал это сочинение с большим увлечением. Заглохшее стремление к изучению естественных наук, хорошо преподававшихся в Пензенской гимназии, пробудилось во мне с новой силой.

С четвертого класса начиналось изучение словесности, и только с этого времени заставили нас взять перо в руки и излагать свои мысли. Первое сочинение нам задали на тему: «Моя родина». Я был поставлен в тупик: Калуга, где я родился, не сохранилась в моей памяти, я был увезен из этого города трехмесячным ребенком. Решил описать Уфу и изобразил ее приблизительно так: «В Уфе главная улица Казанская, стоит на большой горе, окружена с трех сторон рекой Белой...». Мне поставили двойку и осмеяли на весь класс. Второе сочинение я составил по какому-то рассказу Григоровича, несколько изменив его стиль и приналовив к теме. Учителю поставил Григоровичу четыре, но такую маленькую четверочку, — а величиною своих отметок, как было известно, он выражал свое удовольствие или огорчение, — что мне, на воре и шапка горит, стало ясно: учитель заподозрил самостоятельность моего авторства. Сочинением этим был поражен и брат Лев. Покопавшись когда я был в гимназии, в моих книгах, он уличил меня в плагиате и, дав соответствующее разъяснение, раз навсегда отучил от этого литературного воровства. Третье сочинение на тему «Сон» я написал самостоятельно, но, согласно заключенного условия, дал исправить брату. Брат исправил и, значительно развив мое писание, внес в него такую массу черт, ведьм, летающих на помеле, и каких-то страшных, прыгающих лягушек с человеческими мордами, что слава богу, бонерный учитель, с негодованием возвратив мне наше общее с братом творение, жаловался: «Ну, и фантазии... из-за них я целую ночь не мог сомкнуть глаз!».

Наконец, мне это надоело. Мне казалось странным и обидным, что я не умею изобразить на бумаге возникающие в моей голове так ясно рисующееся в ней мысли и картины. Я решил взять приступом стоящую передо мною и привлекающую меня крепость. Читал я Тургенева, его «Записки охотника» и, внимательно сле-

как цепляются у этого писателя друг за друга слова, предложения, фразы, старался проникнуть в тайну красоты его слога. Идя этим путем, я скоро стал одним из лучших стилистов среди своих товарищей.

В четвертом классе я просидел два года — 68—70 г.г. Первый год был посвящен мной подготовке в морское училище и... театру. Тайком от отца я раза четыре в неделю забирался на галерку и с жадным любопытством смотрел с этой демократической высоты на вдохновенную игру будущих российских знаменитостей: Стретовской, Ленского, Писарева и других.

Для краткости, опасаясь утомить читателя, я эти два года слил в одно целое.

II. ЮНОСТЬ.

Весной 1871 года в нашей Самарской гимназии, — я был в то время учеником 5-го класса, — разыгралась трагикомедия, незначительная сама по себе, но сыгравшая в моей, как и в судьбе многих из моих товарищей, весьма знаменательную роль.

В какой душевной атмосфере текла наша жизнь, можно судить по тому, что в то самое время, когда в газетах печатались известия о Парижской коммуне, ученики седьмого класса гимназии организовали «обжорную коммуну», а в нашем пятом классе образовалась «коммуна взаимного увеселения».

В этой веселой организации участвовал и я. Один из товарищей написал устав нашего кружка и, предложив его на наше утверждение, заставил нас подписать его; изобразив затем на закованном стекле печать с грозной для того времени надписью: «коммуна», — он приложил ее к этому забавному документу.

Устава своего мы, конечно, не скрывали, он очень скоро попался в руки одного из родителей. Испугавшись, почтенный отец семейства созвал членов «коммуны» и, объяснив нам, что за такой устав мы рискуем, при господствующем российском режиме, попасть туда, куда и Макар телят не гоняет, торжественно сжег подписанный нами «документ».

Обстоятельство это, впрочем, несколько не нарушило нашего душевного спокойствия, и наша коммуна продолжала существовать.

Мы собирались, читали, спорили о прочитанном, танцевали, пели, совершали невинно-веселые, шумные прогулки летом — на лодке зимой — на санях; но рядом с этим мы вели упорную борьбу с своими педагогами, пытавшимися искалечить нас латынью, учебниками Иловайского и другими подобными же прелестями педагогической премудрости. Мы старались пополнить свое образование чтением книг по естествознанию, общественным наукам. В Самаре в то время была уже довольно хорошая городская библиотека. На полках этого книгохранилища красовались: Дарвин, Добролюбов, Писарев, Спенсер, Араго, Тиндаль и проч. Каждая из этих книг, расширяя наш умственный горизонт, открывая перед нами совершенно новый, во-

шебный мир, манила нас к все большему и большему расширению нашего миропознания.

Времени для чтения у нас было мало, приходилось урывать его от гимназических занятий. Более способные товарищи справлялись с тем и другим, отдавая божие богу, а кесарево кесарю; некоторые умудрялись еще содержать себя и свои семьи уроками, как, например, Виктор Осташкин, Иван Чернышев, Егор Лазарев, впоследствии привлекавшиеся вместе со мной по процессу 193-х. Но я, завидуя им, — да, завидуя, так как мы все стремились в университет, а туда можно было попасть лишь перешагнув порог гимназии, — положительно не мог следовать по их стопам.

У меня не хватало времени. Особенно трудно давалось мне изучение иностранных языков, отнимавших у меня массу энергии, а потому я решил объявить бойкот латыни, — греческий язык у нас еще не преподавался, — и немецкому языку, полагая, что для меня совершенно достаточно знать один иностранный язык — французский. Французский язык изучал я не по методу нашего педагога, заставлявшего нас, для улучшения произношения, зубрить массу стихотворений и даже французскую прозу, а по Олендорфу и, в подражание Рахметову, по евангелию.

Эта борьба с нашими языковедами, как я сознавал, грозила мне потерей года, и, наконец, исключением за неуспешность; но я надеялся, что, если меня оставят на второй год в пятом классе, то мне удастся уговорить отца, сторонника классицизма, перевести меня в реальную гимназию.

И вот во время этой борьбы с педагогами и развивавшегося между нами стремления к достижению возможно широкого умственного развития, когда наша будущая жизнь рисовалась нам хотя и в весьма неопределенных, но очень заманчивых красках, мы неожиданно натолкнулись на препятствие, на первых порах ошеломившее нас.

В одну из больших перемен, когда весеннее солнце мощно манило на широкий простор из стен затхлой гимназии, нам объявили, что после уроков все ученики старших классов должны собраться в физическом кабинете для объяснений с директором.

Это очень удивило и заинтересовало нас. Директора наши всегда держали себя на приличной дистанции от своих учеников, чувствовали себя как бы на Олимпе и, подобно Юпитеру, спускались к нам с своих облаков лишь с громом и молнией. Но в данном случае грома и молнии никаких поводов не было. Мы терялись в догадках.

По окончании уроков, выслушав молитву после учения и обязательный гимн, пропетые хором всей гимназии, ученики старших классов собрались в физическом кабинете.

Директора еще не было, из начальства присутствовал только наш единственный, маленький, но очень плотный классный надзиратель, утверждавший как-то с присущим ему угрюмо-туповатым взглядом,

что он зубами свободно поднимает две связанные полотенцем двухпудовые гири. Судя по необычайно развитым челюстям, напоминавшим бульдога, его рассказу легко можно было и поверить.

Директор пришел минут через десять. Во всей его мощной, толстой фигуре и круглой котообразной лысой голове на этот раз не преобладала привычная для него напускная важность и строгость, а было нечто торжественное и таинственное. Прежде всего он обратился к надзирателю.

— Прошу вас удалиться, я должен говорить с учениками наедине. Надзиратель опешил, но, видя, что директор не шутит, покорно поник головой и, словно пришибленный, направился к двери.

— Хорошенько притворите дверь, — добавил директор, — и никого не впускайте.

Наше любопытство возросло на 100%.

Убедившись, что дверь плотно закрыта, директор, сев за стол, покрытый для этого случая красным сукном, пригласил нас подойти к нему возможно ближе. Мы окружили его тесным полукругом, устремив на него взоры своих карих, синих, серых, голубых, наивно-любопытных глаз.

Окинув нас торжественно серьезным взглядом, как бы приглашая проникнуться важностью переживаемого момента, директор, медленно опустив правую руку в левый боковой карман своего вицмундира, вытащил из него солидный белый пакет за пятью красными сургучными печатями. Пакет этот он высоко поднял и, показывая нам лицевую сторону его, сказал:

— Вот я получил пакет... Вы видите, что на нем написано? «Секретно и конфиденциально!». Это значит, что начальство, наше высшее начальство, требует, чтобы содержание бумаги, вложенной в этот конверт, я, как посредник между ним и вами, и вы, к которым оно собственно обращается, хранили в полной тайне даже от самих близких нам людей, от отцов и матерей.

Произнеся этот спич, возбудив им наше любопытство до крайних пределов, директор почтительно надорвал с одной стороны конверт, осторожно извлек из него циркулярное предписание и приступил к чтению.

Директору предлагалось, — кем именно, на это мы тогда не обратили внимания, — предупредить учеников старших классов, что на Руси за последнее время появилось много крамольников, стремящихся уничтожить религию, власть и семью; что крамольники эти пополняют свои ряды, главным образом, adeptами из среды воспитанников высших и средних учебных заведений, нередко завлекая их в сообщество обманным путем. Последнее утверждение иллюстрировалось примером, взятым будто бы из действительной жизни. Два воспитанника Петербургского морского училища, выйдя погулять на улицу в праздничный день, говорили между собой об организации общества для ловли китов и моржей в Северном Ледовитом

океане, обсуждая подробности проекта, созданного в училище пыльным воображением молодых моряков. Их подслушал какой-то студент и, присоединившись к ним, уверял, что в Петербурге есть много людей, интересующихся этим проектом и желающих принять участие в организации общества китоловов. Моряки, встретив сочувствие своим заветным мечтам, были крайне этим заинтересованы и потому охотно согласились на предложение студента прийти с нему в следующее воскресенье для совместного обсуждения устава предполагаемого общества. Через неделю, захватив с собою еще одного товарища, кадеты отправились по указанному им адресу и очутились в квартире, переполненной людьми разных званий и профессий. Тут шел оживленный спор, но не об организации общества для ловли китов и моржей в Северном Ледовитом океане, а о способах ниспровержения существующего государственного порядка в России. Наивные моряки, прислушиваясь к разговору и плохо разбираясь в нем, тшчетно ожидали, когда же, наконец, разговор перейдет на интересующую их тему, но этого им дожидаться не пришлось. В квартиру неожиданно нагрянула полиция, и все присутствовавшие на сходке были арестованы. Морякам, как военным, грозило очень серьезное наказание. К счастью, следствию удалось выяснить, каким обманным путем воспитанники морского училища были вовлечены в противозаконное сообщество. Об этом доложили государю, и он решил: дело о воспитанниках морского училища оставить без последствий, учеников же всех средних учебных заведений предупредить о расставленных крамолой сетях и о грозящей им опасности¹.

Закончив чтение бумаги, директор сказал нам краткую речь и заключил ее, нервно тыкая своим жирным пальцем по направлению к полу кабинета:

— Перед вами пропасть. Попечительное правительство вам укажет на нее. Воспользуйтесь же предупреждением, берегитесь... Сорвавшись в пропасть, вы в ней погибнете безвозвратно.

Из речи директора и прочитанного им циркулярного предписания мы поняли, что в России существуют две борющихся между собой силы: мертвящая сила правительства, с которой в лице наших педагогов мы уже несколько навскили бороться, и сила молодой России, приглашающая нас посвятить свою жизнь благу и счастью нашей родины, благу и счастьем всего человечества.

¹ Я, конечно, не могу ручаться за точность изложения содержания данного циркуляра, отделить: что было в нем и что создано впоследствии нашим коллективным воображением; сообщая его в том виде, как он сохранился в моей памяти. Хотя знаю, что с фактической стороны переданный мною рассказ во многом грешит против истины. Так, воспитанники морского училища были арестованы не на сходке, а в морском училище, не количестве 3-х, а в числе до 25 человек и проч. (См. II том „Былого“ за 1907 г., ст. Серебрякова).

здравствующей Петропавловской крепости. Кто пришел к нам на смену его, кто нас может вознаградить за эту утрату?

«Исторические письма» Миртова-Лаврова дали нам соответствующую программу и для нашей ближайшей деятельности. Желая стать в ряды строителей жизни, критически мыслящих личностей, мы, не оперившиеся еще юноши, должны были серьезно подготовиться к нашей будущей деятельности, многое прочесть, многое изучить, многое обдумать.

Кроме «Исторических писем» мы штудировали в это лето «Политическую экономию» Милля с примечаниями Чернышевского. Изучение этого сочинения считалось обязательным перед вступлением в святая-святых социализма, преддверием к чтению «Капитала» К. Маркса. Первая часть этого «Капитала», написанная довольно туманно и усваиваемая девственными умами с большим трудом, внушала нам, молодым поклонникам Маркса, наряду с уважением к глубокой мудрости этого писателя, страх и трепет.

Можно себе представить, с каким отвращением я переходил от чтения подобных книг к зубрению катехизиса, литургии, истории Иловайского. Этим занятиям я посвящал свое дообеденное время. Потом читал своих любимых авторов, или шел в общественный городской сад, — в Струковский, как называют его в Самаре, — где под развешистыми липами мы обменивались своими впечатлениями. Никто за нами не следил, никто нас ни в чем не подозревал. Время было смиренное. Вертелся около нас только новоиспеченный околоточный надзиратель Макаровский, променявший в это лето гимназический мундир на полицейский; но его попытки втереться в нашу среду были так наивно глупы, что возбуждали в нас только смех. Впоследствии этот Макаровский составил себе карьеру из политических доносов и добился перевода в Казань, а потом назначения на место полицеймейстера в г. Уфу. Он умер в 1893 г., помешавшись на мысли, что шах персидский назначил его кавалером ордена Льва и Солнца.

Впрочем я и тогда умудрился попасть под надзор, но только не жандармского полковника, а жандармский полковницы.

Дело было так. Как-то вызвали меня к отцу в кабинет. Прихожу и застаю у него жену местного жандармского полковника. Я ее знал в лицо, но знаком с нею не был. Отец представил меня. Поздоровавшись с нею по всем правилам вежливости, я невольно бросил на нее, как на жандармскую полковницу, холодно-враждебные взгляды. Заметив это, она тем не менее пригласила вместе с отцом и меня на именины своей дочери-гимназистки. Пробурчав в ответ нечто неопределенное и переждав с минуту, пока отец заговорил о посторонних предметах, я ушел к себе. В день именин я к назначенному часу не явился домой, отец уехал один. Полковница обиделась и сказала отцу:

— Ваш сын, вероятно, крайних убеждений и не желает быть знакомым с семейством жандармов.

Отец, мало знающий меня, удивился и, сердечно расхохотавшись, сказал:

— Что вы, что вы!.. Да мой сын совсем еще ребенок, у него в мыслях ничего подобного не может быть!..

Встречаясь потом с полковницей и холодно-вежливо раскланиваясь с нею, я чувствовал, что слова отца ее не убедили.

В это лето приехал в Самару первый из известных мне «краснольников», студент Горного Института, бывший артиллерийский офицер. Фамилия его совершенно испарилась из моей памяти. Он организовал в Самаре небольшой кружок, состоявший исключительно из лиц женского пола и занимавшийся самообразованием. Во главе этого кружка стояли Станалова, впоследствии вышедшая замуж за Тринидатского и под этой фамилией умершая в женской карийскойаторжной тюрьме, и Эйхова, уехавшая в 1874 г. с бого-человеком Маликовым и его компанией в Америку и с тех пор исчезнувшая с моего горизонта. С кружком этим я познакомился лишь весной 1872 года, когда была сделана первая попытка к слиянию всех самарских кружков в одну стройную организацию. Наступил август. Отец был в Петербурге. Дома я оставался с братом Львом. Петербургская бюрократия, нуждавшаяся в деньгах, создала проект походящего налога. Проект этот она передала на обсуждение земских собраний и тем вызвала большое оживление в обществе. Этим движением был увлечен и мой брат.

Во главе учрежденной в Петербурге комиссии о подоходном налоге фактически состоял приятель отца Домонтович. Отцу, гордившемуся способностями брата, удалось устроить последнего секретарем этой комиссии. Назначение брата в описываемое время еще не состоялось, но он уже усиленно подготовлялся к своей будущей деятельности.

Как я сказал, вопрос о необходимости покинуть Самарскую гимназию был решен мною окончательно. И поэтому, когда начались занятия в гимназии, а я еще официально числился гимназистом, для меня не представляло никаких затруднений, воспользовавшись случаем, предпринять поездку в Казань, не испрашивая на это обязательного в таких случаях разрешения директора. Один из моих приятелей по нашей «коммуне взаимного увеселения» окончил в этом году гимназию и собрался ехать в университет. Я вызвался провожать его.

Это маленькое путешествие мы провели детски-весело. Каждый устак, как бывает только в эти годы, доставлял нам громадное удовольствие. С большим интересом на пути от Самары до Казани мы следили с капитанской рубки за появлением встречных плотов, париж, белян, пароходов, выбрасывавших ночью огненные хвосты из своих труб и светившихся разноцветными фонариками. Всех пасса-

жиров, даже угрюмых армян и персов, мы подвергали подробному допросу: кто они, чем занимаются, куда и зачем едут? И почти все охотно отвечали на наши вопросы. На каждой остановке лакомились разнообразной снедью и, располагаясь на палубе, запивали ее душистым чаем, ароматным воздухом; в Симбирске бегали смотреть город, памятник Карамзина. Следили за компанией пароходных жуликов-картежников, обиравших пассажиров, тщетно пытались спасти последних; за седым татаринном в золотой тюбетейке ехавшим с только что купленной им в Астрахани женой, поражающей нас своей ранней юностью, красотой и нарядом.

В Казани мы остановились в гостинице. Здесь подкарауливал нас первый скорпион подневольной жизни русского обывателя. Тотчас же по приезде к нам вошел номерной и потребовал паспорт. Мы были удивлены и взволнованы. У меня никакого документа на жительство не оказалось. Но все обошлось благополучно. Номерной удовлетворился, получив паспорт товарища и мое объяснение, что документы мои хранятся в университете и будут вручены ему при получении их от подлежащего начальства.

Перспектива быть арестованным за бесписьменность мне не улыбалась. Из беды меня выручил товарищ по гимназии, приехавший в Казань на короткое время для лечения глаз. Уезжая обратно, он передал мне свой документ. Паспортом этим мне, впрочем, не пришлось воспользоваться, и на этот раз я остался невинным агнцем перед лицом русского закона. Через день-два мы сняли за шесть рублей в месяц маленькую комнатку и зажили спокойно, никто не тревожил нас требованием паспортов. В Казани я пробыл дней шесть. Был на годичном акте в университете, прослушал одну лекцию по физике, питался в студенческих кухмистерских, посещал излюбленные студентами пивные. Когда небольшой запас имевшихся у меня денег истощился, я сел на пароход и вернулся в Самару. Здесь никого из родных не застал, отец был за границей, брат выехал в Петербург.

В Казани я простудился; было уже холодно, а я не хотел носить имевшееся у меня гимназическое пальто, которое, как мне казалось, мешало бы мне вращаться в среде студентов и посещать университет. Теперь, больной, я вынужден был сидеть дома, чувствуя себя одиноким в большой отцовской квартире. Товарищи не знали о моем возвращении, были заняты, никто из них за это время меня не посетил.

Отец вернулся недели через две. Он распек меня за самовольную поездку в Казань и требовал, чтобы я немедленно шел в гимназию или «убирался на все четыре стороны». Дня три я упорствовал, сопротивлялся даже ехать к брату в Петербург, но денег на поездку не было, и где бы я мог их достать? Я решил сдаться, утешая себя мыслью, что через год меня все равно выгонят из гимназии, если не буду учить ненавистные мне латинский и немецкий языки, а за

этот год, мол, я успею подготовиться к выпускному экзамену по программе военной гимназии.

В гимназии меня не ждали. Я уже был вычеркнут из всех журналов. Встретили, однако, приветливо и вновь усадили в пятый класс. Исключение мое еще не было оформлено, а в записке отца, с которой пришлось мне явиться к начальству, значилось, что запоздал «по домашним обстоятельствам».

Друзья мои, Осташкин и Чернышев, были уже в шестом классе, в пятом я теперь встретился с Осиповым, Лазаревым, Филадельфовым и Фаниным-Андреевым. Все эти лица, два года спустя, привлечены были одновременно со мной по процессу 193-х, фигурируя на суде в качестве представителей «самарского кружка».

Кажется, в первый же день моего прибытия в гимназию Осташкин имел со мною конфиденциальный разговор. Мы рассказывали с ним о коридору, среди гама и шума детворы он сообщил мне, что товарищи разбились на два кружка: более рьяных и более умеренных. Первые предполагали немедленно приступить к революционной пропаганде; вторые же, считая себя еще неподготовленными к выступлению на революционный путь, полагали необходимым предварительно заняться своим самообразованием. Первый кружок состоял всего из двух лиц, местных дворян: Льва Городецкого, бывшего нашего товарища по гимназии, вышедшего из четвертого класса, служившего несколько месяцев юнкером в местном пехотном полку и находившегося теперь не у дел, и Владимира Осипова, моего товарища по пятому классу и теперь вновь догнавшего меня в пятом. Впоследствии к этому кружку присоединились Андреев и Филадельфов. Второй кружок также был немногочислен; в него входили: Иван Чернышев, окончивший несколько лет спустя, при шумном участии молодежи, Петербург, Виктор Осташкин и его старший брат, в то время бывший уже в седьмом классе. Я, по симпатии к Осташкину, вступил в этот последний кружок четвертым членом его.

В тот же вечер по ступеням грязной, скрипучей лестницы, освещая себе путь зажигаемыми спичками, я не без некоторого волнения поднимался во второй этаж небольшого домика, в квартиру Осташкина, где должна была состояться наша первая сходка, из четырех человек.

Отец Осташкиных был старый-старый отставной почтовый чиновник. Года за два перед этой нашей первой встречей с ним он еще управлял почтовой конторой в одном из уездных городков Самарской губернии и имел в этом городе собственный дом. Отставка, связанная, вероятно, его глубокой старостью, и пожар, похитивший все его имущество, выбросили старика на улицу, и он из «потенного родителя», воспитывавшего двух сыновей в гимназии, превратился в бесприютного старца, вынужденного со всей семьей своей, состоявшей из жены и младшего сына, искать приюта у своих старших сыновей. Он получал, надо полагать, грошовую пенсию, и ее,

конечно, далеко не хватало на прокормление. Старший сын был какой-то одутловатый, неподвижный, нервно-больной. Главным добытчиком материальных средств в этой семье был средний сын — мой товарищ, красивый, здоровый, энергичный, работающий парень. Мать с гордостью называла его своим орлом.

Чернышев предупредил меня, все были в сборе. Старики с младшим сыном скрылись где-то в задней комнатке. Председательство взял на себя старший Осташкин, старший и по летам и по классу. Он очень волновался, все лицо его подергивалось мелкой судорогой, когда он говорил вступительную речь, объясняя цель нашего собрания.

Пробираясь на эту сходку, я чувствовал, что перехожу рубикон: делаю первый посильный шаг со своей стороны к разрушению существующего политического строя в России, а потому был очень удивлен и разочарован, когда наш председатель, заговорив о нечаевцах, стал кидать грязью в «мальчишек», осужденных по этому процессу, не желавших учиться, легкомысленно и преступно взявших на себя роль строителей жизни, бесцельно погубивших себя и все последовавших за ними.

Это напомнило мне речь директора о пропасти и статьи «Московских Ведомостей». Я вознегодовал:

— Мы недостаточно подготовлены, — сказал я, — чтобы отнестись критически к деятельности нечаевцев. Может быть, они ошибались, но они погибли, стремясь принести благо своему народу, а потому мы не смеем глумиться над ними и, во всяком случае, должны относиться к ним с уважением, как к лицам, погибшим за свои убеждения.

Это возражение очень не понравилось нашему руководителю, он промолчал, а затем совершенно отстранился от нашего кружка.

После этой первой сходки мы за всю зиму собирались — у нас в числе трех человек — не более двух-трех раз. У нас не было свободного времени. Осташкин и Чернышев бегали по урокам, я готовился по программе военных гимназий, что мне давалось с большим трудом. Свободное время посвящали чтению. Познакомившись с биографией Бокля, я позавидовал ему. Отец Бокля предоставил своему сыну полную свободу в его умственном развитии, снабжая его всеми требуемыми им книгами. Решили и мы завести свою библиотеку, первые выписанные нами 5-6 книг, рекомендованные нам старшим Осташкиным, оказались совершенно непригодными. Решили заматывать, придерживаясь строгой системы, переходя последовательно от изучения математики к естественным наукам и т. д., но никак из нас этой системой не руководствовался.

Не менее бесплодно прошла эта зима и у наших более рьяных товарищей — Осипова и Городецкого, по крайней мере плодов их деятельности нам, когда весной слились все кружки, не пришлось увидеть.

Но почти бесплодная во внешних проявлениях, в воздействии на окружающую среду, зима эта ознаменовалась упорной работой в нашем внутреннем мире. Не знаю, как другие товарищи, но мне именно в эту зиму впервые пришлось пережить то высокое наслаждение от внезапного прояснения мысли, которое наши штундисты характерно отождествляют с сошествием святого духа на апостолов.

Штундисты, наметив нового прозелита, способного, по их мнению, воспринять «христово учение», дают ему евангелие и говорят: «Мы следуем учению Христа, учение его изложено в этой книге. Эти книгу читают в ваших церквах, но там читают ее на непонятном для вас славянском языке, и вы слышите, но не понимаете. Читай эту книгу, здесь все написано просто, на нашем русском языке; идумывайся в каждое слово, — и дух святой снизойдет на тебя и просветит твой разум». И вот намеченный кандидат в штундисты читает евангелие раз, другой, третий, и невольно проводит параллель между своим полужызычным миросозерцанием, признающим в иконе непосредственное божество, и евангельским учением. Долго он противится Христу, но вдруг какой-нибудь поразивший его евангельский текст или внезапно всплывшее и представшее теперь в совершенно новом освещении воспоминание из прошлой жизни — опрокидывают укоренившееся в нем мировоззрение, и Христос светлый, радостный сбрасывает завесу с его глаз, завладевает всеми его мыслями. Умиленный он идет к своим новым братьям во Христе и рассказывает им, как обрел его дух святой. Такие рассказы в 70-х годах служили любимой темой повседневных разговоров между штундистами.

Так бывает и с принятием всякого другого учения, раз вы склонны воспринять его. На первых порах оно вам может показаться диким, абсурдным. Потом, если не находите против него основательных возражений, вы примиряетесь с ним, но в вашу плоть и кровь оно входит лишь тогда, когда вы самостоятельно его переработаете, приспособите к своему я. И эта перемена в вашем мировоззрении, зарождающаяся за пределами вашего сознания, обнаруживается перед вами внезапно, как бы от электрического толчка, у каждого на свой образец, со своим началом и своим концом.

В описываемое время мы мало следили за современными журналами, мало читали даже «Отечественные Записки», но журналы шестидесятых годов, «Современник» и «Русское Слово», перечитывались нами от доски до доски. Как-то вечером, оторвавшись от изучения гимназической премудрости, я, расхаживая по своей комнатке, читал уже не помню какого года, месяца книжку «Русского Слова»; читал статью, заглавие и содержание которой даже в тот момент совершенно улетучились из моей головы, так как в ней меня поразила лишь одна цифра, заслонившая собой все остальное. Автор утверждал, что на каждого жителя России, если разделить поровну весь дневной продукт всех трудящихся, придется не более 24 коп.

в день. Автор этой крохотной статейки не объяснял, откуда взял он эту цифру. Но дело не в точности ее, а в том, что подобная цифра существует. И всякий, — рассуждал я, — а в том числе и мы, потребляющие продукты более, чем на эту сумму, присваивает себе ему непринадлежащее, урезывает чей-то паек, заставляет кого-то голодать.

С этого вечера я почувствовал почву под ногами, эти 24 коп. послужили мне исходной точкой для критического отношения к жизни. Социализм — больше на основе чувства, чем разума — стал впитываться в мою плоть и кровь и, — что потом, в период развития соц.-демокр. редко случалось, а в описываемое время было обычным явлением, — вместе с усвоением идей социализма я, никогда не живший в фабрично-заводских округах, проникался глубокой симпатией к нашему крестьянству, как к наиболее угнетенной в политическом и экономическом отношениях части населения нашей родины. В семидесятых годах не был популярен, не был еще в достаточной степени понят и оценен лозунг: «пролетарии всех стран соединяйтесь!». Мы говорили или, вернее, думали: «эксплуатируемые всех стран соединяйтесь против своих эксплуататоров».

Кончилась зима. В гимназии я по всем предметам имел отличные отметки, но по латинскому и немецкому языкам у меня в четвертных балах красовались двойки и единицы. Уговаривали меня мой отец и директор гимназии специально заняться иностранными языками, но я отказался, не желая посвятить гимназии еще три года, когда можно было, по моим расчетам, разделиться с средним учебным заведением в один год. Перед экзаменами, когда выяснилось, что мне грозит неизбежное исключение, отец подписал просьбу об увольнении меня из гимназий. Старик был сильно огорчен. Гневные слова рвались с его языка, но он воздержался от их произнесения. Его вновь вызвали в Петербург. Проводив его на пароход и взяв на следующий день свои бумаги из гимназии, я почувствовал себя свободным гражданином.

С первыми пароходами из Петербурга приехали в Самару чайковец Сердюков и два наших самарца, примыкавших к чайковцам и находившихся под их влиянием, Ливанов и Соколовский. Сердюков почему-то обратил на себя внимание местной полиции, установившей за ним надзор. Благодаря этому первое же собрание молодежи, устроенное для него Ливановым, чуть-чуть не было захвачено полицией. Последняя запоздала, все уже успели разойтись. Попалась на глаза околоточному надзирателю только одна барышня — швейка Иванова, которую он, встретив на улице, заподозрил в присутствии на сходке. Он спросил ее фамилию. Она по чистой совести дала ему правильный ответ, и была отпущена с миром. Сердюков успел скрыться, уехал обратно в Петербург, никто из присутствовавших на сходке не пострадал. Но полиции нужно же было кого-нибудь арестовать, чтобы загладить свою оплошность. На какую-то там

швейку, по духу того времени, никто не обратил внимания, искали барышню и арестовали телеграфистку Иванову, совершенно не причастную к революционному движению и в момент сходим бравшую урок английского языка у слывшего либералом начальника государственного контроля Мордвинова. Последний чрезвычайно возмутился этим арестом, ездил к губернатору, жандармскому полковнику, приезжал с жалобой даже к отцу, хотя отец к полиции не имел никакого отношения, и устроил полицеймейстеру публичный скандал в городском саду: «Если вы мне не верите, — кричал он, — рассказываю с полицеймейстером по главной аллее, — так арестуйте меня за укрывательство... Это чорт знает, что такое... При таких условиях никто не гарантирован от ареста».хлопоты и протесты его, однако, не увенчались успехом. Иванова просидела несколько месяцев в тюрьме, лишилась службы, да и сам Мордвинов попал под тайный надзор и скоро вынужден был покинуть свой официальный пост.

Впоследствии на имя этого Мордвинова высылались по почте негательная литература из Петербурга. Он как-то говорил мне: «И как подумаешь... всего двадцать лет тому назад.. Сидит бывало наша молодежь в деревне, на балконе, дуется в карты. Когда является потребность, кричим: «Машка, горшок!». Приходит маленькая крестьянская девочка с сосудом, лезет под стол и, стараясь не помечать нашей игре, продолжавшейся с тем же азартом, ухаживает за нами, двадцатилетними парнями, как мать за своим годовалым ребенком. И это была самая обычная, с детства всем привычная картинка, никто на нее и внимания не обращал. Да, а теперь вот и вспомнить об этом стыдно».

Наибольший успех среди самарской молодежи имел в это лето Соколовский, еще в гимназии внушавший к себе уважение своей склонностью к серьезным занятиям. Провыв один год в Петербургском Технологическом Институте и встретившись там с чайковцами, он вернулся к нам ярким революционером. Соколовский собрал в своей маленькой, свободной от мебели, квартирке всю самарскую революционную молодежь и прочитал ей лекцию. На одной из стен, обеленной известью, был начерчен углем ряд концентрических все расширяющихся кругов. Стоя около этого чертежа в своих рыжих штормках, в невозможно грязной рубашке и костюме, сшитых из дешевого крестьянского холста, он, обводя нас пылающим взором, тыкая пальцем то в тот, то в другой из кругов, кричал: «Здесь помещается центральное правительство, здесь дворяне, духовенство, помещество и фабриканты, а здесь, в этом большом круге, ютятся и трудящиеся, крестьяне и рабочие, из которых центральные круги, помещенные общим интересом, высасывают кровь. Это их стадо, оно должно быть покорным, а потому общими усилиями они держат его в неволе. Они опасаются, что стадо их, вкусив плоды от древа познания добра и зла, не пожелает носить возложенного на него ярма,



страхует с себя всех своих эксплуататоров. И вот древо это, древо познания добра и зла, они поставили на высоту недоступную для народа. Таково положение вещей, из него выясняются наши задачи. Они заключаются в том, чтобы уничтожить основательно воздвигнутую преграду между народом и наукой. Нам плоды древа познания доступны, мы можем сорвать их и передать в лагерь трудящихся. Но доверится ли нам народ, примет ли он от нас эти плоды? Пока мы стоим в этих центральных кругах, народ, видя в нас своих угнетателей, не может отнестись к нам с доверием. Нужно сбросить с себя привилегированную оболочку, обратиться в простых рабочих, перейти из центральных кругов в этот большой круг трудящихся людей. Здесь примут нас с распростертыми объятиями, здесь отнесутся к нам с полным доверием, здесь не отвернутся от принесенных нами плодов знания. И когда плоды эти будут усвоены трудящимися массами, тогда ярмо будет сброшено, стадо восстанет на своих пастырей и центральные круги эти будут рассыпаны в прах.

Квартирка, в которой произнесена была эта пылкая речь, находилась в двух кварталах от полицейского управления и помещалась при нем квартиры местного полицеймейстера. Находилась она в полуподвальном этаже, открытые окна выходили на тротуар многолюдной улицы. Прохожие заглядывали к нам, но особого удивления не высказывали. Они предполагали, вероятно, что здесь происходит учебное занятие, что в данный момент объясняется какая-либо геометрическая задача. Времена были простые, обыватели и полиция не были подозрительны.

После этой лекции Соколовский, как бы истощив все свои организационные ресурсы, успокоился и, подобрав себе в товарищи кумовского и молчаливого семинариста Благовещенского, погрузился в изучение первого тома «Капитала» Маркса. Мы навещали и брали у них легальные книжки подходящего содержания и записывали крохотные брошюрки социал-демократического направления, привезенные Соколовским из Петербурга. Брошюрки эти предлагали нам заняться объединением фабрично-заводских рабочих устройством стачек, подготовляя таким образом пролетариат к будущей более крупной борьбе его с буржуазией. Но в Самаре в то время никаких заводов и фабрик не было. Мы обошли все окраины города и нашли только один маленький крахмальный завод и черт знает сколько рабочих в нем. Товарищ, нашедший этот завод, вожделенно смотрел на это чудо, но доверие к брошюркам все же было подорвано. Мы засыпали Соколовского своими недоуменными вопросами и поставили этого еще мало подготовленного юношу в большое затруднение.

Среди лета в Самаре был водворен нечаевец Кошкин, только что выпущенный из Петропавловской крепости, и явившийся к губернатору Аксакову с письмом известной благотворительницы Герасимовны. Эта благотворительница посещала нечаевцев в тюрьме и

принимала участие в их судьбе по выходе их из мест заключения. Кошкин поселился, по протекции Аксакова, в кумысолечебном заведении доктора Постникова. Нечаевец этот познакомился с Соколовским и, импонируя ему своим прошлым, убедил его, что нашу организацию необходимо разбить на две части. Первая часть, полагал он, должна состоять из отборных, достаточно подготовленных людей, бесповоротно решившихся слиться с народом. Все же остальные члены организации должны быть обращены в кадры будущей армии и пока, не выходя из привилегированных кругов, действовать, главным образом, среди интеллигенции и лишь поддерживать самоотверженную деятельность своих передовых борцов.

Нашему лидеру понравился этот проект. Он оставил при себе, кажется, одного Благовещенского, а всю остальную молодежь передал Кошкину. Чернышев, уехав на лето к родным в деревню, при всех описанных событиях не присутствовал, мы же с Осташкиным находились в городе и были весьма огорчены этим неожиданным зачислением нас в кадровый запас. Как сырой материал, передавали нас из рук в руки, как недостаточно подготовленных и, — что особенно было оскорбительно, — недостаточно самоотверженных. Мы гордились, но сознавали свою неподготовленность к революционной деятельности, и нам не хотелось упустить случая познакомиться с таким настоящим революционером, с ореолом мученичества, каким нам представлялся Кошкин.

В первый же праздничный день своего состояния в кадровом запасе, когда Осташкин был свободен от своих многочисленных уроков, мы направились в кумысо-лечебное заведение доктора Постникова, отстоявшее от центра города верстах в пяти и расположенное на гористом берегу Волги. Мы предполагали заставить нашего нового руководителя за умной книжкой или умным разговором в саду, в комнате, но наткнулись на него в курзале, где он с большим мастерством и увлечением катал шары по зеленому сукну бильярда. Это был молодой белообрый человек выше среднего роста, с изможденным лицом и еле пробивающейся на нем растительностью, в ботинках, красной рубашке и черной широкополой шляпе.

Приход наш смутил его своей неожиданностью. Может быть, он был недоволен, что мы застали его за таким пустым занятием, считавшимся в радикальной среде 70-х годов предосудительным, или наши школьные фигурки на фоне его красной рубашки показались ему недостаточно конспиративными. Покраснев до ушей, он сказал, что рад нас видеть, но в данный момент занят, а потому просит пройти в его комнату и там обождать. Ждать нам пришлось довольно долго, за это время Кошкин, вероятно, сыграл не одну партию. Пришел он скучный и вялый. Долго не находилась тема для нашего разговора. Наконец, он нашелся, принял рассказывать нам в самых общих чертах историю возникновения на Руси революционного

движения. Заметив, что стесняет его, мы скоро распростились с ним и ушли разочарованными.

Соколовский оттолкнул от себя молодежь, Кошкин пока-что не принял ее. Оба они после описанных событий работали на революционном пути не более года, а затем, пережив тяжелые душевные драмы и очутившись за флагом революционной жизни, примирились с обывательским футляром.

Оставшись без руководителей, мы рассеялись по своим углам, чему способствовала наступившая осень, долженствовавшая, согласно наших планов, раз'единить нас. Одни оставались в Самаре, другие собирались ехать в Петербург. К последним принадлежал и автор этих воспоминаний. Родитель не хотел пускать меня в далекий путь, но я написал брату и его ответное письмо, адресованное отцу, решило вопрос в мою пользу. Отец проводил меня на пароход и пожелал успеха в моих занятиях.

III. В ПЕТЕРБУРГЕ.

В Петербург я ехал через знакомые уже мне города Саратов и Москву. На пароходе встретил агронома, окончившего года два тому назад Петровско-Разумовскую Академию. Ехал он в Пензенскую губернию, где ему предстояло арендовать у какой-то помещицы землю.

— Мы пьявочки, — самодовольно говорил он, — землю сосем. Барынька хозяйничать не умеет. Я дам ей больше, чем она теперь звлекает из земли, и сам столько же заработаю. И государству польза, и барыня заработает, и я в убытке не останусь...

— Какая там польза государству, — горячо возразил я. — И это говорит бывший студент Петровско-Разумовской Академии... Жизнь нас заела, покалечила...

— Нет, жизнь не калечит, жизнь учит... И вас она научит. Вопрос только в том, сколько она с вас за ученье возьмет... А берет она за свое воспитание по рангам: с одного дешево, а с другого и дорого...

Этого разговора нам хватило на всю дорогу до Саратова, где пути наши разминутись. Каждый, конечно, остался при своем, но распростились друзьями. Я потом очень жалел, что не записал адрес деревни, в которой он собирался арендовать землю.

В Рязани подсел в наш вагон студент Московского университета в красной рубашке и форменном сюртуке, внесший большое опоздание в среду пассажиров. Как только тронулся поезд от Рязани, ко мне уже донесся его голос:

— Мы, студенты-радикалы, стоим за всеобщее обучение. Пока народ неграмотный, Россия не может двигаться по пути прогресса.

— А я так думаю, — неуверенно возразил ему недалеко сидевший от меня благообразный старичок-крестьянин, — зачем мужику грамота, какая от нее польза...

— Как зачем? — накинулся на него студент. — Дворянство, купцы, ховенство защищают свои интересы, должны уметь защищать свои интересы и крестьянин.

— Да, — вставил я, — но у нас нет свободы печати.

— Нет, но программа радикалов ставит одним из первых требований: свобода слова и свобода печати... Научится мужик грамоте добьется и свободы выражать свои мнения.

Сгрудились около нас все пассажиры вагона и обсуждение этики и им подобных тем горячо продолжалось до самой Москвы.

А вот и наша древняя столица, сердце России, так неожиданно оправдавшая свое гордое название в период наших революций. Не думала, гадала ли она, что, хоть на короткое время, станет сердцем и всего мира; и не сердцем феодалов, как Рим, не сердцем мирового буржуазии, как этого достиг Париж, а сердцем всех трудящихся и угнетенных?..

Сбежал в Кремль, взобрался на колокольню Ивана Великого и так увлекся созерцанием развернувшейся передо мной величественной панорамы Москвы, что чуть-чуть не опоздал на свой питерский поезд. В вагоне очутился перед чрезвычайно заинтересовавшей меня личностью. Крестьянин Вятской губернии, окончил местный учительский институт, три года был народным учителем, а теперь состоит студентом второго курса СП. Технологического Института. Я смотрел на него с восторгом, а он, после короткого разговора, отвечал мне холодно-пренебрежительным взглядом. На все вопросы я получал односложные ответы, и всю дорогу мой сосед провел, уткнувшись лицом в свою книгу или подушку. А так хотелось приподнять опущенную им завесу, разузнать подробности для меня совершенно новой и интересной жизни.

В лабиринте петербургского вокзала я запутался и ходил с растерянным видом по анфиладе его комнат. Старик-жандарм молча и строго взял мои вещи, спросил адрес, вывел меня на Знаменскую площадь и усадил на извозчика. Еще в Самаре отец ознакомил меня с планом Петербурга и с дорогой, которую предстояло мне совершить от Николаевского вокзала до квартиры брата. Теперь по оригиналу развертывался передо мной этот план в конкретных образах. Выехали на Невский проспект, показался шпиль адмиралтейства — какая прелесть! Вот Аничкин мост — вспомнил написанное о нем стихотворение, вот дворец наследника — какой жалкий! Вот Александринский театр и публичная библиотека — взглянул на последнюю с уважением, вот гостинный двор, думская башня, показавшийся Казанский собор...

— Налево, — скомандовал я добродушно-насмешливо улыбаясь, шемся мне извозчику, как настоящий питерец.

Брата я дома не застал. Хозяйка квартиры, окинув меня подозрительным взглядом, предложила мне или обождать в коридоре, или зайти в комнату брата и быть запертым в ней до прихода последнего. Я предпочел предложенный мне временный арест. На письменном столе нашел свежий номер «Отечественных Записок» и погружился в чтение, постоянно отвлекаемый доносившимися через открытое окно то звуками шарманки, то возгласами: «халат, халат!»

или «шток-фиш, шток-фиш!». Пришел брат и, освободив меня из-под ареста, повел обедать в кухмистерскую. Осматривали Петербург. Особенно поразили меня красавица Нева и раскинутая по ее берегам масса красивых зданий. Брат пытался охладить мой революционный пыл, доказывая необходимость серьезной научной подготовки для решения сложных социальных вопросов.

Этот учебный год посвящен был мной подготовке к экзамену по программе военных гимназий. Из мира чайковцев сохранилась у меня связь только с Ливановым. Последний пытался революционизировать брата, но тщетно. Как-то Ливанов принес мне для хранения кем-то написанную программу, в которой доказывалось, что если один революционер в течение месяца найдет себе одного последователя, а в следующий месяц они общими усилиями найдут еще двух последователей и т. д., то через пять лет вся Россия пороется революционными кружками, представляющими из себя большую силу. Я спрятал эту программу, брат не возражал, но был недоволен. Через пять минут Ливанов вернулся и прерывающимся голосом потребовал возвращения ему программы, говоря, что в воротах нашего дома он заметил каких-то подозрительных субъектов, они заволновались. Брат доказывал, что из-за такого вздора не стоит рисковать собой. Программа, очень старательно и красиво написанная, была уничтожена.

Ливанов жил в какой-то коммуне, за всю зиму я навестил его на короткое время два раза. Весной я заметил однажды идущего впереди меня Соколовского, совершенно исчезнувшего в минувшую зиму моего горизонта. Я обрадовался и старался догнать его, но Соколовский, заметив мои усилия, значительно ускорил свой шаг. Это дивило и огорчило меня. Причину этого уклонения от встречи я понял только через несколько месяцев.

Наступила весна. Как-то гуляя по набережной Невы, только что свободившейся от ледяных оков, я читал «Голос». В газете было сказано, что сегодня в Исакиевском соборе ректор местной духовной академии произнесет проповедь. Это было для меня ново и любопытно. Я зашел в этот грандиозный храм. Проповедь уже началась, народу было мало, на кафедре стоял старик-священник и с большим воодушевлением и комично, как мне казалось, выкрикивал:

— Сказано: «Накорми ближнего своего», но, ведь, чтобы исполнить эту заповедь, нужно иметь чем накормить его... Сказано: «Приими странного в дом свой», но, ведь, чтобы исполнить этот завет, нужно иметь дом свой...

На следующий день прочел в «Голосе» возмущившую меня записку: «Вчера в Исакиевском соборе ректор местной духовной академии произнес проповедь, выяснив в ней правильную точку зрения на нашу благотворительность».

Наступили экзамены, я сдал их с грехом пополам, получив переэкзаменовку по двум предметам; предметы были для меня легкие,

в удовлетворительной сдаче их я был уверен, а потому находился в радужном настроении, чувствуя себя уже студентом.

Поехали с братом к отцу, в Самару. В первый же день нашего приезда в этот город я на улице встретил Кошкина. Его болезненный вид, сгорбленная фигура, толстый портфель, который он нес, удивили меня.

— Ну, что вы поделяваете? — спросил он.

— Поступаю в Медико-Хирургическую Академию, — восторженно и с гордостью ответил я.

— А... вот и отлично... отлично... А я думаю поступить в Казанский университет. До свиданья.

Я был поражен этой встречей и проводил недоумевающим взглядом удаляющуюся фигуру этого бывшего революционера, так скоро и неожиданно превратившегося, казалось мне, в заурядного чиновника.

Экзамены в гимназии кончились, почти все товарищи по нашему кружку раз'ехались, разыскал одного Осташкина, только что перешедшего в восьмой класс. Он, как и раньше, бегал по урокам и содержал своим трудом многочисленное семейство.

— Тебе вот ладно, — жаловался он мне, — а если я влопаюсь и сяду в тюрьму, то получится целая драма: на кого я оставлю своих стариков и молодых.

Осташкин, а потом и Городецкий познакомили меня с деятельностью кружка за минувшую зиму. Во главе кружка стоял Кошкин, велась пропаганда между мещанами. Распропагандировали, между прочим, одного раскольника, проживавшего в собственном домике с молодой, но не соответствовавшей ему по развитию и характеру женой. В квартире этого раскольника обычно и собирался кружок. Жена раскольника, как очень религиозная, была недовольна чуждой ей компанией, совратившей ее мужа в неверие, и как-то пригрозила:

— Вот донесу на тебя и твоих новых товарищей в полицию, и засадят всех вас в тюрьму.

Дело было серьезное, кружок перестал собираться в квартире раскольника, но жена, ободренная своим первым успехом, не удовлетворилась этим и потребовала от мужа, чтобы он совершенно прекратил свои сношения с кружком и полностью вернулся к ней, своим единоверцам и к их религии. Обстоятельства осложнились, и, казалось, принимали очень опасный оборот. По предложению Кошкина решено было эту вздорную бабу «устранить». Муж, после некоторых колебаний, дал себя убедить в неизбежности этого революционного акта и обещал свое содействие. Кошкин, увлекаемый примером Нечаева, видел в этом акте и другую хорошую сторону: это убийство, по его мнению, должно было сплотить кружок, связав членов его общим участием их в преступлении. Организацию «устранения» взял на себя Кошкин, роль палача — муж

приговоренной. У Кошкина план убийства, надо полагать, был задан еще в тюрьме, когда он, сидя там, критиковал неудачное «странение» Нечаевым студента Иванова. Заманили, мол, в грот, осыпали тело в озеро... Какая наивность. Он, Кошкин, сумел обставить это убийство так, что никто этого факта и не заметил бы... Создавши план, автор, естественно, стремится к его осуществлению. И Кошкин, действительно, «устранил» раскольницу, истинчески спрятав все концы в воду. До сего времени об этом убийстве, кроме членов маленького революционного кружка самары, никто не знал. Я выдаю тайну, полагая, что в интересах истории этот факт не должен быть скрыт и что в умолчании о нем никто данное время не заинтересован; на всякий случай личность упомянутого раскольника, не имеющую особого значения, я по возможности оставил в тени.

Убийство было совершено путем постепенного отравления. Жена раскольника начала хиреть. Дав ей немного оправиться, чтобы смерть казалась естественнее, ввели в ее организм новую порцию яда. Она мучилась. Докторов в раскольничью семью, конечно, не приглашают, а эта это за великий грех. Дня через два после второго приема я в жене зародилось подозрение. Заметив это, муж, по настоянию Кошкина, дал приговоренной яд в таком количестве, что она скончалась в тот же день. Раскольничий поп причастил ее в бессознательном состоянии, похороны совершили в обычном порядке. Если даже у кого-либо возникло подозрение в неестественности смерти, раскольники, по своим религиозным верованиям, ни в коем случае не могли допустить до вскрытия тела. Но подозрений не было, все по шито-крыто.

В одном только ошибся Кошкин. Казнь эта, напугав и морально подавив молодых революционеров, не связала, а скорее распяла их, как жок и временно ослабила их революционный пыл. Больше всех подавлен сам инициатор и организатор этого убийства, не раставший своих сил, — Кошкин, постепенно отошедший с этого момента от революционной деятельности.

В июле я вернулся в Петербург, чтобы на свободе подготовиться предстоящим переэкзаменовкам. Экзамен сошел благополучно, я зачислен в число юнкеров Павловского военного училища. Три дня я пробыл в этом закрытом учебном заведении, обучаясь в нем военному строю, и посетил несколько лекций его преподавателей. Четвертый день мной подано было прошение об увольнении и даже мне соответствующего свидетельства о сдаче мной экзамена по программе курса военных гимназий. Начальство пришло в бешенство, так как своим выходом я нарушал военный строй училища, рассчитанный на определенное число юнкеров. Желая удержать меня, мне заявили, что я могу уйти, но мне не выдают требуемого мной свидетельства. Угроза эта не была исполнена, так как у меня очутились ушках два козыря. Во-первых, одновременно со мной держал такую

же экзамен и с аналогичной целью сын одного из преподавателей этого учебного заведения, которому при мне, что было замечено начальством, в канцелярии уже выдали соответствующее свидетельство, а, во-вторых, брат поехал к генералу, начальнику училища и, разыграв из себя аристократа и важного чиновника, подав этим его превосходительство, доказал, что я, выдержав экзамен, приобрел известные права, которых могу быть лишен не по генеральскому решению, а только по суду. Свидетельство мне выдали Месяца через два, как я узнал из газет, выдача подобных свидетельств на будущее время по высочайшему повелению была воспрещена. Я был последней птичкой из числа молодых людей, проследовавших по этому пути. Заручившись выданным мне свидетельством, я поступил в Медико-Хирургическую Академию, обязавшись одновременно со сдачей экзаменов по предметам первого курса сдать дополнительный экзамен и по латинскому языку.

Слетались наши самарцы. Встретился с Чернышевым, поступившим по свидетельству об окончании им семи классов гимназии в Медико-Хирургическую Академию. Тогда восьмой класс при гимназии только-что открылся и прохождение его считалось обязательным лишь для поступления в университеты, а в остальные высшие учебные заведения принимали всех, перешедших в этот дополнительный класс, не требуя аттестата зрелости. Выпуска «зрелых» в этом году не было, а потому к приему и допускались, по примеру прежних лет, все лишь окончившие семь классов гимназии.

Чернышев принадлежал к дворянам-однодворцам, весьма гордившимся своим званием. Еще до организации нашего кружка Чернышев мне как-то не без горделивости рассказал такой эпизод из жизни своих дворян. По деревенскому базару проходил становой пристав. Все крестьяне почтительно снимали перед ним шапки. А их одиозный дворец, человек большой силы, стоял, одетый в крестьянскую одежду, со своей подводой, смотрел на начальство с независимым видом и, в момент уборки своего не снял. Становой подбежал к нему и, крича: «шапку долой!» — ударил его по лицу. В ответ пристав получил такую пощечину, что свалился с ног. Поднявшись и узнав, что поддался с дворянином, становой извинился и умолял однодворцев забыть это «недоразумение». До четвертого класса Чернышев же при своем старшем брате, мелком чиновнике. Весной 1870 г. брат его умер от чахотки, и Чернышеву пришлось добывать себе средства уроками. В последнее время он зарабатывал довольно много. Младшего брата своего он подготовил и определил в Нижегородскую военную гимназию на казенный счет. Это было сопряжено с расходами, но у него осталось еще немного свободных средств для продолжения своего образования в Петербурге.

Встретил еще Аверкиева, нашего товарища по гимназии, поступившего в этом году в Технологический Институт. Аверкиев, содержатель почтовой станции, хотя и не принадлежал к нашему

кружку, но революционному движению сочувствовал и впоследствии, кажется, в 1876 г., был арестован в Петербурге за устройство на своей квартире небольшой типографии, просуществовавшей очень короткое время. Не знаю даже, успел ли он и если успел, то что именно напечатать в ней.

Я, Чернышев и Аверкиев сняли небольшую комнатку и, поселившись в ней, бегали на лекции по своим вузам. В сентябре мы с Чернышевым решили отыскать нашего бывшего руководителя на революционном пути — Соколовского. Разыскали его, при содействии адресного стола, в маленькой комнатке. На столе лежал коровай черного хлеба.

— Вот моя пища, — рекомендовал нам его Соколовский, — вода и хлеб. Изучаю и преподаю за гроши бухгалтерию. Ищу место бухгалтера. Работал в качестве чернорабочего на заводе, вел пропаганду, но успеха не имел. Думаю, что и вы, если пойдете по тому пути, на который я, еще неопытный мальчик, вас звал, придете к такому же разочарованию, как и я.

Мы пытались восстановить его революционную бодрость, но тщетно. Отмахиваясь от нас, он дал нам записку к своим бывшим товарищам по кружку, филиальному отделению чайковцев, к студентам Технологического Института. Пылину, брату известного писателя, и Чарыкову. Последние объяснили нам причину разочарования Соколовского. Поступили они еще осенью 1872 г. для изучения ремесла и для установления связи с рабочими на петербургские заводы. Соколовский, попав учеником в слесарную мастерскую, не изучал ремесла, не приглядывался к окружающим его рабочим, стараясь наметить среди них подходящие типы, а с места в карьер принялся за пропаганду. Его маленькая возбужденная фигурка с горящими глазами, проповедующая ненависть к буржуазии и призывающая к борьбе с нею, произвела на рабочих комическое впечатление. В самый разгар его проповеди один из рабочих подкрался к нему сзади и сделал ему вселенскую смаз, вымазав ему все лицо сажей, что, конечно, возбудило гомерический хохот всех мастеровых. С этого момента Соколовский стал предметом потехи для своих товарищей. За ним бегали по мастерской, с улюлюканьем гонялись по улице. Первый блин оказался комом, а на второй Соколовского уже не хватало. Оскорбленный в своих святынях чувствах, он разочаровался.

В ноябре 1873 года разыскали нас в Петербурге Городецкий и Фанин-Андреев, поступивший в Технологический Институт. Они угоризировали меня и Чернышева — Аверкиев, заваленный своей институтской работой, отделился от нас — поселиться вместе и учредить коммуну. Сняли мы на Петербургской стороне квартиру, обзавелись самой простой мебелью и кухонной посудой. Уборку комнат и поварские обязанности исполняли по дежурству. Питались подозрительной кониной, привозившейся нам татаринами или покупаемой в лавочке, на дверях которой наряду с вывеской «Продажа конины» красовалась

и другая: «Уборка палого скота». Кобылятина эта с разной приправой варила в большом чугуне и служила главной пищей не только нам, но и многим другим из голодающей молодежи, обычно собиравшейся у нас по вечерам.

Кружок наш увеличивался по своим размерам. Примкнули к нам студенты-медики, орловцы: Курдюмов, Никитин и Трофимов; сын священника Вятской губернии Николай Попов; фабричный конторщик, сын ткача из Иваново-Вознесенска и большой поклонник Белинского — Комов, сестра студента-медика Никольская, впоследствии жена Валерьяна Осинского; слушательница медицинских курсов, жительница Петербурга, уже успевшая побывать в качестве рабочей на фабрике, — Юргенсон; где-то прихваченный Городецким еврей без определенных занятий Вайнштейн и совсем молодая девочка Жукова. Последнюю похитил из-под родительского крылышка ее брат, студент-медик, лаврист. Отец их негодовал, требовал возвращения дочери, грозя вытребовать ее через полицию. Превотвращая этот надвигающийся скандал, Никитин, знавший еще Жукову в Орле и чувствовавший себя прикосновенным к ее соращению на революционный путь, вступил с нею в фиктивный брак. Брак этот весьма оригинальный по своей обстановке — невеста, жених, шафера и свидетели отличались своей молодостью и были в своих обычных нигилистических костюмах — совершился в одной из церквей Царского Села, возбудив любопытство, насмешки и удивление местных жителей.

Квартира наша служила местом сборищ молодежи, велшей бесконечные споры о предстоящей нам деятельности в народе. В числе других бывали здесь и три воспитанника морского училища: Луцкий, Паскевич и еще кто-то. Они много смеялись, когда я сообщил им вышеприведенный эпизод с директором, и пояснили, что легенда об обманном завлечении их на революционный путь и организации ими общества для ловли тюленей, моржей и китов была придумана и внушена им адмиралом, производившим по их делу следствие и желавшим, таким образом, смыть «позорное пятно» с морского училища.

Занятия в вузах были заброшены, мы старались впитать в себя возможно большее количество знаний к весне, когда рассчитывали двинуться в народ для пропаганды. Читали «Анархию» Бакунина, журнал «Вперед», сочинения Чернышевского, Худякова, Флеровского, Лаврова и др. К чтению «Капитала» Маркса никто из нас, однако, не приступая, все были запуганы легендой о чрезвычайной трудности его усвоения. Вели занятия с рабочими, не придавая им особого значения, так как рабочих приходилось обучать, начиная с азбуки и первых правил арифметики. Это отнимало много времени и не давало наглядных результатов. Помню такой случай. Занимался студент с рабочим довольно продолжительное время. Рабочий оказался способным и скоро обучился начаткам грамоты и арифметики.

Студент был в восторге и перешел к обучению его политической экономии, но рабочий запротестовал.

— Зачем, — говорит, — это мне... Вот что грамоте обучили, счету — спасибо. Теперь в городские поступлю. Дядя у меня тут в полиции служит... обещал.

Конечно, это единичный случай, но на молодежь он имел влияние, отталкивая ее от рабочих и направляя в деревню.

Ходили на собрания. Первая сходка, на которую я попал, собралась в квартире студента-технолога Ипполита Головина, дворянина Калужской губернии. Человек сорок собралось в довольно большой зале с тремя окнами, плотно завешенными гардинами. Комната освещалась небольшой лампой, прикрытой темным абажуром. Полумрак. У лампы сидит хозяин квартиры, взявший на себя роль председателя.

— Вот, — говорит он, — при какой таинственной обстановке мы, почти не видя друг друга, вынуждены собраться, рискуя к тому же, что, не взирая на все наши предосторожности, нас каждую минуту могут накрыть жандармы и подвергнуть за это собрание весьма серьезным наказаниям. На этом собрании нам предстоит высказаться по вопросу: надлежит ли нам немедленно идти в народ и, игнорируя опасность, подстерегающую нас на каждом шагу, стремиться организовать и поднять его против правительства, помещиков и буржуазии; или, временно отложив работы по подготовке социально-экономического переворота, кинуть все свои силы на политический фронт: к разрушению гнета, собравшего нас в этой полутемной комнате, гнета, разрушение которого даст нам возможность проповедывать свои убеждения в больших, ярко освещенных залах, в театрах, на площадях и в короткое время, без тяжелых жертв, подготовить народ к социальной революции.

Высказывались разно. Большинство стояло за немедленную подготовку крестьян и рабочих к восстанию. Помню яркую фигуру Перовского, брата известной Софьи Перовской. Выше среднего роста, в ботфортах, в красной косоворотке, подпоясанной ремнем, с румяным, пышущим здоровьем лицом, обрамленным золотистыми кудрями, он, сидя на стуле, конфузясь, неуверенно говорил: «Я думаю, что вся сила в знании. Нам нужно стремиться к возможно большему расширению своего умственного кругозора, а также и окружающих нас людей, помогая в этом друг другу... Это стремление перейдет — и уже переходит — от интеллигенции к рабочим, от рабочих же оно перекинется и к крестьянам... Вот... Этого потока никакая запруда не удержит... А затем, когда эта коалиция сознательных революционеров разрастется, видно будет, жизнь сама укажет, что нам делать дальше».

Для большинства молодежи того времени, собравшейся идти в народ, наша будущая деятельность рисовалась приблизительно в таких формах. По всей России расселяются революционеры, находясь

друг от друга на 20—30 верст и поддерживая между собою сношения непосредственно и через центральные организации в городах. Каждый из этих революционеров старается слиться с народом и организовывать в своем районе все протестующие элементы населения, раз'ясняя им цели организации. Если в одном из районов созревает протест, то таковой должен быть выявлен общими усилиями, при содействии центра и соседних районов. Такие мелкие бунты-протесты заражают окружающие районы, выработают революционный кадр и, постепенно разрастаясь, охватят всю Россию сплошным пожаром.

Сколько на эту подготовку восстания потребуется времени? Вопрос этот решался различно, обычно останавливались на периоде в десять лет. Но, помню, на одном из собраний маленький молодецкий еврейчик Рабинович, исполнивший в кружке Лермонтова ответственную роль контрабандиста по перевозке из-за границы анархической литературы, вскочил на стол и, озаряя нас фанатическим взглядом, с сверкающими в нем вспышками огня, яро доказывал, что через три года в России восторжествует анархия. Бедный юноша, ему было тогда всего 16 лет. Месяцев через пять после этой сходки он был арестован, просидел в тюрьме около четырех лет и, заболев психически, дал откровенные показания. На суде он от этих показаний отказался, а потому, несмотря на свою болезнь и молодость, был сослан в Сибирь на поселение. Презираемый всеми, он вложил там жалкое существование.

Вспоминаю еще собрание на квартире философа-литератора Лесевича, поклонника Лаврова. В обширной зале собралась приличная публика из лавристов, на фоне которой резко выделялась наша небольшая анархическая группа. Велись бесконечные и бесплодные споры между двумя господствовавшими направлениями революционной мысли. Какой-то молодой человек, в изящно облегавшем его стан модном сюртуке, говорил:

— Мы переживаем эпоху, аналогичную с той, которую пережила Франция перед 1789 годом. Революция созревает, этот процесс столь же естествен, как и процесс развития ребенка в материнском организме. Процесс этот нельзя ускорить, он неизбежно завершится в предназначенный для него срок. Интеллигенция не может вмешиваться в процесс назревания революции, как акушер не может ускорить развитие ребенка в утробе его матери. Но вот наступают роды, акушер должен быть готов к этому моменту, жизнь матери и ребенка лежат на его ответственности. В момент рождения революции роль акушера выпадает на долю интеллигенции. Революция совершается малосознательной массой, чувствующей только, что современные формы государства ей уже не по плечу, что они должны быть заменены более справедливыми, более разумными. Но какими именно? Это толпа рисует себе в весьма неопределенных формах. Женщина может родить и без помощи акушера, но толпа родит

революцию, не загубив свое детище, может только при содействии этой интеллигенции. Вот почему я говорю: ввиду нарастания революции, ее приближения, нам все силы нужно направить не к ускорению ее — ускорить ее мы не можем, — а к подготовке себя, чтобы момент ее рождения не застал нас врасплох.

Речь эта возбудила горячие споры. Один из анархистов, используя недочеты аналогии оратора, злобно кричал ему, презрительно глядя на его изящную фигурку:

— А вы думаете, правительство сложит ручки и будет спокойно ожидать, пока ваша баба родит, а вы изучите свое акушерство. Нет! Пока вы будете сидеть над книгами, правительство засучит рукава и, взяв на себя роль акушера, произведет вашей бабе выкидыш, заразив ее всякими болезнями... Акушер!

Споры затянулись до глубокой ночи. Публика стала расходиться. Елена Лесевича наблюдала постепенность расхождения, выпуская из квартиры не более 2-3 человек зараз.

Жизнь в нашей коммуне текла все тем же порядком. Взяли было приходящую стряпуху, но она скоро сбежала, говоря, что от нашей облытины ее тошнит. Из «старых» революционеров нас раза два посетил Сердюков. Я рассказал ему об арестованной в Самаре, в связи с его наездом туда, телеграфистке Ивановой. Это известие, видимо, весьма огорчило его, и я вынужден был доказывать ему его неучастность к этому аресту. К весне за Сердюковым был установлен строгий полицейский надзор, посещения его прекратились. Елена восстановила его репутацию в глазах жандармов и избавила от их скорпионов, чайковцы одели Сердюкова франтом. В этот период я встретил его на Литейном проспекте в очень изящном костюме, с шапо-кляком под мышкой. Он сконфузился и сделал мне знак, чтобы я не здоровался с ним, так как — это я уж сам догадался — за ним следит полиция. Я присмотрелся, но слежки не заметил. Это была наша последняя встреча с ним.

Навещали нашу коммуну саратовцы-медики: Воронцов, Афанасьев, Омонов; члены кружка Цвеленева и оренбуржцы: сын жандармского полковника Голоушев и медичка Лукашевич. Последняя пошла в кружок оренбуржцев случайно: она приехала из Самары, где отец ее служил акцизным надзирателем. Очень удивилась она, узнав, что я, такой замухрышка, сын того важного генерала, о котором ее отец, как о своем начальнике, всегда говорил с большим почтением. Почтение это было вызвано борьбой отца с губернатором Лямовым в период самарского голода.

В Самару летом 1872 или 1873 г., хорошо не помню, приехал американский путешественник-журналист. Аксаков, отец, Мордвинов и другие, входившие в сановно-либеральный кружок, встретили того журналиста очень приветливо, устраивали ему пикники, обеды как ярые сторонники реформ Александра II, рисовали ему последние в самых радужных красках. Американец, вернувшись на родину,

написал статью, в которой, изобразив свое пребывание в Самаре, заявил, что он, совершенно неожиданно для себя, попал в какое-то эльдорадо, фактически превосходящее, по свободе своих учреждений Америку. Эта статья обратила на себя внимание высших сфер. Аксакова вызвали в Петербург и потребовали объяснения. Когда Аксаков подтвердил слова американца, заявив, что он, действительно, придерживается принципа невмешательства в дела земских и городских выборных управлений, его уволили. На место Аксакова был назначен Климов, приехавший в Самару с специальными задачами уничтожения эльдорадо, описанного американским журналистом. Климов, разгромив земство, поехал по губернии, разоренной голодом, и требовал от крестьян немедленной уплаты всех повинностей, продавая при отказе, их последнее имущество с аукциона и подвергая жестоким телесным наказаниям. Отец отправился по следам Климова, составлял, для донесения министру финансов, протоколы о творимых губернатором безобразиях, приводящих крестьян к полному разорению и лишаящих их возможности на будущее время быть аккуратными плательщиками. Возмущенный безобразиями Климова, отец описывал их брату, а брат, не имея на то разрешения, составил по его письмам корреспонденцию и печатал их в «Голосе». Отец рассердился за такое использование своих писем, но, как человек прямой, не пожелал в борьбе своей с Климовым, в борьбе «за интересы крестьян» прибегать к окольным путям, прятаться за чужую спину, и послал в вышеназванную газету корреспонденцию непосредственно от себя. Корреспонденция эта была перехвачена. Министр вн. дел потребовал увольнения отца, но отец был на очень хорошем счету в своем министерстве и имел влиятельных друзей. Из Самары его удалили, но, выждав успокоения страстей, назначили на высшую должность, членом совета министра финансов.

Отец переехал в Петербург и, устроившись здесь, потребовал моего возвращения в лоно семьи. Я этого распоряжения не исполнил, не исполнил и другого его приказа. В 1874 г. был первый призыв на основе всеобщей воинской повинности. Еще в феврале полиция отобрала от меня, как родившегося в 1853 г., подписку в том, что я в первом июня запишусь в призывном участке. Отец, задержав уплату моего содержания, требовал от меня немедленного исполнения этого распоряжения полиции. Но наступала весна, мы собирались к походу в народ, мы смотрели на себя как на солдат грядущей революции, принципиально не хотели поступать в ряды императорской армии, что было связано с принесением унижительной для нас присяги на верную службу царю.

Если не ошибаюсь, то, кажется, в феврале был арестован в Петербурге Низовкин. Это был студент старших курсов Мед.-Хир. Академии, отличавшийся большой энергией и хорошими организаторскими способностями. Он примыкал к чайковцам, но последние, усмотрев его нравственную неустойчивость и ненормально развитую

в нем самолюбие, отстранили его от себя. Низовкин оскорбился и решил самостоятельно вести пропаганду среди рабочих, отвлекая их от кружка чайковцев. Рабочим он говорил, что они должны самостоятельно вести пропаганду среди своих товарищей, не допуская в свою среду интеллигентов, подводящих их своей внешностью и неумелостью под удары жандармов. Эта мысль легко была воспринята рабочими, как соответствовавшая жизненным фактам и их настроению. Они говорили: «из всех интеллигентов мы признаем лишь Низовкина». Сношения с этими рабочими из нашего кружка имел только Чернышев, ведший с ними иногда беседу, распивая чай в трактирах. Многие из этих рабочих были арестованы одновременно с Низовкиным, который, попав в тюрьму, скоро сдался на убеждения жандармов и дал откровенные показания. Это печальное обстоятельство поразило и поколебало устойчивость арестованных по данному делу рабочих. Из последних некоторые не только дали откровенные показания, но и согласились вступить в число провокаторов. Рабочих этой последней категории, а также их приятелей, должностовавших бессознательно замаскировать предательство своих друзей, выпустили, и они, приступая к выполнению своих позорных обязанностей и разыскивая Чернышева, стали появляться в нашей коммуне. Из этих предателей помню только двух: Медведева, открывшего впоследствии сапожную мастерскую на Петербургской стороне, на Б. Дворянской улице, и слесаря Белова или Кондратьева, хорошо не помню. Медведев, самый ловкий из этих предателей, снабжал нас адресами рабочих. Мне он дал адрес Сестрорецк к какому-то кузнецу, работавшему на местном ружейном заводе и имевшему, по его словам, целый кружок распропагандированных им рабочих.

В Сестрорецк я решил идти пешком, чтобы испытать свои силы в предстоящим деревенским путешествиям. Тесные сапоги жали отчаянно, я еле брел. Хотел переночевать в придорожном трактире, но хозяин потребовал паспорт, а я никакого документа при себе не имел. В Сестрорецк пришел поздно вечером, рабочие группировались уже только около трактира; они уверяли меня, что кузница, указанного мне Медведевым, на заводе нет и никогда не было. Я растерялся и не знал, что делать. Один из кузнецов вошел в мое положение и «по-товарищески» предложил мне ночлег в своем доме.

— Мы здесь, — говорил он, — все местные жители, живем хозяйством, сторонних рабочих у нас мало, всех их знаем наперечет. Переночевав в парадной комнате хозяев с мягким диваном, небольшим привесным зеркалом, образами и царскими портретами, я рано утром распрощался с гостеприимными хозяевами и ушел на вокзал. В 30—40 минут паровоз легко пробежал так накануне измучившее меня расстояние и доставил в Петербург совершенно бодрым. Доверие упомянутому рабочим было подорвано. Медведев куда-то скрылся, посещал нас один Белов-Кондратьев.

Чернышев достал себе урок в семействе какого-то кавалергардского офицера. После пятого-шестого урока офицер пригласил Чернышева распить с ним бутылку вина и пустился в откровенности. Он объяснил, что жалование получает недостаточное, положение же в кавалергардском полку обязывает к крупным расходам, что ему как человеку семейному и не имеющему особых средств, непосильно, а потому он предполагает перейти в жандармы, в III отделение. Но для этого перехода, говорил он, необходимо проявить свою способность к новым функциям, и он надеется, что Чернышев ему поможет в этом, дав некоторые сведения—конечно, за особое и весьма приличное вознаграждение,—о деятельности революционных организаций среди студенчества. Чернышев был поставлен в большое затруднение. Резко отказаться от сделанного ему предложения он не хотел, опасаясь возбудить в этом будущем жандарме подозрение в своей политической благонадежности; он уклонился, сославшись на недостаток времени в связи с предстоящими экзаменами. Уклонился неудачно, офицер заметил его смущение, рассердился и в уроке ему отказал.

Весна властной рукой стучалась в окна наших жилищ, призывая к переходу от слов к делу. Рассыпанные по Петербургу революционные кружки были между собой мало связаны, члены их встречались только на сходках, ведя бесконечные программные споры. За организацию этих кружков взялись чайковцы, дермонтовцы и специально приехавший с этой целью в Петербург Ковалик. На квартире дермонтовцев, из которых я знал только Лешеря и Рабиновича, были собраны представители всех петербургских кружков. От нашего кружка на этой сходке присутствовали: Курдюмов, Никитин и я. Всего было человек двадцать пять. Вопрос был поставлен так: все мы стремимся идти в народ, но программы предстоящей нам деятельности у нас разные. Нельзя сказать, что программы наши имеют под собой твердый фундамент, так как о народе и обстановке, при которой нам придется действовать, мы имеем еще довольно смутное представление. Не будем спорить, споров было достаточно. Организуемся в том виде, в каком мы существуем, не нарушая цельности наших кружков. Осенью, когда вновь соберемся в Петербурге, мы умудренные опытом, попытаемся сблизиться теснее и выработать одну общую программу, которую продиктует нам жизнь. А пока, на предстоящее лето, для поддержания связи и взаимной помощи между кружками, пусть каждый из них изберет своего представителя, который, оставаясь в Петербурге, будет вести сношения со своими товарищами и выручать их в трудных обстоятельствах. Эти представители кружков будут регулярно собираться и, насколько представится к тому возможность, оказывать взаимную помощь и направлять деятельность всей организации к одной общей цели.

Это было принято. На собрании поднимались и более мелкие вопросы. Кто-то, например, спросил:

— Сколько каждый из нас, отправляющихся в народ, должен иметь при себе денег.

Артамонов возразил:

— Мы идем в народ, чтобы слиться и работать с ним... Зачем же нам деньги?

Это возражение мне показалось наивным, и я с большой энергией, соответствовавшей важности вопроса, — это было за всю зиму первое мое выступление на большом собрании, — сказал:

— Мы идем в народ не для того, чтобы работать с ним, — это только для удобства, — а в целях пропаганды социалистических идей. Каждый из нас может попасть в опасное положение — для этого он должен иметь деньги.

Когда долго молчавший молодой человек вдруг поднимает голову и загоревшимися глазами бросает мысль, хотя самую простую, в данном случае, но отвечающую настроению присутствующих, — он производит впечатление. С этого момента вожаки наши, по инициативе, кажется, Ковалика, признали меня за юношу, подающего надежды; дермонтовцы и чайковцы, ранее не замечавшие моего отсутствия, стали делать попытки приближения меня к своим организациям.

IV. В НАРОД!

Народ мы знали только по его истории. Этот народ, управляемый, как мы рисовали себе, своим вечно, менявшийся наемных князей-военачальников, как перчатки, дал наложить на себя лишь под игом татар. Освободившись от иноплемennого владычества, народ неуклонно рвал свои цепи и за последние столетия неоднократно пытался стряхнуть насевших на него эксплуататоров. Этим народ внушал нам к себе доверие, любовь, перед этим народом мы готовы были преклониться. Сто лет отделяло Разина от Пугачева, такой же период времени отделял нас от последнего грандиозного народного восстания. Это казалось нам знаменательным. Основание крестьян всколыхнуло народ, свое неудовольствие грабительскими условиями дарованной воли, доведшими его до нищеты, голода, он выразил рядом бунтов. И нам казалось, мы имеем право сказать: настал час, нужно организовать народ, помочь ему сбросить свои оковы — царей, помещиков, буржуазию.

Рабочие в своей массе были еще дики, не были настроены революционно, к ним можно было подходить, предварительно подготовив к этому, научив их грамоте — только с пропагандой. Деревенский парень, попадая на фабрику или на завод, чувствовал даже некоторую благодарность к своим хозяевам, около которых «кормился столько народу». В городе рабочие чувствовали себя как в лесу, они не разбирались в сложных процессах предприятия и механически выполняли лишь нехитрую, порученную им работу, за производ которой получали жалованье. Недоразумения с хозяевами у них возникали иногда только из-за разных прижимок, но, когда говорили рабочим, что эти фабрики и заводы созданы их трудом, они могут, имеют право взять их в свои руки, им эта мысль казалась дикой, они не чувствовали себя способными на это, смотрели на нас, как на сумасшедших людей или подозревали нас в корыстных целях.

Совершенно другая психология была у крестьян. Крестьяне прекращали охватывали все сельско-хозяйственное производство того времени, в его целом и отлично сознавали, что они могут обойтись и без помещиков, совершенно несправедливо забирающих себе льви-

ую их труда. Доказывать им это не приходилось, они уже были настроены революционно, и, казалось, нуждались только в агитации и организации. Понятно, что при таких условиях мы направляли всю революционную деятельность в деревню.

Это было неправильно, но мы не понимали тогда, что только фабрично-заводский пролетариат кровно связан с социализмом и способен видеть в нем единственный путь к освобождению от эксплуатации своего труда.

По существу громадное большинство революционеров 70-х годов какой ясной программы не имело. Нами двигал не ум, а чувство. Мы играли лишь служебную роль, как это верно для своей эпохи. Мы держали один из революционеров того времени — Каблиц. Эту роль он бессознательно взял из наблюдений над современной ему революционной жизнью, двигающую пружину, которой так ярко описал Некрасов:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагривших руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Но мы были слепы, ясно не представляли себе, куда и как приведет нас этот стан.

С половины апреля члены революционных кружков уже двинулись в народ. Наш кружок почти целиком направился в Самарскую губернию, особенно привлекавшую молодежь, как только что перенесшую войну и революционизированную безобразной административной деятельностью губернатора Климova. Только Комов поехал в Тверскую губернию и поступил там на фабрику, Юргенсон, несколько державшаяся, направилась в Пензенскую губернию, в одно из уездов Войнаральского, да Николай Попов, Трофимов и Вайнштейн — в одну. Я был избран своими товарищами в центральный кружок, который, как было сказано в предыдущей главе, должен был, оставшись в Петербурге, объединять деятельность кружков и направлять революционное стремление к единой цели. К маю в Петербурге нашего кружка оставались только я и Юргенсон.

Очень часто нас посещал рабочий Белов-Кондратьев, имевший довольно мрачный вид и ведший себя весьма подозрительно. Пыпин, боясь меня, что Белов-Кондратьев предатель, предлагал его отравить принесенным им, Пыпиным, ядом. Но я отказался от выполнения этого убийства: не было ясных доказательств, что упомянутый рабочий состоит на службе в III отделении, убийство было еще чуждо для идеальной настроенной души и оно могло повлечь за собой только мой арест, но и разгром всего нашего кружка, на деятельность которого мы возлагали большие надежды.

Функции нашей центральной организации оказались лишены всякой жизненности. Кружки работали на местах, не справляясь с мнением своих представителей, не давая им отчета, и очень редко обращались к их помощи. За все время краткого существования этой организации из моих товарищей ко мне обратился за помощью только Комов, просивший выслать ему на фабрику несколько денег, что и было мною исполнено из моих личных средств. Кас у центрального кружка не было. Мы чувствовали себя не у дел, рвались к непосредственной деятельности в народе. В конце концов решено было кружок ликвидировать, передав все функции одному из членов его — Ободовской, незадолго перед тем выпущенной из Петропавловской крепости и состоявшей в нашей центральной организации представительницей от кружка чайковцев.

Освободившись от обязанностей члена центрального кружка, решил было присоединиться к своим товарищам, работавшим в Самарской губ., но Ободовская уговорила меня ехать в Пошехонский уезд, Ярославской губернии.

К чайковцам примыкал студент С.-П. Техн. Инст. Эндауров. Старший брат этого студента был выделен своим отцом, богатым землевладельцем, и самостоятельно владел помещением в Пошехонском уезде. Имение было маленькое, но хорошо устроенное: старинный дворянский дом, тенистый сад, водяная мельница, небольшой паровой завод, изготовлявший на округу веялки и более простые сельскохозяйственные орудия; кузница, небольшое стадо породистых коров и артельная сыроварня, перерабатывавшая молоко не только эндауровского стада, но и коров соседних крестьян.

В этом имении мне предложили занять место мельника. На мое возражение, что я совершенно не знаком с предлагаемой мне работой, Ободовская ответила:

— Пустяки, дело не сложное, справитесь, а место очень удобно для сношений с крестьянами; упускать его не следует.

Я дал себя убедить этими доводами. Ни к какому физическому труду я не был подготовлен. Очень немногие из собиравшихся в начале в 1874 г. изучили какое-либо ремесло. Я сделал было попытку подготовиться на фельдшера, но получился целый скандал. Дали мне адрес либерала-доктора, служившего при С.-Петербургской Губ. Думе. Пришел к нему на службу и просил доложить ему о себе, но о кандидате на фельдшерскую должность. Вышел ко мне в переднюю врач высокого роста, оглядел меня барски-скужающим взглядом. Этот прием меня возмутил. Я сверкнул гневно глазами на этого «барина» и гордо выпалил: «Студент Медико-Хирург. Акад.». Важность в докторе моментально пропала, он засуетился и говорил: «вы так бы и сказали, так бы и сказали», потащил меня в свой кабинет и стал расспрашивать, что заставляет меня искать должность фельдшера, столь плохо оплачиваемую. Я, не желая посвящать его в свои планы, сослался на недостаток средств.

— Это пустяки, — возразил он, — это можно устроить, дав вам, например, какое-нибудь другое, подходящее для вас место, которое не мешало бы вам продолжать свои занятия в Академии.

Он потащил меня к какому-то более важному лицу, и они совместно принялись меня отговаривать отказаться от намеченного плана, карьеры фельдшера. Я еле от них вырвался, сказав, что обдумую их предложение и зайду к ним денюшка через два. Больше я к ним не показывался, но эти добрые люди, принявшие во мне такое горячее участие, не оставили меня: подняли на ноги некоторых профессоров Академии, хлопотали о назначении мне стипендии из городских сумм, и я угомонил их энергией лишь заявлением, что материальные условия мои изменились к лучшему, что на будущий год я поступаю в Технол. Институт, так как к медицине у меня расположения нет.

Стал готовиться к отъезду. К отцу я идти не хотел, а денег не было. Проводил часы. Пошел на Сенной рынок, купил себе зипун, картуз, кушак, две пары белья и прочие принадлежности крестьянского туалета. Прошел на квартиру дерматовцев, где Рабинович в несколько минут изготовил мне трехмесячный крестьянский паспорт, приложил к нему печать какого-то волостного правления Пензенской губернии.

Образцы печати и паспортные бланки были получены через Войсковую канцелярию. На первых порах большое затруднение встречалось при изготовлении печатей, но как-то в «Голосе» в отделе происшествий была помещена заметка: «при обыске в доме Вяземского — знаменитый притон того времени на Сенной площади — обнаружена фабрика фальшивых паспортов и целая серия печатей, искусно вырезанных на грифельной доске». Это было целым открытием для нашей небесной канцелярии, быстро научившейся вырезать при помощи простой иголки всевозможные печати на кусках упомянутого материала.

Вернувшись домой, я собрал все свое имущество из интеллигентского обихода, которое, как мне казалось, с момента перехода моего на крестьянское положение, уже утратило для меня всякое значение. Все это имущество я продал за 50 рублей татарину, с большим удовлетворением запаковавшего это интеллигентское барахло в свой обьемистый тюк.

Корабли, таким образом, были сожжены, я приготовился к отъезду. Из предметов интеллигентского обихода я оставил себе лишь фунт хорошего табаку, только что привезенного мне Луцким из Екатеринослава, куда он, уже произведенный в гардемарины, ездил на побывку к отцу, занимавшему там место вице-губернатора. Сохраняя этот табак, я оправдывал себя тем, что и Рахметов, спавший на досках, не отказывал себе в хороших сигарах.

Только по уходе татарина, я сообразил, что, продав все свои интеллигентские костюмы, я этим наложил на себя домашний арест.

Юргенсон, которую я не успел предупредить о своем скоропалительном отъезде, ушла к своим и, вероятно, там ночует. Выйти из квартиры в крестьянском костюме я не мог: против нашего дома торчал городской, относительно которого наш домовладелец, бывший студент-медик, предупреждал нас, что по отбытии своего дежурства он часто переряжается в штатское платье и следит за студентами. Этот городской, знавший меня в лицо, заметив мое превращение в крестьянина, мог сделать донос или взять мою особу под свой строгий надзор. У меня же не было ничего съедобного, а аппетит был волчий. Выручил пришедший ко мне Кондратьев-Белов. Костюм мой без верхних одеяний не внушал ему никаких подозрений, так как дома я обычно ходил в русской косоворотке. Шел дождь. Я, командировав Кондратьева-Белова за колбасой и хлебом, поставил самовар. Мы напились с ним чаю и закусили.

Кондратьев-Белов подозрительно-подробно расспрашивал меня о моих товарищах, а я думал, правильно ли я поступил, отказавшись от уничтожения этой гадины.

Яд, принесенный мне Пыпиным, еще находился у меня; он состоял из пластинки, напоминавшей слав смолы с сургучом, и пузырька с жидкостью. Химического состава этих снадобий я не знал. Если говорил Пыпин, облить пластинку жидкостью из пузырька, то получится газ, который, попав в легкие, хотя бы в минимальном количестве, непременно отправит человека к праотцам. Смерть, как полагал Пыпин, можно объяснить случайностью.

План отравления Кондратьева-Белова у меня уже был составлен. Не предвещая еще, доведу ли я этот план до конца, я приступил к его выполнению. Я спросил Кондратьева-Белова, знаком ли он с химией. Получив отрицательный ответ, я продолжал:

— Ознакомление с химией несколько напоминает изучение грамматики. Неграмотный человек не подозревает, что все слова, им произносимые, и которые он слышит от других, составляются из небольшого числа звуков, из различных комбинаций их. Человек, незнакомый с химией, также не подозревает, что сам он и все окружающие его предметы, состоят, как и их имена, из немногих основных элементов и весьма разнообразных соединений их. Как слово «баба» состоит из двух звуков, так и вода, например, составляется из соединения двух газов: кислорода и водорода. Если смесь этих газов поджечь, то получится взрыв и образуется вода.

Я долго говорил на эту тему, Кондратьев-Белов внимательно слушал меня. Эта внимательность его умерила мой гнев, будила сомнения. И я не мог закончить своего плана: предложить Кондратьеву-Белову облить из пузырька вышеозначенную пластинку, уверив его, что при этом эти два тела разложатся на свои составные части и образуют ароматный газ.

Я оборвал свою речь и, сославшись на предстоящие экзамены, выпроводил Кондратьева-Белова из квартиры.

После его ухода я долго не мог успокоиться и, шагая по комнате, перешагивая вопрос: сдрейфил я или поступил правильно. Последствия убийства мне рисовались в двух картинах.

Или я должен был бежать за доктором, дать знать в полицию и, смотря на жандармов невинно-удивленным взглядом — как это казалось униженным! — уверять их, что я не знал о нахождении Кондратьева-Белова на их службе; но как в этом случае объяснить личность у меня в квартире названных ядовитых веществ: где я их взял, для какой цели я, не имея у себя даже химической лаборатории, хранил эти два вещества.

Или, спрятав труп, утром бежать в своем крестьянском костюме, предоставив Юргенсон расхлебывать заваренную мной кашу?

В обоих случаях, рисовал я себе, жандармы направили бы свои пальцы к Самаре и захватили бы собравшийся там почти весь наш революционный кружок.

И мог ли я, наконец, с уверенностью сказать, что Кондратьев-Белов, так внимательно слушавший меня, состоит агентом III отделения?

Успокоив себя этими мыслями, я лег спать. Встал рано. Нарядившись в свой крестьянский костюм, я взял с собой кيسет с табаком, трубкой, небольшой тючок с подпольно-народными книжками, завернутыми в запасную пару крестьянского белья, и незаметно вышел в ворота.

На Николаевском вокзале я взял билет до Рыбинска. Из этого путешествия по железной дороге у меня сохранился в памяти только один курьезный эпизод. В то время вагоны III класса, обычно, делились на два разряда: вагоны для интеллигенции и вагоны для рабочих и крестьян. Я попал в вагон, предназначенный для «чистой публики». Пассажиры, глядя на мой крестьянский костюм, были недовольны опущенным мной нарушением общего правила и сторонились от меня, опасаясь, вероятно, что я напущу на них целую свору всевозможных насекомых. На первых порах я не заметил этого враждебного отношения к себе, не понял его. Но, спустя некоторое время, не захотелось покурить. Опасаясь, что пассажирам бросится в глаза несоответствие моего хорошего табака с моим простым костюмом, постарался скрыть содержание своего кисета и трубки. Пассажиры словно наблюдали за мной, и как только трубка моя задымилась, они подняли гвалт.

— Кондуктор, кондуктор, — кричали они, — скажите этому мужику, чтоб он не вонял тут махоркой.

Кондуктор подошел ко мне и, строго смотря на меня, сказал:

— Здесь нельзя курить махорку... И как не стыдно: едешь из Петербурга и махорку куришь.

Я легко мог опровергнуть возведенную на меня клевету, но из соображений, по неопытности, значительно преувеличенной, предпочел молча перенести замечание и затушил свою

трубку. Мне даже понравилось, что меня приняли за настоящего крестьянина.

В Рыбинске я пересел на пароход, шедший вверх по Шексне. Здесь подверг меня строгому допросу какого-то кулацкого вида старика-крестьянина. Когда он услышал, что я еду арендовать мельницу, он удивленно протянул:

— Мельницу? — и подозрительно осмотрел меня с ног до головы.

— Да, — подтвердил я. — Отец мой мельник, и я по нем.

— Где ж у отца мельница?

— В Пензенской губернии...

— Так... И там вы узнали, что здесь сдается мельница?

— Узнали... Теперь по железной дороге слух далеко бежит.

— Так... так... — заключил наш разговор неумолимый скептик резко отвернулся от меня.

Скоро показалась пристань, до которой был взят у меня билет. Вдоль берега тянулась деревушка. По данному мне наставлению должен был отыскать здесь крестьянина, обычно отвозившего пассажиров в имение Эндаурова, отстоявшее от этой деревни в верстах тридцати. Но мне показалось более интересным и конспиративным пройти это расстояние пешком. Минув деревню, я вышел на большую дорогу. Болшак был обсажен с обеих сторон в два ряда березами; еще по указу Екатерины II. Березки эти красиво обрамляли дорогу и манили в даль.

У самого большака я заметил небольшую кузницу и зашел в нее. Два парня изготавливали гвозди: брали с горна длинный железный прут, отрезали с раскаленного конца кусок в два вершка длиной, ставили прут обратно в горн, а в отрезанной части ударами молота заостряли один конец и набивали шляпку на другом. Процесс этого труда шел быстро и однообразно. Приход мой не нарушил их монотонную работу. Я предложил им покурить.

— Где это ты такой хороший табак взял?

— В Питере.

— Вот как. Еще и хороший табак оттуда несешь... А у нас обычно, если туда идет человек, то гордо отвечает: «В Питере табак, а обратно-то от него, оборванного и босого, не только хороший табак, но и махаркой не разживешься, и отвечает так жалостливо: «Из П—и—т—е—р—а».

Я справился у кузнецов о дороге к Эндаурову, но они никаких указаний дать не могли.

— Ты в Пошехонье пойдешь, там скажут.

— А много ли здесь верст до Пошехонья?

— Верст 50.

Зная, что усадьба Эндаурова находится от Пошехонья в 30-ти верстах, как и отсюда, я мысленно построил равнобедренный треугольник и решил, что проживает Эндауров недалеко от большой дороги, и что, идя по ней, я легко доберусь до его местожительства.

— А как тут в Пошехонье пройти: налево отсюда повернуть или направо?

Парни удивленно насмешливо переглянулись между собой и один из них сказал:

— Направо.

По карте, насколько я припоминал, следовало повернуть налево... Решение грызло меня, но я все же пошел в указанном мне направлении. Пройдя полверсты, я остановился, поджидая нагонявшую меня крестьянку и справился у ней, правильно ли взято мною направление на Пошехонье. Она так и выпучила на меня глаза:

— Что ты, ошалел, что ли? Назад иди.

Вернулся в кузницу и по сконфуженному виду парней окончательно убедился, что они надо мной подшутили. Не упрекнув их, я угостил табакком и расспросил об условиях их труда. Размер заработка, теперь точно не помню, порастил меня своей мизерностью. Хотел оставить им несколько брошюр из своего небольшого паса, но подумал: изведут на цыгарки. Простившись с кузнецами, пошел дальше, взяв на этот раз правильное направление.

Дорога вылась из деревни в деревню, отстоящие друг от друга на 1-3 версты. Деревушки были все маленькие и лишь изредка вычленившись по пыльной улице. Я невольно улыбнулся, вежливо кивая звонили ко всенощной. Народ шел к церковной службе. Меня поразило, что среди обычно одетых крестьян попадались много лиц в городских костюмах. Особенно поразила одна пара: старик, одетый в ливрею швейцара, обшитую ярким золотым галуном, вел за ручку даму, одетую в красное шелковое платье со шлейфом, вычленившимся по пыльной улице. Я невольно улыбнулся, вежливо тупил дорогу этой почтенной парочке, проплывшей мимо меня с пыльным гонором.

Выйдя из этого села, подумал о ночлеге. Сапоги... Все те же сапоги, которые причинили мне столько мучений при путешествии моем в Сестрорецк, жали в подеме невыносимо. Думал, что они разнесутся; при рождении по Петербургу казалось, что на это можно рассчитывать; но здесь, когда приходилось делать по несколько десятков верст в день, эта надежда не оправдалась.

Около дороги я скоро заметил небольшой хуторок. Такие придорожные хуторки, как мне было известно по литературе, всегда отличаются гостеприимством по отношению к бродячему люду. Бродячий проходит много, ссориться с ними не следует, отомстить. Попрося на ночлег, и получил согласие. Хозяйка со своими рабочими обирались ужинать. Меня, молча, ни о чем не спрашивая, пригласили сесть за обеденный стол.

— А у тебя хлеб есть?

Получив отрицательный ответ, хозяйка подала мне ложку и ложку хлеба. Я великолепно удовлетворил свой аппетит. После ужина мне указали место для сна в углу избы и окружили целые

массы спавших рабочих. Все это делалось молча, как нечто привычное. Я заснул богатырским сном.

Утром проснулся рано, но рабочих уже не было. Надел на себя сапоги, взял узелок с книгами, служивший мне подушкой, и поблагодарил хозяйку за гостеприимство.

— С богом, — лаконически ответила она мне.

Опять большая дорога. Только что взошло солнце, отражавшееся в росе на свесившихся листьях придорожных берез. Минул несколько деревушек. Впереди послышался звон колокольчика. Какая-то подозрительная фигура, идущая мне навстречу и пытавшаяся спрятать свое лицо, юркнула в кусты. Впереди показалась кибитка, запряженная парой лошадей, а в ней становой пристав. Высоко подняв крестьянскому обычаю шапку, я поклонился ему, встретил скучающий взгляд и получил в ответ легкий кивок головой.

Вошел в большое село. В центре его помещалась церковь и двухэтажный дом с красовавшейся на нем вывеской: «трактир». Зашел спросил пару чая, яиц и хлеба. Трактирщик с недоверием выслушал рассказ о предстоящей мне аренде водяной мельницы и заявил, что где находится усадьба Эндаурова, он не знает.

Побрел дальше, снял сапоги, невыносимо жавшие ногу, но и без них, по непривычке, идти было трудно. Встретил какого-то кулака, кажется, того самого, у которого ночевал в предыдущую ночь. Он беспомощно сидел на своей подводке и, словно заговоренный, с невыразимым ужасом смотрел на меня. Казалось: он ждет, что я вот-вот пырну его ножом.

— Доброго здоровья, — сказал я ему, желая его ободрить. Он ответил мне и, только отъехав несколько шагов, погнав свою рослую сильную лошадь.

Для следующей ночевки я избрал маленькую избушку, что стояла на краю села. Постучал, вышла старушка маленькая, сгорбленная, одетая очень неопрятно.

— Не пустите ли переночевать?

Старушка оглядела меня с ног до головы, поколебалась, но потом, что-то сообразив, пригласила меня зайти в хату. Вытащив из темного угла своей единственной комнатки несколько рваных полушубков, она смастерила из них мягкую постель и предложила.

— Ложись, касатик, небось устал с дороги-то.

Поблагодарив ее, я лег. Был уже вечер, сквозь маленькие оконные щели пробивался свет. Но и при этом освещении я заметил, что поставленные мне полушубки так и кишат пешей армией. Я хотел было вскочить, но подумал: «назвавшись груздем, полезай в кузов», и равно — этого не избежишь. Хотел заснуть, но страшный зуд по всему телу отгонял сон. С этой подстилки, напоминавшей ложу Рахметова, меня поднял хозяин дома.

В избу вошел высокого роста крестьянин с лицом, выражавшим благородство, сильный характер и энергию. Метнув взглядом на мою

сторону и строго посмотрев на свою мать, вздувавшую каганец, он обратился ко мне:

— Вставай, тут непригоже лежать... Садись за стол, закусим, чем бог послал.

Говоря это, он гневно поглядывал на старушку, беспомощно теряющуюся под его взглядом. Ему, вероятно, давно был известен коварный план его матери: избавиться от одолевших ее насекомых путем передачи последних прохожему молодцу. Приведение этого плана к исполнению, как я это себе потом объяснил, его возмутило.

Крестьянин насыпал на деревянную тарелку муки, налил в середину конопляного масла, посолил и, тщательно размешав эту смесь, предложил мне разделить с ним трапезу.

— Ну, теперь пойдем спать на чердак, тут душно.

На чердаке было послано душистое сено, я с удовольствием раскинулся на нем. Пытался заговорить с интересным человеком, лежавшим рядом со мной, но он ответил мне одним повелительным словом:

— Спи!

Усталость и чистый воздух, так приятно обвевавший меня, погрузили меня в сон, хотя насекомые, ползавшие по всему телу, мешали этому. От этих насекомых, с которыми не умел бороться, я избавился только через полтора года.

Когда я встал, крестьянина уже не было. Собрав свои пожитки, двинулся дальше. Всю дорогу, где только мог, я расспрашивал об усадьбе Эндаурова, но никто мне никаких указаний дать не мог. Среди этого лабиринта деревушек, хуторов, сел и усадеб трудно было ориентироваться, невозможно было запомнить названия всех окружающих населенных мест. При таких обстоятельствах я опасался свернуть с большой дороги. Ведь я был в Пошехонии, среди знаменитых пошехонцев, зоблудившихся в трех соснах. Я боялся повторить пример этих легендарных простодушных мужичков.

До Пошехонья оставалось около десяти верст. Я прошел это расстояние на голодный желудок. Скоро показался этот знаменитый городок, напоминавший большое село, отличаясь от последнего лишь башней и пожарной каланчой, резко выдвигавшейся из среды окружающих ее одноэтажных деревянных зданий.

Когда я проходил мимо полицейского управления, городской окликнул меня внимательным взглядом и как бы узнал меня. Это меня поразило.

— Уж не разболтал ли, подумал я, обо мне этому полицейскому тот кулачок, что дал мне ночлег, а потом так перепугался при встрече со мной на большой дороге. И меня ли он испугался. Может быть ужаснулся тогда своего предательства, своего греха, в котором придется дать отчет на последнем праведном страшном суде.

Я зашел на постоялый двор. Хозяйка угостила меня обедом и чаем. Пришел городской. Потребовал от меня документ и расспросил,

куда и зачем я иду. Я, наученный опытом, не повторил ему рассказа о предстоящей мне аренде водяной мельницы, уже возбуждавшего недоверие во многих моих слушателях, а дал неопределенный ответ:

— Иду к помещику Эндаурову, на работу зовут.

— К какому Эндаурову, — задал ехидный вопрос полицейский.

— К Николаю Меркуловичу.

Этот точный ответ удовлетворил городского, и обеспокоенного было хозяйка, повеселев, сказала:

— Как же ты, голубчик, до Николая Меркуловича дойдешь. Дорога длинная, путанная... Разве что, Иван доведет... Иван-то здесь еще? — спросила она городского.

— Здесь, — ответил полицейский чин.

— Ну, ты пей чай на здоровье, а я побегу, захвачу Ивана.

Хозяйка и городской исчезли, я поздравил себя с успехом, хотя ноги, сжатые, как в тисках, заявляли сильный протест против предстоящего шествия. Но выхода не было. Нельзя было упустить такого редкого случая к отысканию этой, как бы заколдованной усадьбы Эндаурова в лутанном лабиринте Пошехонского царства.

Через час мы уже шагали с Иваном по хорошо известной дороге. Иван жил всего в одной версте от Николая Меркуловича. Имея родственников в Пошехонье, он часто наведывался в этот родок, совершая путь туда и обратно в один день. Шли мы по дороге, по тропинкам, полем, лесом, переправлялись по жердочке через ручейки, перелезали через плетни, шли между грядками капусты и других огородных прелестей.

— Тут напрямик и двадцати пяти верст не будет, — утешал меня Иван.

На пути зашли в кабачок, выпили по шкалику и двинулись дальше. Я хотел выпить молока с черным хлебом, но Иван закрутил носом:

— Есть когда тут с этим возиться.

Солнце уже закатилось, мы проходили по деревушке, раскинувшейся на холме.

— А вот тебе и Эндауров, — указал мне Иван на развернувшийся перед нами красивый ландшафт: белый помещичий дом, тенистый сад, за ним служилые постройки, деревянный заводик с железными трубой.

— Переночуй у свата, а завтра пойдешь к Николаю Меркуловичу. Тут и версты не будет.

Завел меня Иван к своим родственникам, принявшим нас очень радушно. Угостили ужином. Ложась спать, я никак не мог скинуть сапог с левой ноги. В этом помог мне сын хозяина, причинив изрядную боль. На ноге кожа на подъеме оказалась содранной, образовалась рана с добрую старую медную гривну. Вид этой раны вызвал соблечение всей семьи.

— Эх, родимый, — сказала хозяйка, — и охота тебе в сапогах сидеть; надо бы наши лапотки: мягонько, ноги целы были бы.

К утру рана слегка затянулась. Хозяйка помогла мне купить лапти, крестьянские длинные онучи и научила обуться в них. Часам к шести я уже пришел в усадьбу Эндаурова. Обратился к старику — барину.

— Барин еще спит. Ты посиди там, вон, у завода. Он, как проснется, так и пройдет тут, с ним и поговоришь.

Около 8-ми часов я заметил приближавшуюся к заводу рослую, здоровую фигуру с добродушным открытым лицом, обрамленным каштаново-рыжеватыми выщипанными волосами и маленькой бородкой. Видел он был в крестьянский летний костюм, но на плечи накинуто легкое летнее пальто. По властной, непринужденной походке я, без колебаний, признал в этой фигуре барина.

Эндауров не был предупрежден о моем прибытии и был удивлен, когда я, загорюдив ему дорогу, снял шапку и подал имевшееся у меня к нему письмо. Он быстро пробежал послание, окинул меня критическим взглядом и вполголоса спросил:

— А вы работали когда-либо топором?

— Нет, — признался я откровенно, — никогда в руках не держал.

— А с механикой знакомы?

— Нет.

— Странно... Зайдите в людскую, там вам дадут что-нибудь заняться, а потом обождите меня здесь.

Я зашел в людскую: длинная низкая комнатка, большой продолговатый стол, окруженный с трех сторон скамейками, в углу громадная русская печь. Старуха подала мне кружку с квасом и ломоть хорошего черного хлеба. Я с удовольствием съел этот завтрак. Эндауров вывел меня в поле, с обеих сторон проселка подымался холм.

— С мельницей вы не справитесь, — сказал он. — Я могу предложить вам работу на сыроварне. Работа легкая, научитесь сыроварить.

Я принял сделанное мне предложение. Пройдя с полверсты полем, мы подошли к сыроварне, помещавшейся на возвышенном берегу небольшой речки. Здание состояло из двух комнат. В большой комнате помещалась мастерская, в маленькой жила мастерица со своей помощницей. Широким коридором это теплое помещение отделялось от полуподвала с хранившимся в нем сыром. Погреб для хранения масла и свинарник дополняли оборудование сыроварни. На печке была устроена еще пловучая купальня, на дно которой опускались высокие цилиндрические сосуды с молоком. Холодная вода берегала молоко от окисания. Когда молоко здесь отстаивалось, сливки снимались для масла, а из снятого молока делался сыр.

Я был определен вторым помощником мастерицы. Сыроварня была маленькая, работы хватало еле на двоих. Мне поручили сбивать

масло в вертящейся бочке и чистить свинарню. То и другое занимало два-три часа времени. Я ходил в лес, собирал грибы и угощал этой снедью своих учителей по сыроваренню. Но учение шло плохо. Хозяйка скрывала от меня секрет своего мастерства, опасаясь встретить во мне конкурента. Напугало их, что я в три дня научился маслобойному искусству и мог уже обходиться в этом отношении без их помощи.

Завтракать, обедать и ужинать я ходил в общую людскую, отстоявшую от сыроварни в полуверсте. Скоро заметил, что здесь, кроме меня, столуется еще трое интеллигентов-рабочих. Один, студент-технолог, работал на заводе в слесарной мастерской и двое — в кузнице молотобойцами. Одного из последних я мельком встречал в кружке Цвиленева, другой, как я потом узнал, был сыном крупного помещика — Левашев, примыкавший к чайковцам, но вскоре отстраненный от них и поступивший на государственную службу. В то время этот Левашев был самым удачливым из нас, мы смотрели на него с уважением и не без зависти. Ему удалось распространить одного из молодых кузнецов, с которым он в свободное время постоянно шушукался, расхаживая по двору усадьбы.

Дня через три после моего прихода местные крестьяне праздновали престольный день в своей церкви. Ходили из избы в избу угощали друг друга наваренной к этому дню брагой. Зашел и я в не сколько изб. Один крестьянин, лет сорока, затащил меня к себе и почуяв во мне «образованного человека», побывавшего в Питере, вытащил из своего сундука небольшую кипочку книг — учебников. Книги эти, как он объяснил, подарил ему один прохожий барин еще в 60-х годах, вскоре после освобождения крестьян. Он развернул карту Европы и с особым удовольствием показал мне на ней границы русской земли и примыкающих к ней иностранных государств. Разговорились, начался типичный для того времени обмен мыслями.

— Так, так... обижают нас, мужиков... Это верно... Вот раз обидели. Только так подумаешь... Выборные, говоришь... Вот, мы выбираем волостных старшин... наметим человека: умный, в ро хмельного не берет, честный, никого не обидел... А тут так месить через два, как надел свою медаль, смотришь: вор, пьяница, нашего брата в дугу гнет, что твой становой пристав; и выходит: только хорошим мужикам пережод.

— Теперь иначе и не может быть. Вы выбираете, но ваши выборы находятся не в вашей власти, а под командой чиновников и помещиков, которые вынуждают их служить не вам, а им. Артачиться. Они его в катажку, а то и под суд отдадут. Что ему делать? Ему и в глаза вам смотреть стыдно. Вот он и заливает свои зенки вином. А на вино деньги требуются, а деньги он может взять только с нас своих выборщиков. Если бы он был не в руках чиновников и помещиков, а в вашей власти, и только перед вами ответ держал...

— Понимаю... Только все же трудное это дело... Вот она Россия, — показал он на карте, — здесь кажется маленькой, а от края до края в два года не пройдешь. И народы все разные, на разных языках говорят... Как тут согласишься... а подниматься нужно дружно, разом...

— Верно, народа потребуется много, но люди найдутся.

— Что же... Начинайте, крестьяне поддержат.

«Начинайте... Поддержим». Такой обычный заключительный ответ ел я бодрость. Казалось так легко расселить своих людей по всем уголкам России и организовать всю эту угнетенную протестующую массу к борьбе с врагом.

Зашел в чайную. Это было нечто вроде клуба, устроенного Эндаровым для своих рабочих. Здесь каждый из нас мог получить кусок хлеба и хороший чай, поданный ему в совершенно чистой посуде. Среди других рабочих были тут и все наши интеллигенты. Из конфиденциальных соображений мы близости между нами не указывали, старались даже, по молчаливому соглашению, не разговаривать друг с другом.

Я сидел один в людской. Время ужина еще не наступило. В большой комнате было тихо, только мухи жужжали в окнах. Вдруг дверь открылась и в нее вошел священник, держа крест, завернутый в тряпичный мешочек, под мышкой. Поп был гневен, глаза его сверкали злобой. Я понял, что вероятно в помещичьем доме он встретил прием, несоответствовавший его званию. Конспиративные соображения подсказывали, что я, как работник, должен встать, подойти под благословение этого разъяренного субъекта и поцеловать его руку. Таков был обычай, но он показался мне в данный момент настолько противным, что я, захваченный врасплох, не двинулся с места и окинул попу враждебным взглядом. Взыбленный священнослужитель отряписто спросил:

— Вы кто будете?

— Сыровар.

Поп, как ошпаренный, выскочил из здания, сел на свою подводку и выехал из усадьбы. Можно себе представить, что он рассказывал Эндаровских порядках своим прихожанам и знакомым. Работа сыроварне мне не нравилась, там нечего было делать, я же стремился приучить себя к физическому труду и потому попросил Эндарова дать мне место батрака при его усадьбе. Скоро представился этому подходящий случай. Как-то мастерица попросила меня побить ее помощнице отнеси сосуд с молоком в купальню-кладовую. Мы взяли на плечи шест, в середине которого был прикреплен оловянный жестяной цилиндр с молоком. Я шел впереди. К речке шла крутая тропинка. Только что прошел дождь, сделал ее очень скользкой. Рана на ноге еще не зажила, сапог, нажимая на нее, причинял мне адскую боль. На середине дорожки я поскользнулся, упал с ног до головы был облит молоком, что возбудило злость и смех

в моем молодом товарище в юбке. Таким образом, я, как оказавшийся непригодным, получил перемещение в батраки.

В усадьбе работа начиналась рано, поднимали нас, батраков, еще до восхода солнца, давали кусок черного хлеба и ставили на работу. В семь часов завтракали, на что затрачивали не более получаса. Обед и дневной отдых делался двухчасовой перерыв. После обеда шли спать на сеновал. С двух до восьми часов работали без перерыва. Ужинали, пили чай, ложились спать. При таком труде я чувствовал себя способным к ведению пропаганды. Мысль отказывалась работать, даже в праздники хотелось только спать, спать...

В дни отдыха, по вечерам слышал сквозь сон, как заводские рабочие и кузнецы, не столь угнетенные работой, распевали:

Волга, Волга, весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Перепополнилась наша земля...

Пели и другие полуреволюционные песни того времени, но запомнилась только эта.

На первых порах моей батрацкой работы меня заставили сечь дрова в поленицы. Я охотно и бодро принялся за работу, но она не клеилась. Как я ни напрягал свои физические и умственные силы, но за целый день ни одной поленицы сложить не мог. Все они, не будучи еще доведены до конца, обязательно разваливались. Утомленный и сконфуженный этой бесцельной, непродуктивной работой я заснул тяжелым сном, надеясь, что на завтра я, наконец, справлюсь с этим трудом. Но на следующий день староста поставил меня на еще более простую работу: заставил подносить к кругляку пиле, приводившейся в вращательное движение ремнем, от заводской паровой машины, толстые, в сажень длины, кругляки, развалявшиеся другим рабочим на швырковые дрова.

Работа моя заключалась в том, чтобы поднять кругляк за один конец, подставить в центр его тяжести свое плечо и, когда э бревно примет горизонтальное положение, отнести его к вертящейся пиле и там скинуть в возможно близком расстоянии от пильщика. Кажется, просто, но для удовольствия центра тяжести кругляка требовался навык. У меня бревно обычно склонялось то назад, то вперед. Поддерживать его в горизонтальном положении я должен был усилием мускулов своих рук, что значительно отягощало работу. Проходившие рабочие говорили: «Ты на середине бери... на середине». Но, видя, что я не могу последовать их совету, отплевывались и шли дальше.

Только к концу дня я, наконец, научился брать кругляки правильно. Это меня утешило. На следующий день я с таким усердием

принялся за работу, что пильщик не успевал обрабатывать поднесенные мною кругляки. Староста похвалил меня, а рабочие ругали:

— Не умеешь ты работать: разве можно так свою лямку тянуть... Яго не вытянешь, надорвешься.

От работы ли или от непривычки долго находиться на солнце обнаженной головой — на пятый день моей добровольной каторги меня хлынула из носа кровь. Это умерило мой пыл, я стал бережнее в расходовании своих сил.

Скопление интеллигентных рабочих в усадьбе Эндаурова не могло ускользнуть от внимания окружающих. С Николаем Меркуловичем была его сестра, молодая девица, сочувственно относившаяся к нашим идеям. Ее голос я часто слышал в хоре рабочих, распевавших революционные песни. Она, насколько это было мне известно, не была пропаганды среди рабочих и крестьян, но пользовалась любовью окружавшей ее многочисленной дворни, и в этой толпе имела своих агентов.

В тот день, когда у меня хлынула из носа кровь, я после ужина сидел в мрачном настроении на крыльце людской. Ко мне подошли две девушки, горничные из господского дома, внимательно осматривали меня, обращая особое внимание на мои руки. Пошептавшись между собой, эти девушки выразили мне сочувствие своими взглядами и глубокими вздохами.

Не знаю, какими путями, вероятнее всего, что донес или наболтал поп, но исправник узнал о «непорядках» в усадьбе Эндаурова. О обязанности службы он должен был немедленно нагреть к нам обыском, но дело для пошехонского исправника было еще новое, ссора с дворянами не совпадала с его интересами; о предстоящем моем нашествии он предупредил отца Николая Меркуловича. Отец прислал к сыну гонца с предупреждающим письмом. Усадьбу необходимо было очистить.

Ко мне на работу подошел Эндауров, сообщил о полученном письме и сказал:

— Мне все равно, но в ваших личных интересах и интересах дела, полагаю: вам нужно скрыться.

Я согласился и подумал: отлично, я поеду в Самару и присоединюсь к работам своих товарищей. Эндауров продолжал:

— После обеда снарядитесь и уйдите по той вон дороге. Вас нагнет подвода. Подводчик вполне мне преданный человек. На его фронтность можно положиться. Он ответит вас на станцию Володарско-Ярославской жел. дороги. До свиданья. Желаю вам удачи в ваших делах.

Работа после этого сообщения шла весело, хотя вспоминался разраженный попик и на дне души грызло сомнение: не являюсь ли я одним из виновников разгрома эндауровской усадьбы. Подошел ко мне молодой кузнец и с восторженным видом сообщил: — А мы

завтра с Левкой — так он Левашева звал — в Питер шагаем. Чего тут околачиваться?

— Так, — протянул я. О своем же уходе промолчал, не зная насколько этот рабочий посвящен Левашевым в тайны местных революционных дел. В общем, кажется, все интеллигентные работники были довольны этим погромчиком, вносившим разнообразие в деятельность. В усадьбе остался один студент-слесарь, как совершенно легальный человек, практикант С.-П. Тех. Института.

После обеда староста мне сказал:

— Ну, Николай, хоть ты и хорошо работал, только работа твоя при пиле кончается, больше ты нам не требуешься... Получай, возьми расчет и иди с богом.

Я молча принял деньги, простился с рабочими и, взяв свой узелок, двинулся по указанной мне Эндауровым дороге. Обещанный подвода уже ждала меня за бугорком, скрывавшим нас от усадьбы.

Молодой паренек, везший меня, был скуп на слова, но я был в возбужденном состоянии, как человек, вырвавшийся из тюрьмы, и считал своей обязанностью воспользоваться удобным случаем для пропаганды.

— Все зло, — говорил я, — в неравенстве между людьми. Бедные завидуют богатым. Одни из них терпеливо переносят свою бедность, другие организуют шайки, убивают, грабят, воруют. Богатые, защищаясь от последних, строят тюрьмы, содержат полицию, суд, войска... При установлении равенства между людьми все это, стоящее народу столько сил, окажется излишним, так как зависть исчезнет, человек в человеке будет видеть только брата, товарища в общем труде. Земля, орудия труда должны быть в общем пользовании...

— А как же нам быть с Николаем Меркуловичем?

— Николай Меркулович хороший человек. Когда будет установлено равенство, он сам охотно поделит с вами все свое богатство. Будет производить те же веялки на всю округу.

Узнав, что он грамотный, я передал ему «Историю одного французского крестьянина» и «Сказку о четырех братьях». Он бережно спрятал их под свое сиденье.

Проехали верст 25. Здесь селения не были так густы, как по большой дороге; ехали среди хлебных полей и молодых лесов. Вдали показались догонявший нас какой-то экипаж. Петр, так звали моего подводчика, присмотрелся к этому экипажу и сказал:

— А ведь это Марья Ивановна...

И на мой вопросительный взгляд пояснил:

— Раскольника тут одна... Умная баба, богатая... Бегунов скрывает, бегуны на нее и работают... Она и меня к себе привораживала, но я не пошел.

Посмотрев еще раз в сторону Марьи Ивановны, Петр, видимо ослепленный новою мыслью, круто повернулся ко мне и продолжал:

— Вот что... Живет эта баба у самой той станции, на которую вам требуется. Дома у меня работа спешная... Только из уважения к Николаю Меркуловичу я взялся ехать с вами. Если вы согласны, я передам вас Марье Ивановне, она вас живо до самой станции докатит. А я к вечеру уж дома буду. Это очень хорошо бы для меня устроило.

Крайне заинтересованный предстоящим знакомством, я охотно согласился, хотя и был несколько обижен на Петра... Проповедывал, проповедывал ему, он так симпатично-внимательно слушал, но как только явилась возможность вернуться к своему хозяйству, он все бросил, прервал наш разговор и так легко готов оторваться от меня. Мы остановились. Марья Ивановна, высокая и дородная женщина лет 40, одетая в крестьянский, но очень хороший костюм, под'ехала к нам, сидя в рессорном кабриолете. Рослый, молодой, серый в яблоках жеребец, остановленный своей хозяйкой, нетерпеливо бил копытом землю.

— Здравствуй, Петя, — сказала она. — Ты что?

Петя объяснил ей. Марья Ивановна окинула меня внимательным взглядом, очистила место около себя и, указав мне на него глазами, торжественно произнесла:

— Садись.

Не успев даже проститься с Петром, мы помчались вперед. Быстрая езда в рессорном экипаже мне нравилась. Забывши о своем крестьянском костюме, я с восхищением любовался окружающей нас природою. Солнце, уже склонявшееся к горизонту, красиво освещало: окаймлявшую дорогу зелень полей, то приближавшиеся к нам, то убегавшие от нас темные полосы лесов, живописно разбросанные на этом фоне ландшафты деревушек, сел, дворянских усадеб, ветряные мельницы, мелькавшие то там, то здесь золотые кресты церквей. Марья Ивановна искоса оглядывала меня своим внимательным взглядом. Мне показалось, что я нравлюсь ей.

Прерывая молчание, я, вспомнив все, что приходилось слышать о секте бегунов, бросил наугад:

— От антихриста укрывается?

Соседка моя круто повернулась ко мне всем своим тучным корпусом и, обдав меня огненным взглядом загоревшихся глаз, спросила:

— Это тебе Петя наболтал... Вот я ему, паршивцу, надеру уши. Вы кто будете?

— По ремеслу сыровар, у Эндаурова сыр делаю, а по вере — тоже антихристу супостат... Только мы так думаем, что от антихриста не прятаться нужно, не бегать от него, а бороться с ним, так как в нем, в его прислужниках кроется все зло на земле...

— Вишь, какой вояка... Как же это ты антихриста за рога возмешь?

— В антихристе, самом антихристе, силы нет, за рога его легко взять, мало силы и у его приспешников.

— А в чем же его сила?

— В войске... А войско из кого состоит. Из мужиков и рабочих. Попов над ними антихрист поставил, пугает их адом, заставляет присягать и служить себе. Мужики, защищая антихриста, сами себя в его рабстве держат...

— Наши не идут в солдаты, скрываются...

— Вот... Если бы никто в солдаты не шел, то тут и силе антихриста конец. Или скажем так: пошли в солдаты, взяли ружья, и направили их не против своих же братьев, а против антихриста, попов и других слуг его, что нашего брата, их отцов и дедов за шиворот держат.

— Наворотил незнамо что. Не по божьему думку думаешь... Воля от господина бога устроено... Вот, скажем, змеи ядовитые есть, — и они сотворены богом.

— Так их и бьют.

— Над всякой тварью власть человеку дана. Но человек человека убить не может, грех. Антихрист тоже от бога поставлен... для испытания людей. Подчиняться ему грех, но убить его и того грешнее.

Я не нашелся, как подойти к опровержению новых для меня доводов, а раскольница, помолчав, с привычным чувством превосходства, продолжила:

— Шел бы ты, паренек, к нам... Хорошо живем. Жизнь у нас вольная, начальство у нас на откуп, в своем кошельке его держим сыроварню думаем завести... Поедешь ко мне ночевать?

Последний вопрос был задан в упор и сопровождался откровенно призывным взглядом. Мне было очень интересно познакомиться с «вольной жизнью» бегунов, но этот взгляд меня оттолкнул. И потянуло меня к товарищам в Самарскую губернию, этот, как мы думали тогда, ближайший очаг грядущей революции. По выражению моего лица раскольница довольно верно определила значение моего молчания. Она нахмурилась, разговор наш прервался. Было уже темновато, когда мы вехали в небольшую деревню.

— Отсюда, вон по той дороге, — указала мне раскольница, — одна верста до станции. Поезд на Ярославль идет в 8 часов утра. Переночуешь тут у моего знакомого.

Мы подехали к одной из хат.

— Иван, а Иван... Позови отца, — сказала моя соседка выходящей в дверь молодой девушке.

Не спеша, вышел седой мрачный старик.

— Вот, дед, — обратилась к нему раскольница, глазами покосившись на меня, — переночует у тебя, а завтра утром ему на поезд в Ярославль.

Сказала и, не попрощавшись со мною и не допуская, очевидно, возражений от раскольника, поехала дальше.

Кивком головы пригласил меня дед последовать за ним, привел в широкую клетку, примыкавшую к его избе, и, сказав «располагайся здесь», ушел спать в дом.

Подстелив под себя свой зипун, положив под голову узелок, я задремал, забыв, что под голенище был засунут паспорт, и уснул крепким сном. Утром проснулся рано, оделся и вошел в избу. Подсел старику, сидевшему за столом под образами и враждебно следившему за мной своими серыми глазами. Девушка работала у печки. Я нарушил молчание:

— Дайте водицы испить.

— Налей ему, — обратился раскольник к дочке, — в поганый чай квасу.

Я оскорбился и произнес:

— Сказал Христос: «Не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что выходит из уст».

— Это ты с нашими наставниками поговори, а нам недосуг с тобой баясы точить.

Девушка подала мне квас в новом, чистом ковше, называвшемся у нас чашкой, так как сами хозяева из него не пили, а давали пить только нам не их веры. Я выпил квас и, сказав «спасибо», вышел из хаты. Знакомая по литературе с сектой бегунов, я представлял их себе, к состоящих из двух разрядов: первые, более последовательные, строгие и самоотверженные, не желают иметь никаких сношений с антихристом, не признают ни денег, ни паспортов, скрываются от мира на земле зла; другие, преклоняясь перед первыми, но не имея сил следовать за ними, способствуют их сокрытию. Теперь я сообразил себе другую картину: кулаки-бегуны содержат своих наставников, а те, пользуясь народной темнотой, доставляют им даровых работников, попадающих в полную рабскую зависимость на религиозной почве к своим хозяевам и учителям.

На полупути к станции я встретил подвижную фигурку крестьянина. По батожку, которым он властно размахивал, я определил в нем сотского.

— Вы откуда и куда идете? — спросил он, подозрительно осматривая меня.

— С сыроварни... с имени помещика Эндаурова... Николая Мердвича... За покупками в Ярославль.

Такой обстоятельный ответ удовлетворил власть, опасавшуюся связываться не только с помещиками, но и с их челядью. Я пошел дальше, и только теперь вспомнил и задал себе вопрос: «А где же мой паспорт?».

В карманах, в узелке, за голенищами сапог — нет.

Паспорт я мог потерять или в пути или, что вероятнее, на ночлеге, когда, ложась спать, скинул сапоги. Но я хорошо помнил, что, про-

снувшись и одеваясь, около себя не заметил никакой бумажки, а она на черном земляном полу клетки должна была броситься в глаза.

Не похитил ли мой паспорт дед-раскольник Бегуны-налетчик при своих переездах часто нуждаются в паспортах... Старик смотрел на меня так враждебно... Не готовился ли он к отпору в ожидании, что я потребую от него возвращения своего документа?

Как бы там ни было, но над паспортом, очевидно, нужно поставить крест. Это очень смутило меня. Встреть я теперь сотского, не сумел бы говорить с ним так уверенно. Крестьянский костюм шел ко мне, как к корове седло, возбуждая во всех встречных подозрения. Только эта маленькая бумажка, удостоверявшая мою личность, ограждала меня от всех опасностей. Я испытал чувство голого человека, внезапно очутившегося в толпе одетых людей.

В тревожном настроении подходил я к жел.-дор. станции. Здесь имеется жандарм, он может допросить меня, потребовать мой документ. Присел у дороги в саженьях 20-ти от этого опасного пункта и решил: когда покажется поезд, побегу на станцию, спешно возьму билет и юркну в вагон. Развернув свой узелок, закурил хлебом, которым снабдила меня на дорогу сердобольная стряпуха Эндаурова.

Но вот и поезд, он уже близко. Страх не попасть на него заглушил во мне все другие опасения. Я побежал на станцию, столкнулся с жандармом и строго крикнул ему:

— Где касса?

Заразившись моим страхом и спешно сопровождая меня, жандарм дал требуемое от него указание.

Все остальное прошло благополучно. Часа через три-четыре показалась Волга, мы подъезжали к Ярославлю.

V. НА ВОЛГЕ.

Переpravившись через реку и идя по берегу, я разыскал пристань-конторку Общества «Самолет». Справился по расписанию, пароход на Нижний отходил в 8 часов вечера. Времени оставалось еще целая минута. Зашел в крытое помещение конторки, сел на лавочку среди других пассажиров. Чувство моей беспаспортности еще не покинуло меня. Это, надо полагать, ясно читалось в пугливо-настороженном выражении моих глаз. Ко мне подсел один из служащих конторки.

— Откуда и куда, землячок, пробираетесь? — спросил он меня плутоватым видом.

Опасаясь ареста, я теперь не считал себя в праве прикрываться именем помещика Эндаурова, а потому ответил ему неопределенно:

— Тут под Вологодой сыр делаем... На родине побывать нужно. Давно не бывал...

— А где ваша родина?

— Симбирская губерния.

— А уезд?

— Сызранский.

— А волость?

— Никольская.

— Хе, хе, хе... Так мы с вами земляки... А я из Краснопольской... Всего в 30-ти верстах от вас. Знаете?

— Нет, не слыхал.

— Как же... Всего в 30-ти верстах... Вот где бог привел встретиться... Пароход, землячок, еще вечером пойдет, а нам с вами нужно встречу вспрыснуть... Пойдемте, тут недалеко трактирчик есть.

Когда мы вышли на берег и очутились одни, этот пройдоха, понизив голос, ехидно спросил:

— А паспорт у вас, землячок, есть?

Вопрос поразил меня своей внезапностью, я покраснел. Видя мое смущение, пройдоха так и просиял и еще ехиднее, с настойчивостью радости в голосе, повторил:

— Документик, землячок, у вас при себе имеется?

— Видите ли, — сказал я, — паспорт я свой дорогой затерял. Засунул его за голенище...

— Так, так, так, — радостно перебил меня пройдох, — я сразу заметил. Надзирателем я здесь в тюремном замке два года прослужил, присмотрелся... Теперь насквозь человека вижу, если у него что-либо не в порядке... А деньги у вас, землячок, есть?

Я вынул свой кошелек, он моментально его у меня вырвал, удовлетворенно пересчитал имевшиеся в нем кредитки и к моему ужасу положил в свой карман. Я сделал невольное движение, чтобы отнять свой кошелек, но пройдох хладнокровно отстранил меня, успокаивая:

— Вы не бойтесь, землячок, все будет в порядке... Это господин меня на вашем пути поставил... Арестовали бы вас без меня-то? Это как пить дать... Посадили бы в тюрьму... Пока справки наведут, пройдет месяца три... За это время арестанты у вас все денежки вымочат... на это они мастера... Будете сопротивляться, до смерти изобьют или покалечат... Таких, как вы, только и ждут... Доходим, Верьте опытному человеку, знаю я их, подлецов, как свои пять пальцев.

— Но как же я теперь буду?..

— Все устроим, как следует быть... Я вас не оставлю, землячок, еще на родине встретимся, благодарить будете... Помощник капитана поднесу я головку сыра, представлю вас, как своего родственника, он вас хоть до самой Астрахани довезет... Поняли?.. Никто к вам, как к моему родственнику, и не прицепится, до самого Сызрани спокойно доедете. На дорожные харчи я вам денег дам, а теперь нашу встречу нужно вспрыснуть.

Мы ходили с ним по трактирам, пили чай, закусывали и, хотя весьма умеренно, но прикладывались и к рюмочке. Всюду он рекомендовал меня, как своего родственника, и соответственно общался со мной. Влезли, по моей инициативе, на соборную колокольню и любовались широким волжским видом.

— Что это вы, землячок, прихрамываете?

— Сапоги жмут, — пожаловался я.

— Сапоги? — Он внимательно присмотрелся к моей обуви.

— А давайте, поменяемся...

Мы зашли в укромный уголок, обмен совершился к взаимному удовлетворению. Сапоги его из черного товара имели настоящий крестьянский вид и словно были сшиты по моей мерке. Это важное изменение в моем туалете, избавившее от излишних страданий, привело меня в радостное настроение.

За полчаса до прихода парохода мы вернулись на конторку. В крытом помещении собралось уже много пассажиров. Я присел меж ними на лавочку.

— Вы посидите тут, — сказал мне «мой покровитель», — я пока сбегаю... Головку сыру куплю, — добавил он, лукаво подмигнув глазом.

— Вернется или сбежит? — пугливо задал я себе вопрос. Только то я это подумал, как в конторку вошел жандарм. Оглянув нас приструющим взглядом, он проговорил:

— Посидите тут, мне надо допросить вас.

Он начал с крайнего. Каждого пассажира, не пропуская ни одного ни молодого, он окидывал испытующим взглядом и допрашивал: кто он, где живет, куда и зачем едет, имеет ли при себе документ... Допрашивал подробно, настойчиво, осматривал паспорта. Я сидел десятым с края, жандарм подвигался ко мне все ближе, ближе... что делать? Бежать. Но этим я обратил бы на себя сугубое внимание жандарма. Узелок свой, в котором хранилась пара нелегальных денег, я оттолкнул ногой в дальний угол, под скамейку. Что я скажу тому церберу? Ни имени, ни фамилии своего «родственника», которого можно было бы сослаться, я не знал. Я сидел, как на иголках, а жандарм все приближался. Он допрашивал уже восьмого, стоял почти рядом со мной... «Арестуют вас. Это как пить дать»... припомнились мне слова моего пройдохы. Но в этот критический момент вошел в конторку «землячок». В руках он держал головку голландского сыра. Быстро сообразив опасность, он подошел ко мне и сказал:

— Идем, Иван... пароход подходит...

— Куда это? — строго окрысился цербер.

— Это мой родственник, ко мне в деревню едет, казенный билет ему выхлопотал... Пароход уже подходит.

— А... — протянул жандарм и, оглядев меня зорким взглядом, как и с сожалением расстался со мной.

Мы вышли на вольный воздух, пароход заворачивал к пристани.

— Ну и порядки... ловко я вас из его рук выцарапал, — похвастался землячок. — Раньше таких допросов не было. Это только теперь вот завелось.

Говоря это, он проворно подхватил чалку, притянул и прикрепил пароход к конторке. Мы подошли к наружной каюте, над дверями была надпись: «помощник капитана». Пройдох юркнул в это помещение. Через окно я видел, как он почтительно докладывал молодому человеку и в заключение подал ему головку сыра. Помощник, приняв отношение, мельком взглянул на меня через стекло и кивнул пройдохе головой. Дело было сделано.

— Располагайтесь здесь, — сказал землячок, выйдя из каюты и подводя меня к свободной палубной скамейке. — Теперь, как у Христа пазухой. В Нижнем помощник передаст вас на другой пароход. Вот вам на харчи.

Он сунул мне 70 коп. мелочью, расцеловался со мною и исчез толпе.

Теперь я вспомнил о своем узелке. Как его выручить? С парохода уйти было легко, но вернуться трудно: матросы стояли у трапа и требовали билеты. Возможно и то, что узелок уже найден и посту-

пил для осмотра к жандарму. Принадлежность мне этого тючка не установил только прохода, но он и в своих личных интересах, конечно, этого не делает. По всем этим соображениям я решил узелок махнуть рукой.

Пароход отчаливал. Снова появился земляк. Стоя на конторке рядом с жандармом, он машет мне своим картузом и кричит:

— Прощай, племянничек... Счастливого... Кланяйся родителям...

— Прощай, буду кланяться, спасибо, — отвечал я ему на его приветствие, помахивая в свою очередь фуражкой.

— Пройдоха... — подумал я. Но без этого земляка я, вероятно, бы арестован. Присутствия жандармов на волжских пристанях я и тогда подозревал. Раньше их никогда там не было. Непредусмотренной изменением в тактике жандармов могло оборвать мою революционную деятельность при первых же шагах ее, как это случилось со многими из моих товарищей.

Дальше пошло все как по писаному. В Нижнем-Новгороде помощник капитана, добросовестно зарабатывая свой сыр, передал меня на низовой пароход. Здесь судьба меня столкнула с бывшим учителем Уфимской гимназии, математиком, так жестоко преследовавшим своего товарища по ссылке, моего репетитора. Мы поглядели друг на друга, но он меня, конечно, не узнал. Мелькнула у меня мысль не занять ли у него рубля три? Из 70, данных мне проиходой, у меня оставалось всего 20 коп. Эта соблазнительная мысль, однако, была отброшена: не хотелось одолжаться этому бывшему сысьному, потом карьеристу, опасался и довериться ему. Предпочел питаться одним хлебом, как это делали на пароходе многие из моих соседей. Вокруг меня расположились человек 20 нижегородских мужичков, ехавших косить, жать в Саратовскую губернию. Нанял их на эту работу и вез на свой счет старозаветный еврейчик в лапсердаках с длинными пейсами, в ермолке, в черках на босые ноги. Три раза в день он наполнял горячую водой большую деревянную миску, крал в воду хлеб, солил и слегка присыпал эту снедь мелко нарезанным зеленым луком. Сорок голодных глаз внимательно следили за его действиями. Но вот кушанье готово, ложки розданы, и крестьяне, осененные крестным знаменем, с видимым удовольствием приступали к еде. С ними, не скидая своей ермолки, разделяет эту простую трапезу их хозяин, еврей. Я наблюдал эту картину: на фоне широкой многоводной реки с мелькающими по ней пароходами, баржами, белыми плотами; на фоне движущихся прибрежных лесов, дворянских усадеб, сел, рыбацких хат; на фоне надвигающихся на нас высокие Жигулевских гор.

Приехали в Самару. Цел ли наш кружок? Может быть, все уже арестованы или вынуждены переселиться в другие места? Я поинтересовался к своим приятелям по «коммуне взаимного увещания». Приятели эти не принимали участия в революционном движении, стояли в стороне от него и были даже религиозны. Я сози-

ал, что в крестьянском костюме произведу большое впечатление не только на моих друзей, товарищей по гимназии, но и на многочисленных родственников, проживающих с ними в одной квартире; что весть о моем приезде в таком необычном виде разнесется по бедным по всему городу. Это было не конспиративно, но что же делать. Из двух зол я выбрал меньшее.

Фурор получился необычайный. Многочисленные тетушки, кузины, племянницы моих приятелей окружили меня тесным кольцом, держащих крахмальных платьев и наперерыв требовали объяснения того романтического превращения сына местного аристократа в простого плебея крестьянина. Удовлетворил их любопытство, сказав, что, желая непосредственно выяснять себе, как отразилось освобождение от крепостной зависимости на быте крестьян, на их верованиях, их стремлениях, их творчестве и т. п., я перерядился, по примеру Якушкина, известного в то время собирателя народных песен и народных сказаний, в крестьянский костюм и ходил по деревням. Я привел их в ужас, признавшись, что, вынужденный ночевать на постоялых дворах и в крестьянских хатах, нахватал там всевозможной живности, которой так и кишат моя голова, мой кафтан, мое белье. Крахмальные платья моментально раздвинулись, охали и ахали. Мне принесли свежее белье, соответствующий жаркой погоде летний костюмчик, свели к цирюльнику, в баню и тем значительно разрядили овладевшую мной армию белых и черных разбойников.

С приятелями я был откровенен. О деятельности нашего кружка они, конечно, ничего не знали, но сообщили, что в Самаре арестовано было и что Осташкин в городе, бегаёт, как и раньше, по урокам и живет на старой квартире.

Последнего я встретил, когда он своей обычной бодрой походкой направлялся с одного урока на другой. Румянец заливал его щеки, карие глаза горели, белая летняя фуражка очень шла к нему, одет он был в безукоризненно-чистенький костюмчик. По урокам ему нельзя было ходить голодранцем, мать тщательно холила своего «моряка», единственного кормильца их семьи.

Вот что он мне поведал. Кружок наш, по приезде в Самару, снял небольшой домик в глухой части города. В этом помещении собирались все члены кружка и велась широкая пропаганда. Такой необычный революционный притон скоро обратил на себя внимание. За домиком был учрежден надзор. Кто-то подкинул письмо, предупреждавшее молодежь, проживавшую в этом помещении, что за ними следят, что они вот-вот будут арестованы, если немедленно не разбегутся по домам.

Этот «кто-то», как я потом заподозрил, состоял из трех хороших барышень, далеко отстоявших от революционной деятельности, но сочувствовавших нам. У местного аристократа Мордвинова, о котором я уже говорил, кроме незаконного сына Фанина-Андреева, нашего товарища, было еще три законных дочери. Стар-

шая, уже невеста, была чопорная белокостная девица, но две младшие — гимназистки, заразившиеся, надо полагать, либеральными взглядами от своего родителя, были очень симпатичные, лет 16-17, девчурки. Усадьба Мордвинова была смежна с усадьбой, занятой жандармским полковником Смальковым. Супружеская чета Смальковых имела единственную, горячо любимую ими дочку, с детскими лет, за смежностью усадеб, подружившуюся с упомянутыми гимназистками. Составился, таким образом, триумvirат, очень близкий жандармскому полковнику, но очень далекий от него по своим стремлениям и державший до известной степени под своим влиянием чета начальника самарской жандармерии. Думаю, что именно этот триумvirат был инициатором приглашения меня жандармской полковницей на именины своей дочери, как я упоминал об этом выше, а теперь оказал нам свое содействие. При отсутствии дружеской помощи этого триумvirата я, вероятно, был бы арестован еще в 1874 году одновременно с большинством членов нашего кружка, привлеченных по процессу 193-х. Из всех членов нашего кружка, бывших в то время в Самаре, избежали ареста: Фанин-Андреев, я и Никитин совместно действовавший в Самарской губернии и одновременно бежавший со мной из этих мест. В этом ясно обрисовывается действительная помощь трех названных девиц, спасавших главным образом Фанина-Андреева и меня, как более близких им.

Помнятое анонимное письмо, предупреждавшее об аресте, спугнуло жителей названного домика. Квартира была ликвидирована, кружок наш, в большинстве состоявший из местных жителей, имевших корни в окрестных селах, рассеялся по своим куткам, захвативши с собою и часть иногородних. В городе остался один Осташкин, которому трудно было покинуть свою беспомощную семью.

Актив нашего кружка в Самаре состоял: из небольшой группы семинаристов, во главе с Петропавловским, впоследствии писателем Карониным; трех местных мещан, собиравшихся обычно по вечерам в маленьком трактиришке: хозяина постоянного двора, портного Дмитриева и еще какого-то ремесленника; швейки из мастерской Ивановой, работавшей теперь самостоятельно, и раскольника — уже говорил о нем, — находившегося в испуганном и подавленном настроении, опасавшегося, что вот-вот факт отравления им жен будет раскрыт.

Приехал Войнаральский и рассказал о погроме в Саратове, где провалилась мастерская, открытая там, если не ошибаюсь, моим бывшим учеником чухонцем-сапожником. Войнаральский, счастливейшим образом избежав ареста, направился к нам, в Самару. Мы познакомили его с нашим активом. Особенно ему понравился хозяин постоянного двора, у которого он и нашел приют. Войнаральский носился в то время с планом устройства по Самарской губернии целой сети постоянных дворов, как опорных пунктов для пропагандистов. В каком-то селе он уже наметил такой постоянный двор, отдававшийся в аренду. Вой-

наральский поражал нас своей подвижностью, своей энергией. Этот расчетный мировой судья, обладатель двух поместий в Пензенской губернии, «его превосходительство», как писали ему по занимаемой должности в официальных бумагах, напоминал теперь своим обликом кабацкого ходатая по делам и только умные энергичные честные глаза заставляли предполагать, что он, хоть и подпольный — была такая черточка, — но не подпольный адвокат. Петропавловский пытался вступить с Войнаральским в теоретический программный спор, но Войнаральский оборвал его, сказав, что забираться в дебри леса теории, некогда, что это для нас «блан-жанже», как он выразился. Теперь для болтовни нет времени, нужно работать.

Бродя по окрестностям города, Войнаральский познакомился с плотниками, пиливших лес и строивших дома у Молоканского сада. Часть плотников подпала под его влияние, а другая часть, под редководительством старого солдата, украшенного многочисленными орденами и медалями, настаивала на том, что его необходимо арестовать и предать властям. Плотникам, сочувствовавшим революционным идеям, Войнаральский назначил свидание за городом. На то собрание он пригласил и нас.

Собрались за Молоканским садом. Плотники, их было человек 8, общили, что у них в деревне, в Симбирской губернии, проживает очень энергичный крестьянин, вполне разделяющий наши взгляды. Войнаральский записал его адрес. Мы говорили о революционных организациях на Западе, о Разине, Пугачеве, рассказали о великой французской революции.

— Что же они сделали со своим царем? — спросил один из плотников.

— Они отрубили ему голову, — ответил я.

В это время мы заметили подходящую к нам другую часть артели, переди шел твердою решительною походкою ветеран-солдат, порякивая своими отличиями, данными ему за верную службу царю.

— А это они вас думают арестовать, — сказали нам плотники. — Ходите, а мы их задержим.

Плотники двинулись навстречу своим товарищам и горячо заспорили с ними. Мы ушли, арест наш не состоялся.

В воздухе уже чувствовался надвигающийся погром. Соседи Осташкиных передали им, что у их знакомых, проживающих на ближайшей улице, поселился какой-то подозрительный субъект, часто меняющий свои костюмы то у себя в комнате, то в укромных местах берега Самарки. Субъект этот, по их наблюдениям, не спускал глаз с квартиры Осташкиных.

По приезде в Самару я написал брату и просил его выслать мне деньги на имя старика Осташкина. Брат молчал. Это было очень странно. Не перехвачено ли письмо? Как бы в подтверждение этого подозрения старик Осташкин рассказал, смотря на нас испуганны-

ми глазами, что он встретил на улице своего старого сослуживца почтового чиновника, и тот сообщил ему, под большим секретом, что на почте получено распоряжение, чтобы вся корреспонденция, поступающая на имя семьи Осташкиных, направлялась в жандармское управление.

Надо было бежать. Но куда? Войнаральский собрался путешествовать по окрестным селам, все еще предполагая арендовать намеренный им постоялый двор. Я, за отсутствием документа, не мог отправиться в самостоятельное путешествие, а потому решил, что впредь до выяснения обстоятельств, пойду к Егору Лазареву.

Егор Лазарев, сын крестьянина села Грачевки, отстоящего от Самары в 70-ти верстах. В раннем детстве он помнил себя крепостным. Какая-то интеллигентная семья в Самаре приняла участие в нем, как очень способном мальчике, дала ему возможность кончить уездное училище и затем поместила в гимназию. Он догнал меня в 5-м классе и, хотя жил еще в приютившем его семействе, но уже добывал себе хлеб уроками. На лето, обычно, он уезжал к отцу, помогая ему в период страдных работ. Так было и в 1874 году. После ликвидации вышеназванной квартиры к нему был направлен Никитин своей фиктивной женой. Последняя там не ужилась и куда-то исчезла.

Рано-рано, пока сыщик не приступил еще к выполнению своих обязанностей, я вышел из квартиры Осташкиных и направился в Грачевку. Осташкины жили на Саратовской улице у берега Самарки. Путь в Грачевку выходил из города у Молоканского сада. Пока прошел это большое расстояние, я уже почувствовал себя уставшим. А предстояло пройти еще 70 верст под палящим июньским солнцем. Напившись чаю в пригородном трактире, двинулся дальше. Пыльная дорога вилась бесконечной лентой среди скошенной пожелтевшей степи. Солнце жгло все сильнее и сильнее. Я еле передвигал ноги. Но вот и село, растянувшееся по дороге на 2-3 версты. Не переносить ли мне? А вдруг потребуют паспорт? Проходя по селу, я всматривался в трактир или постоялый двор, но кроме кабака ничего не заметил. Взрослое население на работе, в селе одни старики и дети. Справился о дороге.

— А далеко будет до Грачевки?

— Верст 50.

Пройдя село, остановился на выгоне у общественного колодца. Пить хотелось смертельно. При помощи журавля вытаскил огромную бадью холодной чистой воды и прильнул к ней. Пил много, в нем было несколько приемов, но утолить жажду не мог. Проходили по дороге косцы-жнецы, крестьяне Симбирской губернии. Один из них отделился и подошел ко мне.

— Что?.. Брюхо налил водой, а напиться не можешь. Видать, что непривычный... Разве так пьют? Ты возьми хлеба, да с водичкой его во рту и разжевывай.

Артель пошла дальше. Воспользовался данным мне наставлением и удивился: жажду как рукой сняло. Подкрепив свои силы, пошел дальше. Солнце уже склонялось к горизонту и не так пекло. Итти было легче, но все же мне было ясно, что еще 50 верст я за этот день не сделаю. Когда солнце зашло, и стало темнеть, я бессильно пустился, присел у края дороги и задремал. Разбудил меня скрип телег и людской говор. Мимо меня двигалось несколько крестьянских обозов, возвращавшихся из города.

— Земляки, — окликнул я, — не довезете ли меня до Грачевки?

— До Грачевки? Можно... Дашь 20 копеек — довезем. А ты зачем Грачевку?

— Знакомый там у меня, Лазарев.

— Так... так... Это к Егору?

— Да к Егору Лазареву.

— Ложись вот на этот воз, подвезем тебя до самого твоего Егора.

Я влез на ходу, растянулся на предложенном мне ложе. Через некоторое время подсел ко мне хозяин воза и завел разговор.

— А ты что, тоже против помещиков смутьянишь, как и Егор?..

— А вам любы помещики? Отстаиваете их?

— Нет, как умом раскинешь, на кой чорт царю эти помещики требуются... Ну, вот, скажем, Панкратов генерал, служил царю, бегал, за службу ему поместье дали. Это так, это правильно... А стальные? Какой толк от них царю? Что сыновей своих в офицеры отдадут учиться? Э... э... Дай нам их землю, мы царю, сколько хотим, самых отборных солдат в офицеры поставим.

Я попытался поколебать в крестьянине авторитет царя, но он в этом пункте был тверд.

— Лет 5 назад, — говорил он, — приезжал царь в Самару. Ходили встречать. Думали новость что, а он, действительно, человек как человек, от других господ генералов не отличишь. А все же он помещик, хозяин земли. Без хозяина нельзя. Только вот, говорю, помещики... на кой чорт они ему сдались.

— Так он и сам из помещиков.

— А хоть бы из помещиков, а теперь он царь, должен интерес земли блюсти.

Чувствовалась большая усталость от пройденного пути, на телеге, медленно подвигавшейся, так сладко укачивало, блестящие звезды темно-синего неба смотрели так торжественно. Сквозь одолевший меня сон я еле подавал реплики...

— Вставай, приехали к твоему Егору.

Я вскочил. Светало. Большая деревня. Мы остановились у крайней избы. Впереди ветряная мельница, за мельницей степь. Один из крестьян уже колотил в окно и кричал:

— Егор, а Егор... Вставай, гостя привезли... А? Гостя, говорю, привезли, принимай.

— Опять за ним лезть в колодец собираешься? В прошлом году ведь тебя едва оттуда живым вытащили.

Мы все вышли из избы. Среди навозного двора возвышался четверть аршина узенький сруб, в котором с трудом могли размянуться два человека. На глубине двух саженей сверкала вода.

— Нужно посмотреть, — сказал Егор, — нет ли там удушливого газа.

Он прикрепил к доске свечку, зажег последнюю и стал на веревке опускать этот испытательный снаряд в колодец. Свечка горела по мере погружения все более и более тускло, но погасла только у самого уровня воды.

— Ну, вот видишь, — сказал отец. — Газу твоего мало. Я до самого дна спускаться не буду.

— Нет, — возразил Егор, — уж если спускаться, то спускаться. Он сделал на одном конце веревки петлю, влез в нее и скользнул в колодец. Мы медленно опускали его.

— Если дерну, — сказал Егор, — то сейчас же тяните обратно. Этого сигнала не пришлось долго ждать. Мы вытянули его назад, он почти потерял сознание, но цепко держался за веревку.

Прошло почти ровно 30 лет. Егор — эмигрант сообщил мне в Швейцарии из Кларана, где он устроил молочную ферму, что в 80-х годах отец его все же погиб, спасая ведро из вышеупомянутого колодца.

Приехав в Самару, я вновь направился в свое убежище, к приятелям по «коммуне взаимного увеселения», но был принят далеко не с прежним радушием. Фонды мои здесь упали. Дело в том, что один из братьев моих приятелей служил счетоводом в акцизном управлении, а туда уже проникли слухи как о моем участии в революционном движении, так и о том, что я скрываюсь в квартире, где проживает этот счетовод, у его братьев-студентов, гимназистов. Счетоводу объявили, что, если я буду схвачен на его квартире, то его немедленно уволят. Оба эти обстоятельства — возможности моего ареста на их квартире и предстоящее увольнение счетовода — тревожили все семейство. А у меня ни паспорта, ни медного грена в кармане. Я пошел бродить по городу. Все известные мне квартиры товарищей были только что скопрометированы. Зашел к швейцару. Она накормила меня, но предупредила, что за ней следят. Зашел к гимназисту Родину, тоже состоявшему в нашем активе, — не стал его дома. И вдруг на улице встречаю портного Дмитриева. Знал, что он был арестован. Изрядно выпивший, мрачный вид — это не смутило меня; это было его обычное состояние. Обрадовавшись встрече, я засыпал его вопросами: когда его освободили, о чем спрашивали, виделся ли он в тюрьме с товарищами? Он шел, мрачно смотря себе под ноги. Потом внезапно окинув меня холодно-пренебрежительным взглядом, сказал:

— Вы не ходите со мной.

Я обратился в соляной столб. Он прошел дальше. «Так вот что отвечает на допросе», мелькнула у меня догадка, впоследствии подтвердившаяся. Я был очень огорчен этой встречей. Вышел за город, сел на берегу Самарки и погрузился в мрачные думы. Дело организации народного восстания оказывалось не таким простым, как мы это представляли себе. Вечером, когда стемнело, я решился навестить семейство Осташкина. Семейство было в сборе. Маменька обрадовала меня, сказав, что дня 3 тому назад она получила телеграмму от моего отца. В телеграмме значилось: «Передайте сыну моему Николаю, чтобы зашел к Виноградову, там получит 100 рублей». Виноградов был ближайшим помощником отца, старшим ревизором акцизного управления; он хорошо знал меня, так как вызвал у нас почти каждый день. Передавая эту телеграмму Осташкиной, почтальон ей сказал:

— Начальник велел спросить: «были ли вы знакомы с генералом ухом».

Та ответила неопределенно:

— Ну, как же, кто его не знает.

Осташкина рассказала, что была в тюрьме, что настроение там плохое. Муж ее ходил к жандармскому полковнику. Смальков успокаивал его:

— Ваш сын для нас не имеет значения, нам нужно найти основные корни и нити. Если он укажет нам на лиц, сокротивших его на революционный путь, то он немедленно будет освобожден, — и посоветовал ему повлиять в этом направлении на сына. Но старик знал свое бессилие в данном случае и в отчаянии спрашивал: «Кто же теперь меня кормить будет?» — и, презрительно посмотрев на старца своего нервно-больного сына, сказал: «Не ты ли?».

Пришел за новостями раскольник, отравивший по настоянию Осташкина свою жену. В это трудное время он помогал семье Осташкиных. Встретившись со мной глазами и догадавшись, что я знаю его секрет, он перепугался, побледнел, распрощался и ушел встревоженный. Тревога раскольника, как я уже говорил, оказалась напрасной. Жандармы не докопались до него.

Меня беспокоил вопрос: сообщил ли начальник телеграфа о полученной телеграмме отца жандармам? Итти за деньгами к Виноградову было рискованно, тем более, что жил он рядом с полицеймейстером, который, как и многие из околоточных и городских, постоянно вертевшихся около его квартиры, прекрасно знали меня лично. Но выбора не было. Виноградов, я его хорошо знал, мог отдать деньги только мне.

Вновь отправился к приятелям по «коммуне взаимного увеселения». Я сообщил, что весть о получении телеграммы от отца и о предстоящем визите моем к Виноградову, ближайшему начальнику моего брата-чиновника, поднимет мои фонды в этой семье. Так оно и

случилось. На следующий день они нарядили меня в свой лучший костюм и я отправился в рискованный путь.

Все обошлось благополучно. Жандармы очевидно не знали о теграмме отца, а и то возможно, что мне помог в данном случае триумвират хороших барышень.

Виноградов принял меня очень любезно, оставил обедать. Он сообщил мне, что отец мой вместе с братом Львом ездили за границу и только что вернулись из своего путешествия. После обеда он пригласил меня в свой кабинет и, держа в руках сторублевую бумажку, сказал:

— Я получил от вашего батюшки телеграмму, в которой он просит меня передать вам сто рублей, но я опасуюсь: не пойдут ли эти деньги на революционные цели.

Я, мешая выдумку с истиной, успокоил его, уверив, что если часть этих денег и будет передана моим товарищам, то только на улучшение их тюремной пищи, и что мне обязательно немедленно ехать в Петербург для сдачи экзаменов в Медико-Хирургической Академии. Виноградов несколько поколебался, но деньги отдал.

В Петербург ехать было еще рано, там еще не собрались наши товарищи; мне как беспаспортному, пришлось бы остановиться у отца, то-есть попасть в лапы семьи, а из их лап, чего доброго, лапы жандармов, так как последние, заинтересовавшись мной, прежде всего направили бы свой розыск к моим родным. Это мне не улыбалось, да и дело наше в пределах этого лета мне не казалось еще окончательно провалившимся. Я поехал в Казань, где, по моим расчетам, должны были собраться некоторые уцелевшие члены нашего кружка. Здесь я застал, однако, только Минакова, приехавшего сюда для поступления в университет. Собрали небольшой кружок студентов, устроили явочную квартиру в одном из глухих уголков города.

Как-то мы шли гурьбой по одной из главных улиц. Навстречу нам вдруг показался Смальков. Этого добродушного толстяка вели за ручку с одной стороны его жена, с другой — дочка. Смальков меня не знал в лицо. Дочка потупила свои глаза, маменька посмотрела на меня сердито-сердито.

В Казани начались паспортные строгости. Я, как бездокументный, наводил некоторую тень на своих легальных товарищей. В Петербург можно было вернуться только в сентябре. Я решил пока не ехать к брату, бывшему офицеру, а теперь помощнику акцизного надзирателя, проживавшему на винокуренном заводе около Сызраня в селе Никольском. Он женился, имел ребенка и давно уже забавлял меня к себе на побывку. До Самары доехал благополучно. Здесь пароход стоял два часа. Я решил воспользоваться этим, побывать в Родине, передать ему адрес явочной квартиры в Казани, связав таким образом эти два города. По приезде в Самару я решил обождать, пока схлынет главная масса пассажиров, и в ожидании этого сто-

яло входа в первый класс, помещавшегося в трюме нашего маменькиного самолетского пароходика. Совершенно неожиданно для меня я увидел в дверях первого класса всю семью самарского жандармского полковника, шедшую в том же порядке, в каком я видел ее на улице Казани. Маменька и дочка смотрели на меня с большим беспокойством, как бы опасаясь, что я вот-вот брошусь на их любимого толстяка с кинжалом. Вежливо посторонились, они успокоились. Я удивился, что во всю дорогу от Казани до Самары не заметил их. Они же, очевидно, знали о моем присутствии, беспокоились, и я невольно держал их в каюте, как в бесте. Родина не застала меня, передал через его мать казанский адрес и во-время вернулся на пароход.

Брат жил в большом имении. Управляющим этим имением состоял Огрызко, брат известного Огрызко, сосланного по польскому восстанию в Сибирь. Меня предупредили, что с Огрызко нельзя говорить о его брате, так как он относится к последнему враждебно и мстителен.

Жизнь моя в этом кутке шла весьма мирно и однообразно. Вставали часов в 9, пили кофе и обильно завтракали, шли с братом по лесу, росшие в изобилии в соседнем лесу; читали газеты, с'едали вкусный обед; после обеда отдыхали, играли в крокет с дочерью и сыновьями Огрызко, потом шли к этому управляющему; играли в карты: преферанс, ералаш, вист, я никакого понятия об этих играх не имел и только следил за игрой брата; затем ужинали, перетирали косточки всем соседним помещикам, находившимся в долгу Огрызко, и расходились по домам. По раз заведенному порядку на завтрашний брат, его жена и я садились играть в дураки; кто оставался дураком в первый раз, писал «д», во второй «у», пока у кого-либо не составлялось полное слово «дурак». Брат был очень доволен, когда эта честь выпадала на мою долю.

После нервной летней работы такая мирная жизнь благотворительно отзывалась на моем здоровье. Я, как говорится, расцвел. Но эта тихая жизнь недели через три была нарушена. Как-то брат прибежал встревоженный и сообщил, что на завод приехали жандармы.

— Это не за тобой? — с беспокойством спросил он.

— Возможно, — ответил я.

Брат поблудил, побежал за справками. Я выглянул в окно. У заезда стояла крестьянская подвода, около нее два жандарма и кучка переговаривавшихся с ними рабочих татар.

Этих рабочих Огрызко нанимал в соседних деревнях по контракту на их татарским начальством, обязывавшимся поставлять ему столько-то «здорых рабочих». Если кто-либо из последних заболел — это случалось довольно часто, так как условия их жизни были санитарно-гигиенические, — то на место заболевшего деревня присылала здорового. Познакомиться с этими рабочими было невозможно: они знали только несколько русских слов.

На все расспросы жандармов, как потом оказалось, рабочие отвечали односложно: «наш русский не знает». От завода жандармы пошли к усадьбе Огрызко. Скоро вернулся брат и успокоил. Жандармы спрашивались о поведении студента Аверкиева, моего товарища по гимназии, о котором я сообщал раньше. Студент этот, месяца два до этого происшествия, гостил здесь у своей сестры, вышедшей замуж за одного из служащих завода. Жандармы отобрали у Огрызко расписку в том, что Аверкиев, проживая в этом имении, пропагандой среди рабочих и крестьян не занимался, и уехали.

Этот случай перепугал не одного брата, но и всю заводскую кучку интеллигентов, встревожившихся при появлении жандармов, подумавших прежде всего обо мне, так как я не скрывал от них своих убеждений, вступая с ними часто в оживленные споры. Надо было бежать — сегодня жандармы приехали за Аверкиевым, завтра могли приехать за мной; да и в Петербург было уже время вернуться.

По пути хотел заехать к матери, проживавшей с двумя старшими братьями в Пензе, но в Пензе были аресты и средств у меня было мало, а железнодорожная линия от Сызрани до Пензы еще только строилась.

На парходной конторке в Сызрани меня вновь, как это было в Ярославле, подверг допросу жандарм. Но на этот раз я не растерялся, с горделивой небрежностью указал адрес своего брата и сказал, что возвращаюсь от последнего домой, к отцу — управляющему акцизными сборами в Самаре. Жандарм почтительно поклонился и перешел к допросу следующих пассажиров. Потом, когда получил приказ о моем розыске и аресте, он долго помнил меня. Года через два после нашей встречи с ним проезжала через Сызрань моя сестра. Тот же жандарм подверг ее подробному допросу, сказал, что хорошо знает меня и настойчиво просил сообщить ему мой адрес, хотя приблизительно указать, где, в какой местности я проживаю.

VI. ПОСЛЕ ПОГРОМА.

В Петербурге я прежде всего зашел к брату Льву, но дома его не застал. Заглянув в Мед.-Хир. Академию, взял у швейцара адрес Николая Попова, почти единственного члена нашего петербургского кружка, оставшегося на легальном положении. В квартире Попова застал уцелевших от погрома товарищей: Осипова, Никитина и Комова. Обрадовались встрече и взаимно поделились воспоминаниями.

Осипов рассказал нам о своей женитьбе. Шел он как-то по одной из самарских улиц. Шедшая ему навстречу девушка, совершенно ему неизвестная, остановила его.

— Ваша фамилия Осипов? — спросила она и, получив утвердительный ответ, продолжала: — А моя фамилия Лукашевич. Я студентка Высших Медицинских курсов. Я знаю, что вы принадлежите к местной революционной организации. Живя в Петербурге, я там примкнула к кружку оренбуржцев, встречала там и членов здешней организации: Буха, Чернышева и других. Я решила покинуть курсы и стать народной учительницей. Но домашние, когда я объявила им об этом решении, перепугались, подозревая, что я принимаю участие в революционном движении. Они объявили меня под домашним арестом и грозят осуществить свои родительские права, если в этом встретится надобность, при содействии полиции и жандармов. Единственный выход из этого положения — фиктивный брак. Не можете ли вы мне в этом?

Осипов согласился. При помощи кружка семинаристов брак был заключен. Отец Лукашевич пришел в бешенство и отчаяние, побила его единственная дочь. Он поехал к губернатору, рассказал ему о своей горе и просил не выдавать дочери отдельного вида на жительство, признав ее брак фиктивным. Губернатор обещал свое содействие, и Лукашевич после краткого путешествия в народ со своим фиктивным мужем была схвачена и водворена под власть родителей.

Комов рассказал о своих мытарствах на фабриках. Организовать революционные кружки рабочих ему не удалось. Почва была еще слишком девственна. Никитин сообщил о своих похождениях в Сим-

бирской губернии, где он завел связи среди местной интеллигенции. Все они, подобно мне, были на нелегальном положении, скрывались, главным образом, на квартирах студентов и слушательниц акушерских и фельдшерских курсов. Давала им приют еще жена Дмитрия Рогачева. Этими убежищами пользовался и я. Часто собирались в квартире Рогачевой, пели революционные песни, делились воспоминаниями.

Но штаб-квартирой своей я скоро избрал помещение, занимаемое студентом-медиком Кожановым, женатым на Штоль, уже побывавшей на фабриках. В их маленькой полуподвальной квартирке, находившейся почти около самой Мед.-Хир. Академии и состоявшей из двух небольших комнат, проживал еще приятель Кожанова, товарищ его по Могилевской гимназии В. П. Лепешинский, только что поступивший в Академию. Это был вдумчивый, симпатичный, аккуратный, красивый юноша, пользовавшийся нашею любовью. Частым гостем здесь был еще студент-медик Дорфман, из Николаева. Намечался новый кружок. К обеду, обычно, собирались все вышеназванные лица, кроме Попова, державшегося в стороне. Штоль вытаскивала из русской печки два огромных чугуна: один с кашей, другой с борщом или гороховым супом и гостеприимно угощала нас продуктами своего кулинарного искусства.

Мы еще окончательно не разочаровались в избранном нами революционном пути и по инерции готовились возобновить свой поход в народ весной 1875 года. Подготавливаясь к этому, мы решили изучить какое-либо ремесло. В качестве учителя был приглашен совсем юный севастополец, младший брат из семейства Мартино. Этот учитель наш бросил гимназию и, несмотря на протесты своей семьи, поступил в сапожную мастерскую, исключительно по страстному влечению своему к этому мастерству, в котором обнаружил своего рода талант. В конце 1874 года он, с семейством своим, приехал из Севастополя в Петербург и здесь попал в нашу мастерскую. Из нас же способность к мастерству проявили только Кожанов и Лепешинский. В одной комнате Штоль возилась с кухонной посудой, в другой мы шили сапоги, а ночью спали на полу, среди кожаного товара, мечтая на сон грядущий о предстоящих нам походах.

С братом я устраивал свидания на Николаевском вокзале. Он стоял, как и раньше, секретарем комиссии о подоходном налоге, увлекался своей работой, а меня уговаривал эмигрировать в Швейцарию и закончить там свое образование. В эмиграцию меня сманивал и кто-то из нелегальных, собиравшийся совершить это путешествие; подозреваю, что это был Судилковский. Он говорил, что нужно взять рекомендательное письмо у одной из наших общих знакомых в Вильно, вероятно к Зунделевичу — а оттуда, мол, переправят через границу. Некоторые поступали проще, напр., рабочий Ионашнен, Попко и другие. Ехали на одну из пограничных станций, выматри-

ли удобное местечко и ночью пробрались без всяких проводников в Германию или Австрию.

Ни одним из этих путей я не воспользовался. Я тогда был против эмиграции. В поездках за границу товарищей не видел ничего странного, считал, что им необходимо отдохнуть или на время скрыться, и даже, что за границей они будут полезнее для дела; но для себя признавал это неправильным, так как не видел к этому никаких настоятельных причин. Положение нелегальных, при нашей беспризорности, было довольно опасное. Скоро арестовали Комова, а потом и Осипова. Никитин решил бежать в Москву. Уезжая, он сказал мне, что я могу разыскать его через Волгина (псевдоним), очень много и энергичного парня, которого все революционеры в Москве знали. С чайковцами я поддерживал сношения через Ободовскую и без Драго, захватившего в свои сети нашего Попова. Зайдя как-то к Ободовской, я застал у нее целую компанию. Были там Клеменц, сестры Корниловы, Левашев и другие. Я рассказал им о своих тарствах, об аресте товарищей, о том, что собираюсь куда-либо бежать. Узнав, что Клеменц только что вернулся из Москвы, я обратился у него об адресе Волгина. Клеменц нахмурился и сказал, что не советует мне разыскивать этого «прохвоста», и сообщил, что такой Волгин по фальшивому паспорту поселился в одной подмошковой деревне; воспользовавшись тем, что одна из местных деревенских красавиц указала ему свое расположение, он сосватал ее, женился на ней и вошел в ее семью. Осенью, когда положение его стало шатким, он бросил свою жену, переселился в Москву, хвастаясь своей ловкостью и находчивостью. Мне посоветовали, минуя Москву, ехать прямо в Одессу, где после осеннего погрома чувствовался недостаток в людях.

С этими новостями я вернулся в нашу мастерскую. Проект переезда в Одессу всем понравился. Решили, что я первым поеду туда, когда обживусь, то придут ко мне и все остальные члены нашего кружка.

После разгрома наша небесная канцелярия еще не устроилась. С большим трудом достали мне паспорт на имя какого-то купеческого сына. Паспорт был сроком всего на 4 месяца. Дорфман дал мне адреса своих родных и знакомых в Одессе и Николаеве. Это были крупные мелкие коммерсанты-евреи, никакого отношения к революции не имеющие. Дорфман уверял, что через этих простых добрых людей легко пробраться в Турцию, принять там подданство и вернуться с легальным иностранным паспортом. Он дал мне два рекомендательных письма. В одном из них, адресованном на имя его друга детства, сына резника, проживавшего в Варварке, около Николаева, рассказывалась про меня романтическая история. Я, студент, влюбился в еврейку и пользуюсь ее взаимностью. Но родители моей невесты соглашаются на брак лишь при условии перехода моего в иудейскую веру. Дорфман просил своего друга содействовать счастью

влюбленной пары: переправить меня в Турцию, записать там у рецким подданным еврейского вероисповедания и вернуть с соответствующим документом в Россию. Тогда, мол, все препятствия к браку будут устранены. План был весьма нелепый, но нам, незнакомым жизнью, он казался умным и практичным. Письма Дорфмана были взяты мной на всякий случай. Главная надежда была на чайковцев — к одесскому кружку которых я должен был примкнуть. Когда приготовления к отъезду были закончены, Драго снабдил меня рекомендательным письмом к своим приятелям, брат — деньгами, и я, расставшись с друзьями, двинулся в путь.

Был уже ноябрь, когда я приехал в Одессу. Погода стояла еще теплая. На вокзале меня подхватил комиссионер и водворил в гостиницу «Германия». Эта гостиница оказалась особого рода. Она находилась под покровительством какого-то полицейского чина, отличавшегося в Одессе своим талантом по всевозможным розыскам. Он устроил здесь ловушку: документов в этой гостинице от приезжих, по раз установленному правилу, не брали, но за лицами, выходящими по чему-либо подозрение, учреждали строгий надзор. В это я потом сообразил и разнюхал. На первых же порах у меня никаких сомнений не было. Бросив в номере свой узелок с парой запасного белья и евангелием, которое штудировал, готовясь к пропаганде среди штудистов, я затворил дверь отведенного мне помещения и отправился по адресу, полученному от Драго. Розыска Мне отворила дверь какая-то женщина, жена квартирохозяина, занятая в этот момент кухонной страпней. Узнав, что я приехал из Петербурга, она рекомендовала мне зайти к ним в 9 часов вечера, когда все будут дома и соберутся товарищи. Пошел бродить по городу, поразившему меня своею оживленностью, интернациональным типом своего населения и чистотой. Вышел на Приморский бульвар и был очарован: в первый раз в своей жизни я увидел море. Я сел на скамейку и погрузился в созерцание.

К назначенному времени я пришел на явочную квартиру чайковцев. Здесь было несколько человек, в том числе и жена Желтоновский. Последняя рассказала, что она сегодня была на свидании у мужа, поразившего ее своим болезненным видом, что надежды на скорое освобождение его, хотя бы на поруки, нет. Я молчал. Никто из присутствующих вопросов мне не задавал. Пришел, наконец, Желтоновский, ниже среднего роста, юркий. Оглядев комнату, он сразу подошел ко мне.

— Вы из Петербурга? — спросил он.

— Да, — ответил я, — вот вам письмо от Драго.

Желтоновский взял письмо, распечатал и погрузился в чтение. Подвинулся к лампе и как бы впиался в каждую букву послания. Прошелся по комнате с озабоченным видом, искоса поглядывая на меня, и вновь приступил к рассмотрению письма. Сделал знак ок

зывающим и, удалившись с ними в соседние комнаты, таинственно совещался. Желтоновский скоро вернулся ко мне и сказал:

— Я ничего не понял из письма. Драго я знаю, был здесь такой, но письмо подписано другой фамилией. В письме просят оказать мне содействие... Что же я могу для вас сделать? Никакого содействия я вам оказать не могу.

Меня поразили эти слова и не столько слова, как ледяной презрительный тон, которым они были произнесены.

Желтоновский ушел. Я продолжал сидеть, тщетно пытаясь осмыслить происшедшее. С ласково-заискивающим видом подошел ко мне хозяин квартиры, высокий красивый брюнет с черной бородой, фамилию которого теперь не припомню.

— Я, — сказал он, — сочувствую революционерам, не их идеям, которых разобратся не могу, но их стремлениям к равенству, к всеобщему счастью. Это так красит жизнь, но лично я не принимаю участия в этом движении. Я на артельных началах открыл здесь переплетную мастерскую и ей отдаю все свои силы. Дело маленькое, но верное.

Словно молнией меня осветила мысль: «Меня принимают здесь за шпиона». Такое обвинение, впервые предъявленное мне, показалось чрезвычайно обидным. Как ужаленный, я, не попрощавшись, выскочил из квартиры этих перепуганных людей.

Печальное настроение мое скоро прошло. Я понял, что не имею оснований сердиться на своих новых товарищей, для которых являлся личностью совершенно неизвестной. Письмо, очевидно, написано неизвестным им почерком, а потому и не могло внушить им себе доверия.

Вернулся в гостиницу и лег спать. Утром ко мне зашел комиссионер, привезший меня с вокзала в этот номер. Он предложил мне свои услуги по коммерческой части и расспросил, откуда я приехал, о каких делах и долго ли рассчитываю прогостить в Одессе. Я ожидал эти вопросы и подготовился к ним. Еще в Петербурге, читая «Голос», я обратил внимание на известие, что в Одессу ожидается пароход с чаем, впервые поступающим из Китая в Россию морским путем. Опираясь на этот факт, я объяснил, что командирован из Петербурга чаеоторговцем Поповым для закупки ожидаемого товара, если чай этот будет продаваться по сходной цене. Комиссионер предложил дать мне требуемые сведения, но я от его посредничества отказался.

Объяснение мое не внушило к себе доверия. Приехал человек из Петербурга, по поручению крупной фирмы, для заключения крупной торговой операции, приехал, имея при себе лишь небольшой узелок с парой белья и евангелием. За мной был установлен надзор. Желая поддержать свою версию, я сводил гороховое пальто в чайный магазин, где купил четверть чаю, поговорил с приказчиком о предстоящем прибытии парохода с грузом этого товара; раза три

сводил своего преследователя в церковь. На квартиру чайковича конечно, не показывался. Да это было пока бесполезно. Чайкович думал я, наведут обо мне справки в Петербурге, но на это потребует много времени. Пока я решил использовать письма Дорфмана.

В Одессу он дал мне письмо на имя дочерей какого-то богатого лесоторговца. Отыскал их дворец, расположенный среди большого двора, сплошь заставленного высокими клетками лесного материала, скрывающими от глаз солидный двухэтажный дом. Входы оказались мало интересными, типично буржуазного склада, не подававшими никакой надежды на привлечение их к революционному делу. Побывав у них раза два и потеряв надежду на утилизацию их, я решил использовать второе письмо Дорфмана, о котором уже упоминал, адресованное на имя его друга. С этой целью я направился в Николаев. В гостинице я потребовал счет и напрос, куда я еду, дал правильное указание и добавил, что вернусь через несколько дней. Этим я, кажется, избавил себя от больших неприятностей, так как сыщик, проводив меня до парохода, и удивившись, что я действительно еду по указанному мною направлению, за мной не последовал. Море было бурное, многие пассажиры страдали от морской болезни. Какой-то толстый дьякон, наклонившись над перилами, извергал в море целые потоки из своей необъятной утробы. На меня же болезнь не действовала, и я с удовольствием качался на стальных волнах Черного моря.

В Николаеве, как это предсказал мне Дорфман, пароход остановился у самого моста, соединяющего город с его предместьем Варваркой, расположенной на противоположном берегу Буга. Убедившись, что за мной наблюдения нет, я перешел через мост и отыскал маленький домик резника. Постучал в калитку, вышел еврейчик вопросительно взглянул на меня.

— Дома Абрам? — спросил я.
— Абрам... Какой Абрам? Абрама здесь нет.
— Сын резника, Абрам.
— Был такой сын, но его давно уже нет... А вам зачем Абрам?
— Я привез к нему письмо.
— Письмо... К Абраму, письмо? — удивился еврейчик. — От кого письмо?
— От Дорфмана.
— От какого Дорфмана?
— Дорфман, мой приятель, студент Мед.-Хир. Академии. Я виделся с ним в Петербурге, он дал мне письмо к Абраму.
— Вы из Петербурга приехали?! Ну, обождите здесь, я должен переговорить с отцом Абрама.

Через некоторое время еврейчик вернулся и потребовал письмо.

— Письмо мне поручено, передать Абраму, — возразил я.

— Но, ведь, письмо требует отец, отец Абрама, — удивился и несколько возмущился еврейчик.

Это было сказано таким тоном, что я дальнейшее сопротивление считал бесполезным и отдал письмо. На этот раз мне пришлось долго ожидать еврейчика. Наконец он вернулся и сказал растроганным голосом:

— Приходите вечером, мы поговорим о вашем деле. Мы понимаем вас, мы тоже читали романы. Повидаетесь, может быть, и с Абрамом.

Я осмотрел город, купил на базаре кусок брынзы и хлеба, закурил, сидя на скамейке бульвара, что расположен вдоль Ингульца. Вечером я вновь очутился у хаты резника. Меня ожидали, ввели в низкую, но большую комнату. Стены уставлены полками с большим количеством старых, в кожаных переплетах, книг, напечатанных на толстой синей бумаге. Некоторые из этих книг лежали развернутыми на столе. За столом сидел еврей, лет 60-ти, с пейсами, в лапсердаке, в ермолке, что не мешало ему иметь вид профессора, погруженного в изучение своей науки. За этим же столом сидел уже знакомый мне еврейчик и еще старик, родственник или приятель профессора.

Поздоровавшись со мной, резник предложил мне сесть и сказал:

— Вы не беспокойтесь, здесь все свои. Мы читали письмо Дорфмана и желаем вам помочь. Дело ваше легко устроить, если затратить на это рублей 200—300. Но у вас таких денег нет. Без денег это труднее. Каждый желает что-нибудь заработать за свой труд. У евреев нет стремления, как это есть у христиан, обратить всех иноверцев в свою религию. Но, входя в ваше положение, я сделаю, что могу. Я дам вам письмо к приятелю-раввину, живущему у самой границы. Думаю, что он устроит ваше дело. Вы не христианин?

— Нет, отрекся я от Христа, — и начал объяснять, что к религиозному вопросу отношусь индифферентно.

— Так... так, — перебил меня профессор. — Это как Дорфман? Он все ходил к нам и убеждал нас, что земля круглая. Так вас учат в гимназии. Но это не верно. В наших книгах, — он с гордостью указал на свои богатства, — это все объяснено. Земля не круглая, земля — очень пологая, а потому и незаметная для нас гора. Если мы живем на середине горы, то солнце, вращающееся вокруг этой возвышенности, проходит у нас над головой, если живем у подножия или у вершины горы, то солнце мы видим у горизонта; когда солнце на нашей стороне, у нас день; когда оно уходит на другую сторону горы, у нас ночь.

Я горячо возражал против этого объяснения, господствовавшего, как я потом узнал, в XIII или XIV столетии нашей эры. Старик прервал меня:

— Когда будете у раввина, к которому я дам вам письмо, вступайте с ним в такие споры. Вы хотели видеть Абрама? Вас проведут к нему.

Меня вывели за ворота и сказали:

— Выходите на середину улицы и идите к реке. Абрам нагонит вас.

Нагнавший меня Абрам объяснил мне таинственность, которое обставлено было наше свидание. Он скрывался от воинской повинности. Мы зашли к его родственнику и переночевали у него. Утром Абрам передал мне письмо своего отца к пограничному раввину, написанное на еврейском языке, и я поехал обратно в Одессу.

Остановился я здесь вновь в гостинице «Германия». Этим я совершенно успокоил сыщиков, слежение за мной прекратилось. К раввину я не поехал, решил дело это, как совершенно безнадежное прекратить, а данное мне письмо к нему сжечь.

К чайковцам больше не ходил, опасаясь, что они вновь меня примут за шпиона; посещал только барышень на лесном складе, рекомендованных мне Дорфманом. Этим девицам я скоро надоед своим проповедями, и они, под влиянием своих родителей, постарались отделиться от меня.

Они познакомили меня со своей родственницей Серафимович, более подходившей ко мне по своим стремлениям и убеждениям. Это была дочь управляющего паровой мельницей, стоявшей на берегу моря, в конце Херсонской улицы. Две старших сестры ее обучались в Швейцарии, брат служил земским врачом. Отец был простым еврей, честный служака.

Я попал в надлежащую среду. Скоро к нам присоединилась Бутовская, бывшая «американка». Кружок «американцев», организованный в Киеве Иваном Дебагорием Мокриевичем с целью устройства коммуны в С.-А. С. Штатах, в своем большинстве до Америки не доехал и застрял, а в том числе и Бутовская, в Швейцарии. С Бутовской я познакомился еще в Петербурге, где она, вместе со своими товарками, принимала деятельное участие в укрытии нас, нелегалов, от зорких глаз жандармов и полиции, предоставляя нам свою квартиру для ночлега. В Одессу она приехала с целью подготовиться к экзамену на фельдшерицу и изучала анатомию, препарируя трупы в местной больнице. Серафимович познакомила меня с «американцем» же Орестом Габелем. Габель, в целях конспиративных и приобретения хорошо оплачиваемых уроков, держал себя джентльменом вплоть до тщательного ухаживания за своими длинными ногтями. Это нас отталкивало от него. На Соборной площади он занимал хорошую комнату и жил с скромным студентом, Третьяковым. Про Третьякова говорили:

— Третьяков? Да его уже давно проглотил Габель, только ножки из горла виднеются.

Габель, действительно, обращался с Третьяковым деспотически. Когда заходили к Габелю революционеры, даже не по делу, а просто к чаю попить, Габель говорил Третьякову:

— Вы бы пошли прогуляться.

Третьяков брал свой котелок и удалялся на все время пребывания Габеля его гостей. Габель не принадлежал ни к одной из организаций, но со всеми имел сношения и, по мере возможности, помогал им.

VII. ЮЖНЫЕ БУНТАРИ.

В Одессе в это время вернулись из-за границы Владимир Дебагорий Мокриевич и Стефанович. Дебагорий был близок к Бакунину и вернулся в Россию с его инструкцией: организовать по возможности всех нелегальных, ускользнувших от нарождавшегося процесса 193-ти этих осколков крупного революционного движения 1874 года, список которых был известен не только полиции и жандармам, но и брошен по рукам радикальной публики.

В Одессе в то время из лиц, помещенных в этом списке, было 4 человека, естественно — они объединились. Габель меня свел с Дебагорием и Стефановичем. Я бросил свою «Германию» и переехал на Молдаванку. Здесь, в небольшой квартирке, состоявшей из одной комнаты, проживали Дебагорий-Мокриевич, Стефанович, Коленкина, я и еще один интеллигент-сапожник радикального направления, но не разделявший нашего увлечения учением Бакунина. Это был приятель Дебагория, единственный из нас легальный, имя которого и была снята квартира. Все остальные жили без прописки. Он взялся научить нас сапожному ремеслу, но средств было мало, учение шло плохо.

Посредине комнатки стояла маленькая чугунная печурка с длинной железной трубой. Этот очаг обогревал нашу квартиру и служил нам плитой, на которой мы варили себе кофе, картошку и пр. Платились, главным образом, хлебом. На прокормление нас всех тратилось меньше, чем я платил за помещение свое в гостинице «Германия». Изредка навещал нас Габель, приносил Коленкиной коробку конфет, мы братски делили это лакомство.

Умственная жизнь в нашем кружке замерла. О чем было спорить? Народ сознавал несправедливость существующего строя, допускавшего эксплуатацию человека человеком. Рядом бунтов нужно было учиться его бороться за свои идеалы. Летом 1875 года мы собирались поселиться в одном из районов старой гайдамачины и поднять восстание. Программа была ясна, как хрусталь. В книжной мудрости нужды не было, «пусть занимаются ею лавристы». Через год мы или ляжем костями или переселимся с уцелевшими товари-

щами в другое место для поднятия нового бунта. Нужно не болтать, а делать.

Эта ясность программы порой весьма тяготила меня, я не вполне верил в нее. «Как дикому зверю, — сознается Дебагорий в своих воспоминаниях (стр. 374), — все окружающее казалось мне диким и непонятным». Очевидно, и на него находили минуты сомнений, но он умел убеждать себя и других в непогрешимости учения Бакунина.

Из Петербурга прибыло подкрепление. Зашел как-то к Габелю и встретил там 4 рабочих, приехавших из Петербурга. Между ними был Окладский, парнишка лет 16-ти.

— Зачем вы приехали сюда? — спросил я у него.

— В Петербурге, — ответил он, — по всем заводам организованы рабочие кружки для пропаганды. Мы думаем это устроить и здесь.

Следующее наше свидание с Окладским состоялось через 6 лет, когда мы были с ним привлечены к первому народовольческому процессу, процессу 16-ти.

Петербургский кружок наш долго не давал о себе никаких сведений. Отношения у меня с ним прервались. Но в феврале приехали в Одессу Дорфман и Лепешинский. Они разыскили меня через Бутовскую, передали, что следом за ними приедут Кожанов и Штоль. Последние так и не приехали. Приезжих товарищей я познакомил с членами нашего кружка. Они были приняты в него. Особенно понравился Лепешинский, скоро возбудивший к себе общую симпатию. Он стал деятельным и полезным сотрудником нашего легального товарища Петра по изготовлению обуви.

Тем временем чайковцы списались с Петербургом, узнали, что я нелегальный. Им стало совестно, что они оттолкнули меня, и они беспокоились о моей судьбе. Дебагорий, которому я рассказывал о своих отношениях с чайковцами и холодном приеме, оказанном ими мне, возмущился, осыпал упреками Желтоновского. Последний обрадовался, что я жив и здоров. Желтоновский виделся со мной, предлагал мне работать с ними, но я уже всеми фибрами своей души сросся с своим новым кружком.

Скоро к нам присоединились еще два члена. Это произошло весьма оригинально. Два молодых студента: Малинка, сын богатого полтавского землевладельца, и Городецкий, сын состоятельного николаевского купца, сошлись между собою в стремлении к посвящению своих сил нарождающейся русской революции. С нелегальной литературой они были знакомы, но серьезных связей с революционерами не имели, а у них было большое желание проникнуть в самую гущу революционных деятелей. Как-то они встретили на улице группу наших членов и решили, что это именно те люди, которые требуются им. Они проследили нас, и сделали это так ловко, что мы их слежки не заметили. Убедившись в том, что мы представляем из себя кру-

жок революционеров, они пожелали с нами познакомиться. Оставив на улице Дебагория и еще кого-то, они признались в своей слежке и в целях, с которыми она была ими сделана. Зашли в трактир, за чайком разговорились, познакомились, и они скоро стали членами нашего кружка.

Число членов, таким образом, все увеличивалось. Наступала весна, средств было мало. В зависимости от этого последнего обстоятельства и осуществление нашей программы в своих деталях не намечалось. Скопление большого числа членов в Одессе было опасно.

Лепешинский и я были откомандированы в Николаев. Поселились первоначально у сосланного за студенческие беспорядки студента С.-П. Техн. Инст. Шмитта, отец которого служил в городской управе и, кроме сына, имел целый цветник дочерей. Познакомились с Чуриновским, с старшим братом будущих революционеров Златопольским и братом его Александром. Лепешинский через эти связи добыл себе урок, подведший фундамент нашему материальному благополучию. Последнее было скромно: жили в маленькой комнатке, питались брынзой, хлебом и заедали эту пресную снедь лимонами, поедая их, как апельсины.

Познакомились с кружком, состоявшим из трех лиц: Ивана Ковальского, Дробязгина и Юрковского.

Ковальский был очень вдумчивый, самостоятельно мыслящий человек, но сколько-нибудь широким образованием не обладал. Питался своим умом, как Диоген в своей бочке. Одевался весьма небрежно, по наружному виду напоминал чиновника-пропойцу, хотя крепкие напитки никогда не употреблял, был аскетом в полном смысле этого слова. Выработанная им программа революционного действия страдала расплывчатостью и неопределенностью. Он утверждал, что революционеры должны играть роль цемента, скрепляющего все протестующие силы, своеобразно бьющиеся против отживающего свой век буржуазно-помещичьего строя. К протестующим элементам он относил: и крестьян, поджигающих хлеб и усадьбы помещиков и рабочих, устраивающих стачки, и солдат-матросов, недовольных своим офицерством и униженным положением в армии, и сектантов и даже воров-грабителей, на свой лад борющихся против собственности.

— Вы полагаете, что и воров-грабителей нужно привлекать к революционной деятельности?

— В их массе? Нет. Массы их присоединятся к революции, как это обычно бывает, лишь в последний момент ее развития.

Такая неопределенная программа не могла поставить Ковальского в центре современной ему революционной жизни, но он всегда был окружен быстро менявшимся в своем составе кружком молодежи, на которую имел хорошее, возбуждающее ее мысль и энтузиазм влияние.

Дробязгин был человеком весьма замкнутым в себя. Мне, тоже жившему в своей раковине, не удалось проникнуть в его святая-святых. Чувствовалось только, что это очень хороший революционер, весьма преданный своему делу.

Юрковского я знал с 1873 года, когда еще не был с ним знаком. Я готовился в то время к выпускному гимназическому экзамену, жил на Невском проспекте. Рядом с моей комнатой проживал молодой человек, мешавший своей шумливостью моим занятиям. По характеру шума можно было предположить, что сосед занимается гимнастикой или обучается танцам. По воскресеньям и праздникам его часто навещали три воспитанника морского училища: Луцкий, Ласкевич и еще кто-то, с которыми я познакомился лишь через год. Хозяин квартиры говорил мне, что Юрковский был уволен из морского училища за дачу пощечины одному из своих воспитателей. Но эта информация, насколько помню, не подтвердилась сведениями, которые я имел о Юрковском впоследствии. Лично я его об этом не спрашивал. В широком значении этого слова Юрковский был спортсмен в области физических упражнений и в революции. Как почти все спортсмены, он был самолюбив и придавал несколько большее значение, чем это было в действительности, своей силе, ловкости и своему подкопу под херсонское казначейство. Из окружавшей его революционной среды он все же выделялся своей отвагой и удалью.

Отправляясь из Петербурга на юг, я надеялся завести связи с штундистами, с прозелитами вновь тогда образовавшейся секты, которых мы мечтали присоединить к революционному движению. Готовясь к этой деятельности, я первое время своего сидения в гостинице «Германия» штудировал евангелие.

Ковальский в то время только что был выпущен из тюрьмы, где сошелся с сидевшими там местными штундистами. От последних он получил рекомендации к штундистам города Николаева и сблизился с их кружком. Он познакомил меня с несколькими братьями, выдав меня за штундиста, приехавшего из Самарской губернии.

Этих братьев мы пытались революционизировать. Дело шло туго. Особенно противился нашим проповедям женский элемент. Штундистки эти были проникнуты воспринятым ими из евангелия чувством смирения и любви, мы же смирение отрицали и будили в них чувство вражды к эксплуататорам и поддерживающим их правящим сферам, утверждая, что лишь по установлении экономического равенства можно ожидать царства любви среди людей. Этот путь к любви через вражду, через кровавую борьбу — не соответствовал их молитвенному настроению и их вере, что любовь собственной силой победит зло, когда все люди признают себя братьями.

Немцы-штундисты пригласили Ковальского на съезд, организуемый ими в одной из колоний, отстоящей от Николаева верстах в 40.

Ковальский взял и меня с собою. Ехали в рессорном экипаже, запряженном тройкой хороших лошадей. Немцы плохо говорили по-русски, мы не владели немецким языком. Немцы всю дорогу пели псалмы и были удивлены, что мы не можем им вторить хотя бы на русском языке. В колонию приехали вечером. На другое утро должно было состояться общее собрание, на котором ожидали выступления баптистского пастора, стремившегося присоединить штундистов к своему стаду верующих.

Нас пригласили в дом богатого немца-штундиста. Собрались учителя, старшие братья, теоретики штундизма. На стол поставили большой кувшин с вином местного производства и коровый пшеничного хлеба. Готовила «тайная вечеря», выполнялся завет Христа: «сие творите в мое воспоминание». Розлили вино по стаканам, преломив хлеб, роздали всем присутствующим по солидному куску; закусывая, запивая хлеб вином, вели разговоры. Штундисты убеждали Ковальского, ссылаясь на тексты из евангелия, креститься. Для этого и пригласили Ковальского на общее собрание. Штундисты хотели озаглавить свое торжество присоединением к своей секте этого первого русского теоретика штундизма из интеллигенции. Ковальский не сдавался. Приводя в свою очередь священные тексты, он доказывал, что креститься нужно не водой, а духом святым; что крещение происходит в тот момент, когда у христианина-церковника-идолопоклонника вдруг спадает завеса с глаз и он познает истинное учение Христа. Такие моменты переживает каждый из штундистов, каждый из них хранит воспоминание об этом моменте, как о лучшей поре своей жизни, и, спрашивая своих братьев об этом моменте, задает им вопрос: «Как нашел на тебя Христос?». Вот в этот момент, — утверждает Ковальский, — и творится крещение духом святым. Он, Ковальский, такой момент пережил, а потому и считает себя уже крещенным и ни в каком другом крещении не нуждается.

Припертые к стене штундисты уверяли нас, что русский перевод евангелия не точен, что в немецком евангелии говорится иначе. Так и не договорившись. Немцы были разочарованы. Наш приезд терял для них свое значение. Пошли в другой дом. Здесь нам был приготовлен ночлег. Подали ужин. Перед едой все встали, старший брат прочитал по-немецки «отче наш».

Утром домохозяин посоветовал нам не ходить на собрание. Приехал становой пристав, рядом живет сотский. Этот сотский, хоть и брат, но как сотский, должен донести о нашем приезде приставу. Было неприятно, но и лезть на рожон в данном случае не входило в наши планы. Хозяин вывел нас задворками, и мы с Ковальским гуляли и отдыхали в поле до самого вечера, пока не кончилось собрание и не уехал пристав из колонии. На собрании были и украинцы-штундисты. Они навестили нас.

Почему вы не были на собрании? — спросил нас один из них. Мы объяснили.

— Не хорошо, — сказал он, — уклоняться от испытаний, посылаемых нам Христом. Пострадать за Христа доброе и отрадное для дела.

Мы ответили, что пострадать за Христово учение отрадно, но это дело распространения этого учения требует от прозелитов его особой осторожности; что сам Христос удалялся из тех мест, где ему и его ученикам грозила опасность. В свою очередь мы задали им вопрос: почему у них нет экономического равенства своим братьям, почему штундисты-украинцы служат в батраках своим братьев-колонистов? Так ли учил Христос, так ли жили первые христиане? Этот вопрос смутил нашего богатого хозяина, он ответил за своих украинских братьев:

— Так... так... Это несправедливо... Этого не должно быть и не будет. Но пока мы еще не достигли того совершенства, чтобы подражать в этом Христу и его ученикам.

Поздно вечером в том же экипаже и с теми же немцами мы уехали в обратный путь. Дорогой дремали. Немцы относились к нам холодно, мы не оправдали их надежд. Они рассчитывали пригласить нас к себе, мы думали привлечь их на свою сторону. Надеждам нашим не пришлось осуществиться.

Кружок отозвал меня и Лепешинского в Одессу. Где-то удалось быть некоторые средства. Программа кружка к этому времени оформилась. Узнали мы, что в Киевской губернии, в Чигиринском уезде, среди государственных крестьян начались волнения. По освобождении помещичьих крестьян население тех сел, которые «сучья терь Катерина» успела раздарить своим приближенным, было делено земель равномерно по количеству мужских душ в семье; государственных же крестьян этой равномерности в пользовании землей не было. Это вызывало неудовольствие. Может быть, эти крестьяне и примирились бы с такой неравномерностью в пользовании землей, так как уважение к собственности у них было крепкое. Но когда правительство через лострационные комиссии пожелало закрепить эту неравномерность особым актом и предложило подписать всем домовладельцам этих сел, то малоземельные заподозрили этот подлог. Богатые подписали этот акт, бедные отказались, требуя передела земли по числу ревизских душ. Первых стали называть активиками или частниками, вторых — общественниками или шениками. Кто-то сочинил легенду: министр доложил царю, что государственные крестьяне не желают передела земли, желают хранить за собою наделы, которыми они владели раньше и которыми пользуются до сего времени. Царь не поверил. — Это несправедливо, — сказал он: — у одного много сыновей — мало земли, другого мало сыновей — много земли. Нужно уравнивать. Заспорили.

Царь потребовал, чтобы по селениям составили акты о том, что крестьяне довольны существующими в них наделами. Если эти акты подпишут все домохозяева селений, то правым окажется министр, если большинство не подпишет, то правым окажется царь.

При таких условиях у душевиков, естественно, явилась мысль послать ходоков к царю с жалобой на министра, на притеснения, чинимые, и с заявлением, что они недовольны существующим распределением земли и желают, как верно угадал царь, передела ее в наличию ревизских душ. Мысль эта родилась у государственных крестьян Чигиринского уезда, которыми и избраны были несколько ходоков, и в том числе от Шабельниковской волости крестьяне села Шабельникова Фома Прядко. Собрали деньги, ходоки отправились к царю. Шесть ходоков по дороге были арестованы и возвращены этапным порядком в свои села. Только Фома Прядко уцелел. Через некоторое время Фома вернулся к своим избранныкам. Жить он нелегально, скрываясь по хатам своих сторонников. Он рассказывал, что был у царя и ему удалось видаться с ним наедине. Он сообщил царю о всех бедствиях душевиков. Царь возмутился действиями министра и обещал расправиться с ним, а душевиков удовлетворить. В доказательство правдивости своих слов Прядко показывал клочок бумажки. Царь написал удостоверение и разорвал его пополам. Одну половину оставил у себя, а другую передал Фоме. Когда, говорил Прядко, придут ревизоры, он передаст им свою половину бумажки, те сложат ее с другой половиной, которую получают от царя, и когда оба клочка сойдутся, то они увидят, что это он, Фома, был у царя.

Правительство настаивало, чтобы душевики подписали акты, последние упорно отказывались. Поставили к ним на постой солдаты всячески издевавшихся над ними. Об этих издевательствах так ходили легенды. Так, в Черкасском уезде мне рассказывали, что в селе Шабельниках солдаты собрали душевиков, загнали их в Днепр, так, что вода, холодная в то время, доходила им до самой шеи, объявили им, что будут держать их в таком положении, пока не согласятся подписать акт. Никто из душевиков такого согласия не дал. Это легенда, но на издевательства солдат над жителями Шабельниковской волости жаловались повсеместно. В эти волости приезжал губернатор увещевать крестьян, подкрепляя свои увещания порками. Но чем сильнее были издевательства, тем упорнее душевики отказывались от подписания акта. «Это все министерские штуки, — говорили они, — не хотим быть за министра, хотим быть за царя».

Вот такая картина, хотя и не во всех своих подробностях, а только в общих чертах, вырисовывалась перед кружком. Кружок почувствовал под собой почву. В Одессу вернулся Дебагорий из Петербурга, куда он ездил для установления связи с севером и добычи средств. Средств он не добыл, твердых связей не установил, но привез

из Петербурга нам проект: поднять крестьянское восстание, как это практиковалось в прошлом, именем царя. Проект этот у большинства не встретил сочувствия, да и сам Дебагорий, кажется, не ставлял его на первый план. Кружок стремился завести сношения с волновавшимися чигиринцами и поднять с ними крестьянское восстание, под знаменем «земля и воля». На деревни и села мы смотрели как на ряд смежных складов взрывчатых веществ. Взорвавши один из этих складов, мы тем самым взорвем и другие. Товарищи, допуская использование царского авторитета, смотрели на него, как на затравку, как на пистон, который разлетится, утратив свое значение, после первого же взрыва.

VIII. НА ПУТИ К ЧИГИРИНУ.

Все это побуждало нас перейти от слов к делу. Но средств было мало, переселение наше в деревню затягивалось. Чтобы не толкаться в городе, часть членов выселилась в конец Пересыпи, на берег моря против лимана. Здесь поселился и я. Жили дачной жизнью. Раз в три дня купались в море или на лимане. Вечером помогали поварам-рыбакам тащить сети, закинутые ими далеко, далеко от морского берега. По окончании улова из мелкой рыбешки варили севрюгу. Так продолжалось более месяца. Наконец собрали малую толпу денег и решили отправить в Киевскую губернию двух разведчиков. Выбор пал на Стефановича, как главного, и на меня, как его подручного. Стефанович хорошо знал украинский язык и местность предстоящего нам действия. Я ни с кем, ни с другим знаком не был. Сомневавшийся в правильности нашего революционного действия я годился только в его оруженосца.

Купили лошадей, сбрую, телегу. Дебагорий научил нас управлять с этим живым и мертвым инвентарем. Но мы с Стефановичем долго не могли овладеть преподанным нам искусством. Наш терпеливый Серко не мало пострадал от неумелой запряжки. Закупили жестяную посуду и в качестве бляхарей-жестянников пустились в путь.

Одновременно с нами, но по другой дороге, выехала еще подвода. На ней ехал товарищ с женой, не принадлежавший к нашему кружку пропагандист чистой воды. Он нагрузил свой воз красным товаром и направился к местечку Смела, где приятель его инженер-химик служил на сахарном заводе Бобринского. В Смеле он поселился, развезая из этого местечка по ярмаркам, торгуя там своим товаром. О степени успехов своей пропаганды он нас не информировал. Сношения с ним были очень редки и отличались большой конспиративностью.

От кружка мы получили задание: разыскать Фому Прядко и связаться с ним. Помню ночлег наш в Березивке. Мы приехали поздно вечером. На площади собиралась ярмарка. Мы заняли место среди других возов. Закусили хлебом и салом, напились чаю. Постелили рядышком, положили под голову по вязанке душистого сена. Картинная ярмарка освещалась рядом костров. Над нами виселось темно-синее

усеянное яркими звездами. Ярмарочный шум мелодично гармонировал с печальным напевом кобзаря, восхвалявшего Сечь, Чаругу, Гонтю. Рано утром двинулись дальше. Товар берегли для Киевской губернии. Обычно ночевали в поле, сберегая деньги, которых было очень мало. Главный расход — корм коня. В Киевской губернии торговали в Городище, Шполе, Смеле; товар наш быстро расходился. К Чигирину ехать опасались: там в мае был губернатор, бывший душевиков, там ловили Фому и всех подозрительных людей.

Пешком туда направился Стефанович, надеявшийся разыскать Фому Прядко. Поджидая его, я кочевал с подводой из местечка в местечко. Дней через 10 Стефанович вернулся, не исполнив своей миссии. Мы опоздали. Прядко уже был арестован где-то в Черкасском уезде и под сильным конвоем отправлен в Киев. С этим известием Стефанович отправился к Дебагорию, перекочевывавшему к тому времени с большинством кружка в Киев. Кружок наш сильно увеличился в своем составе. Около этого времени к кружку примкнули: Ленко, Костюрин, Макаревич, отколовшиеся от кружка чайковцев: Бера Засулич, Дробязгин, Дейч, Мария Ковалевская, Чубаров, Яко, Федька Курицын и другие. Около месяца подвода оставалась на моем попечении. Вновь бродил с нею по селам, местечкам, по Смеле и чувствовал себя весьма нелепо. Как-то остановился в местечке Ольшаны тысяцкий и потребовал документ. Проверив паспорт, он, между прочим, задал вопрос:

— Як твоего батьку звали?

Я, как тугой на память, сразу припомнить не мог. Шедшие с нами крестьяне смеялись и иронизировали:

— Він, мабуть, забув, як його батьку звали.

Но я уже пропомнил и сердито ответил тысяцкому:

— Иванов звали... Ты думаєш я неграмотний, еще лучше твоего я знаю.

Тысяцкий удовлетворился этим ответом и оставил меня в покое. И другой курьез. Ехал я по дороге. В одном месте кто-то, объезжая, свернул на поле, засеянное пшеницей. Его примеру следовали другие, укатывая пшеницу не только в непогоду, но и когда было тихо, так как коренная дорога была покрыта глубокими колесными засохшей грязью. Дорога по пшенице получилась гладкая и скользкая. Естественно, что и мой Серко избрал этот обходный путь, и не заметил его преступления. На беду мою нагнал меня в этом месте хозяин этого пшеничного поля, ехавший со своим взрослым сыном, и у них явилась гениальная мысль: взыскать с меня штраф за причиненный им убыток — потоптанный хлеб. Они потребовали от меня 100 рублей. Я заспорил, да у меня таких денег и не было. Сняли они седелку и, указывая на видневшееся вдали село, сказали:

— Приедеш в управу за своєю седелкою, там поговорим.

Мы ехали. Кое-как доплелся до управы, заявил: ограбили, мол, украинскую седелку.

— Седелка твоя здесь, — сказал староста, — плати пять руб. за потрапу.

Пугал их исправником, становым приставом, мировым судьей. Делку мне, наконец, отдали, взыскав на могорыч 50 коп.

Пропагандой, согласно постановлению кружка, я не занимался. Скал только слухи о предстоящем переделе земли. Заехал как к крестьянину, купил у него сена для коня и заночевал на его дворе. Вечером сидим на крылечке и беседуем.

— У нас, — говорю, — в Черниговской губернии — паспорт меня оттуда был — плохо живет народ, но, говорят, скоро передел будет, вся земля к крестьянам отойдет. Слышно, что в других губерниях кой-где уже передел начался.

— Это и у нас слух ходит, — отвечал крестьянин. — Возил я давно следователя. Разговорились, вот, как с тобой. Так он и говорит: «ждите, вот-вот начнется».

Вернулся Стефанович. Сообщил, что кружок решил продолжить дело и поручил нам снять квартиру, устроить притон для приходящих членов. Сняли комнату в деревне Листвиничной — если память мне не изменяет — лежавшей против Корсуни и отделенной от нее рекой Росью. Изба состояла из двух комнат, разделенных холодными сенцами. Переднюю занимали хозяева, заднюю — мы.

Стефанович рассказал, что радикальная публика в Киеве увлеклась герцеговинским восстанием и поехала сражаться с турками, стремясь приобрести навык в партизанской войне. Из нашего кружка — как мы их ни отговаривали — в Герцеговину поехали Ходяков и Лепешинский. Стефанович прожил со мной в новом помещении 10. Опять надо было ехать в Киев за деньгами. Был неурожайный год. Наше содержание обходилось дешево. Мясо, самое лучшее, но употреблявшееся евреями, продавалось по 1 коп. за фунт. Но кружок разорял нас. Стефанович стремился в Киев и по делу заведения связей с арестованными чигиринцами. Уезжая, Стефанович объяснял мне, что едет за товаром и за женой. Он в то время еще не знал, что будет его жена, но присутствие женщины в конспиративных делах считал необходимым.

Я остался один. Ухаживал за конем, помогал хозяевам в их работе. Отношения установились хорошие.

Но вот приехал в Корсунь какой-то колдун, славившийся по всей округности верностью своих предсказаний. Хозяин квартиры меня окружил:

— Сходи ты к нему, он тебе все твое будущее и прошлое, как на ладоньке покажет.

Я не пошел, но хозяева навели на него. Хозяину колдун сказал:

— Ты такой-то (верно!), живешь там-то (верно!), у тебя столько-то земли (верно!), для ведения хозяйства тебе требуется работа (верно!), у тебя одна дочь (верно!), не выпускай ее из своего дома. Живет у тебя на квартире молодой паренек, бобыль, хороший

человек (последнее, хоть и не совсем верно, но разве колдун может ошибиться?). Выдашь за него свою дочь, и все у вас по-хорошему пойдет.

Я догадывался, что все нужные сведения для этого предсказания сообщил колдуну какой-либо пройдоха — союзник из местных жителей. Но хозяева в предсказании верили и с этого момента смотрели на меня, как на жениха своей дочери, жениха, который не может бежать от своей судьбы. Крепким чурбанчиком выглядевшая хозяйка кидала мне томные взгляды и по украинскому обычаю искала тайных свиданий. Хозяева уже не просили, а требовали моей помощи в своем хозяйстве.

А Стефанович не возвращался, он увлекся в Киеве, где ему удалось завести сношения с арестованными чигиринцами. У меня же средства истощились, нечем было кормить себя и прожорливого Сергея. Может быть, Стефанович арестован? Может быть, в Киеве погром? Положение казалось безвыходным. Я решил продать коня и провести кружок. Привел свой план в исполнение. Коня продал за гроши. По пути зашел и переночевал у товарища-пропагандиста в Смеле, оставил его в известность о положении дел в Корсуне. В Черкассах я на пароход. В Киеве все нашел благополучным. Товарищи сняли квартиру около Лысой горы. Ходили на эту гору, учились стрелять из имевшегося у каждого из нас револьвера. Средства были. Малинка привез из Одессы пуд винограда, за который вместе с корзинкой уплатил 1 рубль. С вокзала он принес эту снедь прямо к нам. В тот же вечер корзина была опорожнена. Когда виноград был съеден, и мы собирались спать, на лестнице послышались шаги. Все схватились за револьверы. Дебагорий с револьвером в руке, на цыпочках, картинно направился к двери. Переполох оказался напрасным. Пришли свои. Разговоры-мечты затянулись до света. Теоретических споров не вели. Все казалось ясным. Намечали по карте целый ряд поселений, получившем охватывающих Чигиринский уезд.

Меня и Городецкого направили в Бердичев за покупкой жестяной посуды. Мы приехали в эту еврейскую столицу без всякого багажа, взяли при себе лишь кобуры с револьверами, прикрепленные на ремне пояснично, так что под крестьянскими сермягами их не было видно, а патронами в кармане. Пошли на базар, где нас скоро заметил и пригласил в свою мастерскую жестянщик. Сделали ему заказ. Хозяин мастерской, довольный полученной работой, пригласил нас на своей квартире и за свой счет харчил два дня, пока не выполнил данный нам заказ. Затем направились в обратный путь. Городецкий остался в Киеве, а я с товаром поехал в Корсунь.

Следом за мной вернулся и Стефанович. Он приехал «с женой», Верой Засулич. Вера Засулич, уже отбывшая ссылку по делу нецензурцев, произвела на меня впечатление простой, скромной, умной женщины, всегда готовой отдать свою жизнь за народное дело. «Сурьютки» устроили себе, как это требовалось по конспиративным со-

ображениям, общее ложе на печке; только перед сном, поту огонь, они прикрепленным к потолку одеялом разделяли свою стель на две равные части.

По приезде Стефановича хозяин с негодованием жаловался мне, что я продешевил коня.

— Он бы мне сказал, — говорил он, — я и коня прокормлю и денег ему на дорогу дал.

Стефанович делал вид, что разделяет его неудовольствие. Пошлое купить нового коня. Развозили товар по ярмаркам, валовой ход от этой торговли не покрывал расхода по прокормлению лошадей. Средства иссякли, пришлось их добывать продажей нашего товара оптом по себестоимости и даже ниже. Мечтали организовать свой отряд, который стоял бы во главе надвигавшегося крестьянского восстания, но пока не могли прокормить и одной лошади. Это смущало нас. На оружие и конный отряд деньги обещал Чубаров. Начнется восстание — «деньги и люди посыплутся со всех сторон».

Приехал или, вернее сказать, пришел к нам Дебагорий, прямой, веселый, хороший товарищ, смотревший на жизнь всегда сквозь розовые очки. Он нам нравился больше другого нашего главаря Стефановича.

Дебагорий имел большое влияние среди интеллигенции, Стефанович — среди крестьян. Оба они далеко не заглядывали. Цель была намечена, их интересовал, главным образом, практический подход к этой цели. Стефанович проектировал: мы должны лечь костьми при подготовляющемся нами крестьянском восстании, в дальнейшем наше дело продолжат другие; Дебагорий, как истый оптимист, и с другими ободрял: «Поживем еще, не в одном восстании участвуем». Мне казалось, что в тайниках души разделял эту надежду большинство из нас, и Стефанович.

Дебагорий раскритиковал нашу квартиру.

— Какой это притон, когда под боком живут хозяева!

В том же селе нашли отдельную избу с отдельным двором. В этой усадьбе жила девица с своим грудным ребенком. Жених ее обманом родные выгнали из дома, жители относились к ней с презрением. Здорова, крепкая, работающая она, как лвица, защищала своего сына, зарабатывая свой хлеб поденной работой. Изба состояла из большой, высокой комнаты. Дуло от стен и с полу. Была огромная печь, пожирившая большое количество топлива, но помещение не нагревалась. Девица, спасая сына, нашла себе на зиму другой притон. Мы не задумываясь, сняли эту усадьбу, оценив ее лишь с стратегической точки зрения.

Предполагалось устроить целый ряд других притонов. Дебагорий, Стефанович, Вера Засулич уехали по делам в Киев. Коня, корм которого было нечем, отвели в Смелу и сдали на хранение товарищу-пропагандисту. Я остался один в холодной хате. Имевшийся небольшой запас дров у меня украли. Питался одним хлебом. Вывезенный

из Ярославской губернии вши, с которыми при летнем костюме в теплом помещении я кое-как справлялся, перепоили мой ту-тчик. Заходил хозяин нашей старой квартиры, все еще смотревший на меня, как на жениха своей дочки, и предлагал вернуться к нему. Я отказался. Хозяин недоумленно развел руками и ушел.

Через месяц зашел ко мне Лепешинский, вернувшийся из Герцеговины. Он не без некоторого основания хвастал потом, что спасен от смерти, от голода и холода. Лепешинский поделился своими впечатлениями.

По прибытии в Герцеговину их отправили в партизанский отряд. Этот отряд, вооруженный тяжелыми мечами, тревожил турецкую армию, делая внезапные нападения на отдельные части ее. Приходилось делать большие переходы по горам. Русские, непривычные к таким переходам, изнемогали; герцеговинцам приходилось помогать. В сражении русских не пускали: только, мол, мешать будут. На первом же привале русским привели живого барана и сказали: «Кушай». Наши растерялись и не знали, что им делать с бараном. Тогда один герцеговинец, окинув их презрительным взглядом, обна-жил свой меч и одним ударом рассек барана на две половины. Герцеговинцы были недовольны своими русскими соратниками и, исходя из практических боевых соображений, предлагали отобрать у них оружие, а их отпустить домой. Но вожди не соглашались с этим, оружие:

— Русские пришли нас защищать; отогнав их от себя, мы тем самым ослабим симпатии к нам всех сочувствующих нашей борьбе с турками.

Но вот произошло очень горячее сражение. Русские, как это было раньше, не принимали в нем участия, поджигая герцеговинцев в некотором отдалении от сражающихся. Герцеговинцы рубили турецких солдат своими тяжелыми и длинными мечами, но затем, спасаясь от преследования турок, значительно превосходивших их числом, вынуждены были отступить и сделать очень трудный и длинный переход. Некоторые русские — среди них и Ходько — не могли следовать за привычными к таким переходам горами и пришли в полное изнеможение. По приказу своих вождей, герцеговинцы по очереди несли этих измученных людей на своих плечах и тем спасли их от смерти.

После этого сражения русские окончательно убедились, что при данных условиях они не могут принести пользу герцеговинцам и только мешают им. Они отдали свое оружие и вернулись в Россию.

Следом за Лепешинским пришел и Стефанович. Он привез новые директивы от кружка. Наш притон решено было ликвидировать и устроить несколько новых на границе Чигиринского уезда. Вновь проектированные притоны должны быть по возможности изолированы друг от друга, для деловых же свиданий членов кружка в местечке Смеле организован особый пункт на одном из местных по-

стоялых дворов. Хозяин этого двора — продувная бестия — принял нас за компанию очень ловких жуликов или разбойников. Наши подерживали в нем эту уверенность, и он, ожидая от нас всяких благ, обещал укрывать нас.

Ликвидировав свой притон в Корсуне, мы — Стефанович, Лепшинский и я — отправились на вышеупомянутый постоялый двор в Смеле. Здесь мы застали Дебагория, путешествовавшего на нашем подводе по окрестностям и высматривавшего подходящие места для притонов. Дебагорий, увидев меня, пришел в ужас и решил принять за мой ремонт. Предстояло послать одного из нас в Одессу, где проживала часть нашего кружка; Дебагорий настоял, чтобы это поручение было возложено на меня.

Со всей своей живностью я приехал в Одессу. Здесь я застал Дорфмана и примкнувших к нам чайковцев Фроленко, Костюрина и Макаревича. Фроленко, со свойственной ему практичностью, научил меня бороться с «русской пехотой» и тем навсегда избавил от этой гадости.

Все тянулось к Чигирину. Сомнений не было, а если и были, то они не высказывались. Только Дорфман крутил носом и выражал опасение, что затеянное нами дело кончится пучком.

Как-то на святках мы пили чай в одном из одесских ресторанов. Часов в 11 вечера публика сдвинула столы и под звуки органа устроила танцы. Мы смотрели с удовольствием на непривычное для нас великороссов, одесское оживление ресторанной жизни. Один из танцующих подсел ко мне и, умильно глядя на хорошенькую Макаревичу, блиставшую своими прелестными глазами, спросил меня:

— Скажите, — у нас идет спор, — это не переодетый мальчик?

Описанное посещение ресторана за время моего пребывания в Одессе было единственным развлечением, которое позволили себе члены нашего кружка.

Выполнив возложенное на меня поручение, очистившись от всякой скверны и несколько отдохнув в привычной для меня городской атмосфере, я двинулся в обратный путь. На станции Знаменка мне пофортло. С поездом, привезшим меня на эту станцию, отправлялся граф Бобринский в Петербург. У крыльца станции стояли две чужие тройки, запряженные в роскошные сани. Я развалился на еще теплом графском месте и за 30 коп. был быстро доставлен в Смелу.

Здесь развернулась деятельная работа по устройству притона. Вера Засулич и Коленкина сняли комнату в Черкассах и временно жили там пока под видом швей. Дебагорий высмотрел недалеко от границы Черниговского уезда сдававшийся в аренду шинок. Мы с Дорфманом осмотрели это помещение и справились в конторе водочного завода, которому оно принадлежало, о цене. Местное еврейское население, считавшее торговлю в шинках своей привилегией, заволновалось.

На постоялый двор, в котором мы остановились на ночлег, пришла к нам делегация. Евреи говорили, что от аренды намеченного шинка они пока воздерживаются, желая сбить цену, но никому из посторонних они его не уступят. А если мы все-таки, возмнив цену, арендуем этот шинок, то они нас выживут всеми методами вплоть до разбойного нападения на нас.

Вооружать против себя местное еврейское население и воевать с ним не входило в наши расчеты. Да и как мы ни были мало тактичны, все же поняли, что шинок, в котором вечно толчется пьяный народ, для притона не годится.

В то время началась постройка Фастовской железной дороги. Евреи сообразили, что с постройкой этого пути прекратится конный подвоз сахара из Смелы в Знаменку, а потому старались заранее ликвидировать принадлежавшие им на этой дороге постоянные дворы. Один из таких дворов мы пытались купить, но средств на эту покупку не хватало.

Стефанович, наконец, придумал устроить лавочку в местечке Хукаках и посадить туда, в качестве молодых супругов, меня и Коленкина. Взял я соответствующее торговое свидетельство и поехал искать лавочку или просто квартиру в названном местечке. Лавочки не нашел, снял пол-избы, как это было на нашей первой квартире, около Кореуна.

Хозяина моего по уличному называли Мотыкин, в честь жены его Мотыки, которая, по наблюдению его односельчан, верховодила над ним. От отца он унаследовал 6 десятин прекрасной земли, но хозяйство у него не спорилось. Залез в долги. Живой и мертвый инвентарь был отобран его кредиторами. От последнего урожая оставался небольшой скирд проса, но и этот последний ресурс к пропитанию один из кредиторов перевез к себе. А хозяин бродил по опустевшему двору, пел псалмы и покорно воспринимал все обрушивавшиеся на него беды, как испытание, посланное ему от господ. Было у него три дочери. Старшую он выдал за сына богатого кулака, сторонившегося теперь от него, как от заразы; среднюю удалось ему выдать за бобыля, прожившего у него 2 года в качестве дарового работника. Но бобыль, получив в приданое 1½ десятины, отделился от него, так как все, что он зарабатывал, шло на уплату процентов кредиторам. Вся надежда стариков сосредоточилась теперь на младшей красивой дочери-невесте, будущий муж которой обязательно должен поселиться с ними, унаследовать землю и обеспечить их старость. Вместе с невестой и землей приходилось взять на себя жениху и стариковские долги, на это охотников не было. Женихов господь не посылал. Запасливая Мотыка хранила где-то в тайниках небольшую запас гречневой муки, варила из нее огромные галушки, которыми, приправляя их хреном, и питалась вся семья. Даже дворовая собака, к крайнему огорчению хозяев, сбегала от такой пищи.

Наше появление старики приветствовали, как посланную им свыше благодать.

— Словно ангелы с небеси вы явились ко мне, — говорил хозяин нашей новой квартиры.

Приставший к нашему кружку Андришка, приказчик из Харькова, помог мне купить в Смеле небольшое количество бакалейно-галантерейного товара. Взяв этот товар, мы с Коленкиной водворились в Худяках. Товар сложжили в небольшой кладовке. Изредка нас навещали покупатели. Хозяин наш, кажется, все еще принимал за ангелов, так как, не имея достаточных доходов от торговли, очевидно, казалось ему, питались амброзией. Но соседи, обладая более пылким воображением, смотрели на нас подозрительно, задавая себе вопрос:

— А с каких это доходов живут эти странные лавочники?

Жить было скучно. В конспиративных целях пропагандой мы могли заниматься, книг не было. По вечерам сходились около хатки, сидя на завалинке, вели разговоры с хозяином и его соседями, пытались выпятить их взгляды на передел земли и добыть сведения о Фоме Прядко. В этих разговорах преимущественно не мы поучали, а они нас, передавая нам бродившие по селу легенды. Эти легенды послужили мне впоследствии материалом для составления корреспонденции из Чигирина, напечатанной в первом номере газеты «Начало». Фактически правильно в ней описан, как потом говорил мне Стефанович, лишь арест Фомы Прядко.

Притоном нашим Стефанович воспользовался только один раз. С марта месяца поселился у нас Лепешинский. Хозяин немедленно олюбил его в женихи к своей дочке.

Верстах в 10-ти от нас проживали Фроленко с Верой Засулицей. Были и еще где-то притоны, но я о них не знал.

В церковь мы не ходили. Это волновало попа, опасавшегося расширения в своем приходе штундизма. Через волостное правление, когда наступил великий пост, он потребовал, чтобы мы шли к нему на исповедь. Это было очень неприятное для нас требование. Товарищи не хотели идти и решили, что достаточно будет, если пойдут один я, как хозяин квартиры.

Без предварительных посещений церковных служб я пошел прямо на исповедь. В церкви стояла целая толпа исповедников. Священник, сидя среди церкви, справлялся с этой толпой очень быстро, покрывая своей епитрахилью сразу по три-четыре головы. Такая грубая исповедь меня ободрила. Я примостился к одной из групп, окруженный с двумя другими крестьянами под поповскую сень. Но священник властной рукой меня отстранил и, быстро окончив исповедь моих компаньонов, пригласил одного меня к своей исповеди.

— Почему жена твоя не пришла на исповедь? — первым делом спросил поп.

— Она единоверка, исповедывалась в Черкассах.

— А она точно твоя жена? И в паспорте твоём значится?

Получив утвердительный ответ, поп успокоился. Единоверцев он не боялся, он опасался штундистов. Исповедь быстро закончилась.

Время шло, наступила весна. Пора было приступить к действию: организовать конные отряды и поднять восстание. Но средств не было. У Чубарова затянулось дело по ликвидации его Пензенского отряда, у Стефановича — его переговоры с чигиринцами, арестованными в Киеве. Об организации конного отряда можно было только мечтать, что мы и делали, а на деле, за отсутствием средств, пришлось ликвидировать даже нашего единственного коня. По тем же причинам был поднят вопрос о ликвидации большинства наших притонов и о реорганизации деятельности нашего кружка.

Для решения этих вопросов было создано собрание на упомянутом постоялом дворе в Смеле. Дебагорий, опасаясь, что большое стечение народа запугает хозяина двора, купил для него в Киеве дюжину серебряных ложек и преподнес их ему, как его долю в добыче шайки, предупредив, чтобы он был осторожен при их ликвидации.

Всего на собрание съехалось 14 человек. Помнится, что там были: Дебагорий-Мокриевич, Стефанович, Засулич, Коленкина, Макаревич, Ковалевская, Малинка, Фроленко, Дейч, Лепешинский, Ходько, Чубаров, Дробязгин и я. Товарищ-пропагандист, конечно, на нашем собрании не присутствовал, но он передал нам тревожное известие. Приятель его, инженер-химик, сообщил ему, что местный исправник, присутствуя на каком-то увеселительном собрании смелянской интеллигенции, проболтался, что вверенные ему полицейские агенты выслеживали в Смеле и ее окрестностях большую шайку разбойников. Разбойники эти, пояснил исправник, не грабят по мелочам, а ищут только крупных дел; но, добавил он, не беспокойтесь, они все у меня на виду и будут захвачены на месте преступления.

Это обстоятельство побудило нас к ускорению ликвидации наших притонов, но вместе с тем и успокоило на ближайшее время, так как мы были уверены, что полиция, желая накрыть «шайку» на каком-либо воровском или разбойном деле, пока не примет против нас репрессивных мер. При царях уголовные преступники имели привилегию перед политическими: их не могли арестовать зря, без надлежащего повода. Этой привилегией мы воспользовались, спокойно продолжая свое собрание.

Прежде всего, мы решили произвести чистку кружка, перебаллотировать всех своих членов. Усадили Стефановича в отдельную комнату, все наличные члены ходили к нему поодиночке, как к попу на исповедь, и ставили в списке членов кому плюс, кому минус. Все члены, как потом говорил Стефанович, отнеслись к перебаллотировке очень строго, тщательно и всесторонне взвешивая каждого из своих собратьев. Только Фома, вошедший к нему, сказал просто: «ставь

всем по плюсу, чего там разбираться». Единогласно были переизбраны только Стефанович и Лепешинский, все остальные, наряду с плюсами, получили и минусы. Дорфман, как маловерный, был исключен из числа членов. Я получил 7 плюсов и 6 минусов. Это показалось обидным. Я хотел выйти из кружка, но Лепешинский уговорил меня остаться, да и мне не хотелось расставаться с этим чудным паренком. И на что было обижаться: я был таким же маловерным, как и Дорфман¹.

Покончив с чисткой кружка, результатами которой многие остались недовольны, мы приступили к вопросу о реорганизации кружка. Дебагорий предложил разбить кружок на 3 части, предоставив каждой группе особую сферу деятельности. Одна группа должна была продолжать агитацию и организацию среди крестьян, другая — среди интеллигенции и третья — организоваться в шайку для добычи денежных средств путем ограбления почт, помещичьих усадеб и проч. Точно не помню распределения наших членов по этим группам. Оби наши вожака попали в первую группу, а я и Лепешинский — в третью. Атаманом разбойничьей шайки был избран Ходько, принявший это назначение, как было видно, весьма неохотно. Третьей группе было уже намечено и дело. Какой-то паренек из Елизаветграда предложил ограбить своих родственников — помещиков и поехал к ним для изучения деталей предстоящего дела. Сборным пунктом для третьей группы был назначен Елизаветград.

Поговорили и разошлись. Коленкина, Лепешинский и я возвращались в Худяки. На полдороге догнал нас какой-то подозрительный человек с серьгой в правом ухе, что было в моде у полицейских и жандармских чинов того времени. Ехал он на подводе. Остановив коня, он допросил нас о местожительстве и роде занятий. Получив от нас точную справку, он поехал дальше. В Худяках, когда мы проходили мимо волостного правления, нас задержали, произвели обыск в наших вещах. Ничего подозрительного не было найдено. Личного обыска не произвели, револьверы остались при нас. Меня и Лепешинского за-

держали при волости. В компании шести десятских мы расположились спать. Часа через два меня выпустили. Было уже темно, когда я вернулся домой. Мы очень беспокоились с Коленкиной об участии Лепешинского и решили, что на другой день утром я пойду на квартиру волостного писаря и предложу ему взятку за освобождение нашего молодого приятеля. Но, к счастью, рано утром приятель вернулся; законных причин к его задержанию не было. Предложением взятки я мог только ему и себе повредить.

¹ В данном случае воспоминания Н. К. Буха расходятся с тем, что сохранилось в памяти М. Ф. Фроленко. «По моему, — пишет М. Ф. Фроленко, — шел вопрос не о чистке, а о выборе инициативной, как тогда выражались группы, т.-е. центра, который ведал бы все дела и отчасти являлся бы руководителем для отдельных лиц и их начинаний. Мы не только должны были жить в разных деревнях, но и имели разные задачи. Вследствие этого собираться часто для решения текущих дел мы не могли; устраивать съезды было нелегко. Поэтому и нужен был центр, состоящий из небольшого числа всем известных и отличающихся инициативностью лиц. Однако, повидимому, как видно из воспоминаний Буха, не все почему-то знали о цели баллотировки и потому-то явилась обида, когда некоторых не выбрали. Баллотировка была тайная. Однако, Стефанович, не знаю с какой целью, показав некоторым баллотировочные листы, действительно возбудил целую бучу. Но это было его дело, никакой чистки не происходило. Никого не вычистили, а выбрали Мокриевича, Ковалевскую, Стефановича и меня, а может быть и еще кого-нибудь». *Ред.*

IX. В ГОРОДАХ УКРАИНЫ.

Лепешинский, не теряя времени, направился пешком в Елизаветград. Я нанял подводу, доставившую меня и Коленкину на пароходную пристань в Черкассах.

В Елизаветграде собралась большая компания. Занимали одну комнату, спали на полу, питались всухомятку. Такая компания, конечно, немедленно обратила на себя внимание жителей и полиции. Но мы догадались выдать себя за актеров, и все сошло благополучно.

Намеченное ограбление усадьбы помещика не состоялось. Такого рода деятельность нас отталкивала от себя; и юноша, поехавший на предварительное исследование, попал к своим родственникам и будучи обласкан ими, конечно, не решился на столь коварное предательство.

Разделение нашего кружка на 3 группы, как это было намечено в Смеле, не привилось. Дело с восстанием было отложено. Большинство членов раз'ехало по разным делам. Макаревич поехала в Швейцарию, чтобы купить там печатный станок, шрифт и другие типографские принадлежности, необходимые для печатания манифеста. Ей же Мокриевич поручил повидать Бакунина и, изложив ему наше дело, спросить его мнения о нем. Чубаров поехал к брату, обещавшему свое содействие по ликвидации его прав на часть имения, находившегося пока в их общем пользовании. Дебагорий с Дробязгиным отправились в деревню, где надеялись расширить нашу связь с крестьянами. Стефанович поехал в Кишинев, рассчитывая завести там сношения с местными революционерами-контрабандистами, переправлявшими через русско-румынскую границу заграничные революционные издания. Через этих контрабандистов он надеялся переправить в Россию печатный станок, который Макаревич обещала отправить из Швейцарии в Ясы. Дейч и наш атаман Ходько — «Марты» — поехали в Кременчуг. Из Кременчуга Ходько скрылся и больше в кружке не участвовал.

В Елизаветграде остались я, Лепешинский и еще кто-то. Поселились мы у местного частного поверенного Краева. Краев был способный малый, пробивший себе дорогу из волостных писарей и любивший широко пожить. Казалось, что с социалистами он являлся лишь потому, что эти знакомства в его глазах придают

у известного модно-адвокатский блеск и оправдывают его легкое отношение к женщинам, которое он пытался окрасить идеями нигилизма. Местных социалистов в Елизаветграде было очень мало. Встретили мы Майданского, так жестоко поплатившегося за наше короткое знакомство с ним. Это был симпатичный, скромный молодой человек из местной бедной еврейской семьи. Он отбывал в то время пенитенциарную повинность в качестве военного фельдшера.

— Я поступил в военные фельдшера, — говорил он мне, — чтобы по окончании срока службы поселиться в деревне и вести там пропаганду социалистических идей.

Срока своей службы ему окончить не удалось. Он скоро был арестован и затем по приговору военного суда повешен в Одессе, а его родители с малыми ребятами административно сосланы в Сибирь.

Майданский познакомил нас со своим родственником, мелким лавочником. Этот лавочник только что прочитал Лассалю и был в восторге от его идей.

— Чем я был, — говорил он, — 3—4 месяца назад? Темный доверк, интересовавшийся только своей торговлей. Предложи мне бирармы 5 рублей, и я за эту бумажку вас предал бы им. Но теперь... Если они принесут мне мешок золота, я брошу им эти деньги зад и ни одного слова о вас они от меня не добьются.

Говорил он это искренно, как бы сам удивляясь своему превращению из обычного мелкого лавочника в убежденного социалиста. Были и другие лица, примыкавшие к местному революционному кружку, но мы их видели только мельком, они находились вне нашего горизонта. Приезжал из Николаева Савелий Златопольский, пользовавшийся авторитетом среди местных революционеров. Он относился к нам с большим уважением, но мы как-то не сошлись с ним и не пытались сблизиться. В 80 году Савелий был избран членом исполнительного комитета Народной Воли.

Через Краева я достал адрес, давший мне возможность возобновить сношения с братом Львом, который все еще продолжал работать в комиссии о подоходном налоге. В связи с этой работой он был назначен чиновником особых поручений при министре финансов. Это был большой шаг по его службе. Но брат не был карьерист, только работа в комиссии интересовала его, так как в установлении подоходного налога в России он видел приближение нас к конституционному образу правления. Брат выслал мне немного денег, кой-то из костюмов и выразил желание повидаться со мной. Мне очень хотелось выполнить его желание, но как поехать в Петербург? Разъезды мои со столицей были прерваны. Что стало за эти два года Ободовской, Поповым и другими? За два года мы так много пережили, что этот срок нам казался очень большим.

Из этого затруднения вывел меня вернувшийся в Елизаветград Дейч. С свойственной ему энергией он ухватился за мою мысль. Как мне, ему захотелось встряхнуться и повидаться со своими род-

ственниками и знакомыми. Да и Петербург его интересовал, он там еще не был. В Петербурге жили его отец, две сестры-студентки находившийся с последними в дружеских отношениях приятель Дейча, Фесенко.

Мы быстро собрались и поехали. По пути побывали в Харькове, виделись с Лидией Барышевой, сестрой Маруси. Она принадлежала к тем, которые, руководствуясь только слухами, воображали меня каким-то вшивым чудовищем. В первый же день нашего знакомства она призналась мне: «Я тебя представляла совсем, совсем другим».

В Харькове мы пробыли, кажется, всего один день и двинулись дальше. В том же отделении вагона, в котором мы ехали, два жандарма везли неизвестного нам политического арестанта. Мы ехали в легких костюмах, имея при себе лишь по небольшому узелку, главное содержание которых заключалось в двух коробках революционных верных патронов. Мы не скрывали от публики, что едем в Петербург. Пассажиры не верили, что при таком легком снаряжении можно двигаться так далеко, и посматривали на нас подозрительно, предполагая, что имеют дело с жуликами. Но наш товарищ политический оказался более прозорливым. Желая показать нам, что он угадал в нас своих соратников, он похлопал по своим ботфортам и, обращаясь к жандармам, сказал:

— Эти сапоги называются радикальскими.

На одной из остановок, когда мы прогуливались по платформе вдоль нашего поезда, Дейч, сам признающийся в своих воспоминаниях, что у него в то время «чесались руки», предложил мне:

— Давай, освободим этого товарища.

— Как же мы его освободим? — спросил я.

— Под'езжая к Москве, мы застрелим жандармов и, когда поезд замедлит свой ход, выскочим с площадки вагона на полотно.

— Но пожелает ли следовать за нами товарищ, обвиняющийся возможно, по какому-либо самому пустячному делу? И куда мы денемся. Мы не знаем Москвы и не имеем там знакомых.

Дейч не возражал. Два рослых, здоровых жандарма остались живыми, надо полагать, благополучно выполнили возложенное на них поручение. Мы двинулись дальше.

Не буду подробно описывать наше пребывание в Питере. Это уже сделал Дейч. С большим трудом мы разыскали Фесенко. Фесенко нашел нам приют в коммуналке. Среди коммунаров я встретил своих знакомых, соратников по 1874 году: Воскресенского и Тищенко будущего землевольца и миллионера-нефтяника. Если в числе их был Плеханов, то, признаюсь, «слона-то я и не приметил». Представляя нас коммунарам, Фесенко не без трагичности в голосе и жестами сказал:

— Вот два нелегальных. Они приехали с юга. Если их арестуют, они будут расстреляны.

Коммунары, пораженные такой рекомендацией, смотрели на нас удивлением, смешанным с ужасом и беспокойством за нашу участь. Не мог удержаться от насмешливой улыбки. Фесенко строго посмотрел на меня, как бы говоря:

— Тебя-то, может быть, и не расстреляют, но Дейч, как беглый солдат, в случае ареста, не избежит этой участи.

Фесенко по своей комплекции и складу своего ума напомнил мне революционного, но не был таким аскетом, был значительно опрятнее своего костюма и имел под собой более твердую революционную почву. Он прочитал первый том «Капитала» Маркса, был увлечен им на исторические события прошлого и будущего смотрел сквозь очки этого мыслителя. Как-то экзаменуя — такая уж у него была привычка — он спросил меня:

— А как вы думаете, какие причины обусловили собой падение Царского Новгорода?

— Экономические, экономические и эконо-но-мические, — кратко отвечал я, а сам подумал: «вот еще один человек, который, подобно мне и Пыпину, натолкнулся на этот вопрос и мечтает погрузиться в чтение летописей». Пыпина я перед этим встретил уже в общественной библиотеке и застал его над изучением летописи Пестора. Из своих товарищей по кружку 1874 года я виделся с Троимовым и Поповым. Оба они в этот период были очень заняты подготовкой к предстоящему экзамену в Мед.-Хир. Ак. С братом, Львом, виделся раза три. Он, как и раньше, убеждал меня ехать за границу и окончить там ВУЗ. Нельзя, говорил он, решать сложные социальные вопросы без достаточной к тому научной подготовки. Я соглашался с ним, но возражал, что ВУЗ требуемых знаний не дает, что знания эти можно почерпнуть только из книг при систематическом подборе и изучении их. О предстоящем участии моем в предполагаемом чигиринском восстании я не говорил ему. Я не имел права говорить, да и самая мысль об этом восстании мне казалась фантастичной.

Второй съезд наш в Елизаветграде состоялся в июне. К съезду, при участии Краева, сняли небольшой дом с отдельным двориком и садом. Здесь поместилось человек 12 мужчин и женщин. Столовались у стариков Майданских. Как-то в сад зашел к нам городской и признался:

— Соседи ваши жаловались полиции: «подозрительные, мол, люди поселились, как бы не ограбили кого». Известно, народ необразованный... Поручили мне досматривать. Обязанность наша такая. Ночью через ставень к вам в окно заглядывал. Вижу: господа, книги читают, меж собой так благородно разговаривают. И облик не тот. Разве так себя ведут те, что насчет грабежа промышленности. Посмеялся, успокоил людей, а то вся улица на вас поднялась.

Городовой, очевидно, успокоил не только наших соседей, но и полицию. Документов от нас не требовали.

Народ все прибывал. Приехала из-за границы Макаревич. Типографские принадлежности она купила и переправила их в Яссы. Виделась она и с Бакуниным. Старик был уже очень плох. Ознакомившись с проектом нашего кружка относительно поднятия крестьянского восстания путем подложного царского манифеста, Бакунин отнесся к нему отрицательно. «Нельзя, сказал он, шить черным костюм белыми нитками, они сейчас же выступят по всем швам». Кружок приуныл. Но вот приехали из деревни Дебагорий и Дробязгин. По их возбужденным лицам можно было догадываться, что они привезли важные известия.

— Ну, как дела, — спросил я у Дробязгина.

Последний, уклоняясь от ответа, сказал:

— А вот Мишка расскажет.

Этот ответ мне не понравился. Мишка любил рисовать все в розовом свете, от Дробязгина я ожидал более объективного освещения. Мишка ходил взволнованный, ожидая, когда соберутся все наличные члены кружка. Отзыв Бакунина о нашем проекте его не смутил.

— Старик плох уже, потерял свой революционный пыл.

Впоследствии этот отзыв Бакунина возымел на Дебагория свое влияние, но в данный момент он не соответствовал его настроению. Когда собрались все бывшие в Елизаветграде члены кружка, Дебагорий сделал нам доклад о своей поездке. Товарищ Дробязгин был учителем в одном из окрестных сел. Он сблизился с крестьянами своего села и вел между ними пропаганду. По каким-то обстоятельствам учитель вынужден был покинуть свое место. Он уехал, обещая крестьянам, что или сам он вернется или придет к ним кого-либо из своих товарищей-революционеров. Выполняя это обещание, учитель передал свои связи в этом селе Дробязгину. К этим-то крестьянам последний и поехал вместе с Мишкой. Встретили очень радушный прием. Они вели пропаганду, ходили в поле, стреляли в цель из револьверов. К нашему проекту крестьяне-революционеры отнеслись весьма одобрительно, говоря, что именем царя они легко поднимут все окрестные волости.

Все это было так картинно изложено Дебагорием, что напрашивался вывод, который и был им сделан: пора начинать, чигиринское восстание будет поддержано окрестными селами и может принять грандиозные размеры.

Под влиянием созданного Мишкой настроения было решено, что к осени мы сформируем конный отряд, который именем царя будет побуждать крестьян к восстанию. Отряд должен сопровождать землемера со всеми своими атрибутами. По мере занятия сел землемер немедленно приступит к переделу земли по числу наличных мужских душ населения. Предполагалось, что крестьяне, получивши по участку земли, будут защищать их всеми своими силами и что слух о состоявшемся переделе земли будет склонять к нам симпатии всех ближайших сел. Обязанности землемера кружком были возложены на

меня. Землемерными работами никто из нас не занимался, но предполагалось, что для человека, знакомого с математикой в размере гимназического курса, достаточно взять несколько практических уроков, чтобы овладеть этим искусством. Кто же даст мне эти уроки? Макаревич имела в Кишиневе знакомого офицера соответствующей специальности. Она взяла на себя труд познакомить меня с ним.

Началась разгрузка Елизаветграда. Стефанович, Макаревич и я отправились в Кишинев. Перед нашим отъездом было получено известие, что из киевской тюрьмы выпущен Горинович, который, как то было установлено, оговорил многих из своих товарищей по киевской коммуне, по процессу 193-х. Освобождение его было вполне естественно, но казалось в высшей степени странным, что, свободившись от тюремного заключения, Горинович стал разыскивать оговоренных им Дебагория и Стефановича, утверждая, что он идет с ними продолжать революционную деятельность. Нам писали, что Горинович уже узнал о месте пребывания разыскиваемых им товарищей и едет в Елизаветград. Это известие, повторяю, было получено перед самым нашим отъездом, и тогда кружок еще не успел решить, что же ему делать с этим странным и упорным «товарищем».

В кишиневской тюрьме сидел некоторое время Костюрин, приехавший по делу пропаганды 1874 года. Макаревич навещала его в качестве его невесты. Конвойные офицеры, пораженные духовной и физической красотой Макаревич, охотно служили посредниками в нелегальных сношениях жениха и невесты. Таким образом у Макаревич завязались обширные знакомства среди офицеров кишиневской гарнизона. На квартире одного из таких офицеров Макаревич поселила меня и Стефановича. Офицер был холостяк, занимал комнаты, переднюю и кухню. Он редко бывал дома. Прислуживался его денщик, вошедший с нами в дружеские отношения. Стефанович хлопотал о перевозке типографских принадлежностей, ведя переговоры по этому делу с местными революционерами-контрабандистами.

Макаревич познакомила меня с офицером, взявшимся научить меня землемерному искусству. У офицера этого была старая, вышедшая из употребления астролябия. Он продал ее нам и в 10 минут «обучил» меня землемерному делу. Он вынес астролябию на двор своей квартиры и спросил меня:

— Вы, говорят, знакомы с геометрией и тригонометрией.

— Знаком, — отвечал я.

— Ну, тогда это очень просто. Разбиваете поле на соответствующие геометрические фигуры: треугольники, квадраты и т. п. Измеряете одну сторону, астролябией определяете углы, а затем, по соответствующим формулам, определяете площадь полученных фигур. Вам нужно только попрактиковаться, но такой практикой не сове-

тую вам заниматься в окрестностях Кишинева. Вас могут принять здесь за военного шпиона и арестовать. Практикой займитесь где-нибудь подальше от границы.

Вот и все. Это я и без него соображал, а теперь сообразил, что хозяин астролэбии опасается влететь с нами в скверную для него историю. Заплатил я деньги офицеру, а астролэбию он прислал к нам с своим денщиком. Где же я буду заниматься практикой? И нужно ли ей заниматься? Состоится ли проектируемое восстание? А если состоится, то будет ли время для моих занятий землемерием. Я рисовал себе картину так: приезжаю с отрядом в волость, требую сведения о количестве мужских душ и о количестве земли у крестьян и у соседних помещиков, если таковые окажутся. Произвожу деление земельной площади на число ревизских душ и объявляю, что у каждой души приходится приблизительно столько-то земли. Точно же количество земли, приходящееся на каждую душу, можно будет выяснить лишь тогда, когда выяснится число душ в соседних селах и точно обмерим вот этой астролэбией всю землю.

Эти землемерные размышления были прерваны тревожным известием из Елизаветграда. Приехал туда Горинович, поведение его казалось весьма подозрительным, а потому решено было с ним покончить. Это известие нас взволновало: и убийство было чуждой нашей душе, и являлось опасение, что расправа с Гориновичем навредит на наш след жандармов и подрвет дело восстания в самом его зародыше.

Дней через 5 по получении этого известия приехал к нам Дейч. Волосы его были окрашены в золотисто-зеленый цвет. Одна из его окраска волос могла навести на него подозрение и выдать его с головой. Дейч рассказал, что выполнение казни над Гориновичем было поручено ему и Малинке. Они сами предложили свои услуги. Для сокрытия следов убийство решено было совершить в Одессе. Как совершить казнь? Кто-то где-то вычитал или слышал, что если серная кислота попадает на обнаженный мозг, то это вызовет моментальную смерть. И вот создался план: исполнители казни вылезут вместе с Гориновичем на товарной станции Одесса, заведут своего жертву в пустынное место; Малинка бьет Гориновича по голове кистенем, Дейч поливает раздробленную голову Гориновича серной кислотой. Казалось, что все придумано хорошо: страдания Гориновича будут сведены к минимуму, серная кислота раз'ест его лицо, жандармы его не узнают.

Так бы оно вероятно и случилось, но Малинке не удалось разбить голову кистенем, а потому и получилась необычно жестокая расправа с этим несчастным юношей. Облитый кислотой Горинович поднял крик. Исполнители казни бежали. Горинович был помещен в лазарет. Он ослеп, лицо его обезображено. Ему было разрешено носить маску. На первом же допросе этот горе-революционер открычно предал своих товарищей. В Елизаветграде он указал на Ма-

анского, не знавшего о готовящемся покушении на его жизнь. Майманский был повешен. Палачи вернее исполнили приговор над этим виновным юношей, чем революционеры-мстители над Гориновичем.

Когда волосы у Дейча несколько отросли, явился возможность уничтожения следов от неудачной окраски и освобождения их носителя из карантина, я собрался в Одессу. Помню последний вечер перед отъездом. В квартире были только я и Дейч. Мы стояли у окна. Дейч заметил, что Дейч с ужасом смотрит в один из темных углов освещенной комнаты.

— Что с тобой, — спросил я.

— Мне показалось, что в этом углу стоит Горинович, — ответил Дейч.

Астролэбию свою я оставил «пока» в Кишиневе. Больше я ее не видел и не справлялся об ее судьбе. В Одессе я встретил Фроленко, Габеля, только что вернувшегося из-за границы, Дорфмана и других. Фроленко показал мне 40—50 револьверов старого офицерского образца, замененных в армии уже лет восемь перед тем соответствующим оружием с центральным боем. Револьверы эти он купил у старьевщика в Петербурге или Москве. Я насмешливо посмотрел на это старое оружие, подумав: вот что мы теперь имеем возможность противопоставить всей силе царской армии. Фроленко заметил мое скептическое отношение к его покупке и выразил на своем лице неудовольствие.

Вместе с Габелем приехал из-за границы какой-то пылкий юноша. Он советовал итти в деревню и сжигать там помещичий и крестьянский хлеб.

— Вы признаете, — говорил он, — что голод служит одним из факторов революции? Так почему же не создать его искусственно?

— А если вас поймают, если крестьяне узнают, что революционеры поджигают их хлеб?

— Мы не допустим своего ареста. В крайнем случае мы пустим себе пулю в лоб.

Не знаю, куда девался этот юноша, но проект его не был приведен в исполнение.

Дорфман был возмущен варварской расправой с Гориновичем и перешептался, что его возмущение разделяют почти все революционеры города Одессы.

— Это жестокое покушение на убийство, — говорил он, — тем более возмутительно, что, как установлено, Горинович никакого отношения к жандармам не имел и искренно хотел вернуться к революционной деятельности.

— Я сомневаюсь, — отвечал я, — не верю этой искренности. Если Горинович стремился к революции, то почему же он своим предательством дважды затормозил ее; в данном случае, он мог негодовать на своих товарищей, по ошибке своей так жестоко с ним расправившихся, но я не понимаю, как мог он перенести свою злобу на

революционную деятельность, выступить против нее в союзе с жандармами, если, как ты говоришь, он искренно к ней стремился.

Приехал в Одессу Стефанович. Как-то мы зашли с ним в квартиру, занимаемую группой семинаристов-болгар. В числе этих болгар был и Стамбулов, рассказавший нам много эпизодов из героической борьбы болгарских четников с турецкими войсками. Это был очень энергичный человек, он принимал уже, по его словам, непосредственное участие в деле освобождения своей родины. Стамбулов вел в это время переговоры с русскими военными властями о передаче болгарским четникам вышедшего из употребления войскового оружия, хранившегося в большом количестве в одесском и киевском арсеналах. А мы подстерегали: нельзя ли будет воспользоваться частью этого оружия и для подготовлявшегося восстания в Чигирине. Не знаю, исполнили или нет военные власти просьбу Стамбулова, но к нам из одесского и других воинских арсеналов не попадали единого ружья.

Из Одессы с одним из своих товарищей — кажется это был Стефанович — мы отправились в Харьков. Поехали через Николаев. Избрали этот путь, так как он извлек нас от проезда через Елизаветград, куда, по указанию Гориновича, был направлен сыск, и с целью позондировать николаевские революционные кружки, узнать насколько можно рассчитывать на поддержку их в случае чигиринского восстания.

Революционные силы Николаева сосредоточивались около Виттенберга, на его квартире, находившейся в центре города, в первом этаже, с окнами на улицу. В этой квартире, как в муравейнике, с утра до вечера копошились николаевские радикалы, ведя между собой споры по практическим и теоретическим вопросам. Во главе стоял Виттенберг. Он произвел на нас впечатление энергичного, умного и образованного человека. Николаевским радикалам мы, конечно, не сообщили о проекте чигиринского восстания, находившегося еще в подготовительном периоде, но из имевшихся у нас с ними переговоров для нас было ясно, что в случае нужды мы можем рассчитывать на их поддержку. Только не на материальную, финансы у них, как и у всех из нас, были в очень скудном состоянии.

В Николаеве нам предстояла ночевка. Нас отвели к двум молодым людям, снимавшим в еврейском семействе комнату и кухню. Кухню они обратили в кузницу. Один из них был высокий бронет, другой блондин среднего роста. Оба плечистые и сильные. Они покупали на базаре старые негодные напильники и делали из них хорошие кинжалы. Оба они, как я потом узнал, приняли участие в сербско-турецкой войне и, защищая Сербию, сложили свои головы.

В Харькове собрался почти весь наш кружок. С некоторыми из членов его я познакомился только здесь. К таковым принадлежали: Федька Курицын и вертевшийся около нас брат его, студент-медик — дети местного старшего приказчика одного из винных подвалов;

Максимка» Лишофаев и «Березин» — Студзинский. Что привлекало уричных к революционной деятельности? Социализм был чужд их душе. Сострадание к угнетенным, готовность жертвовать для них своими интересами — в них отсутствовали. Думаю, что привлекала их привольная, самостоятельная жизнь революционеров, в ярких распах изображенная им нашим лидером Дебагорием-Мокриевичем. Полной противоположностью им был «Максимка». Чувствовалось, что этот человек всегда готов пожертвовать своей жизнью, но он имел одну общую со мной черту. Он был скептик. Предлагаемые ему пути к революции казались ему сомнительными, не приводящими к цели. Правда справедливости горела перед ним ярким светом, но правда истины? Он тщетно стучался в эту дверь, она не раскрылась перед ним. Это было мучительно, это составляло трагедию его жизни. «Березиным» — Студзинским мне не пришлось сблизиться. О нем не составил себе ясного представления. Из 4-х только что названных лиц «Березин» один пополнился продолжительной каторгой и сылкой за свою революционную деятельность.

Из товарищей, стоявших близко к нашему кружку, но не призывавших к нему, отмечу: молодого, красивого, стройного Федора Яблонина, учителя русского языка, всегда ходившего в изящном костюме и увлекавшего поэзией; Мандельштама, учившегося в Швейцарии, познакомившегося там со многими эмигрантами и оказывавшего теперь нам много мелких услуг, и еще 2-3-х гимназистов старших классов 1-й Харьковской гимназии, фамилий которых не припомню. Был еще в Харькове небольшой кружок Глушкова, впоследствии эмигранта и профессора химии в Аргентинской республике. Кружок этот находился в то время под надзором полиции, а потому мы из конспиративных целей несколько сторонились от него.

Большинство членов кружка ютились под видом актеров в небольшой комнате, снятой нами на углу Жандармской площади и Гончаровского бульвара. Бульвара еще не было, была пыльная улица. Как-то в соседнем доме пропало пальто. Подозрение было высказано на нас. Пришел городской и отобрал наши фальшивые документы. Мы не двинулись с места. К счастью, пальто скоро нашлось, и наши документы, без прописки их, были нам возвращены.

Средств не было. Приходилось их зарабатывать трудом. Коленикина обшивала харьковских модниц, Барышева переписывала ноты, Маруся и Аня поступили в хор оперетки, игравшей в одном из местных садов. Березин переписывал роли, Дейч проектировал ограбление почты. Я пошел на телеграфную станцию.

— Не нужен ли вам телеграфист?

Старший телеграфист, по виду добрый парень и хороший товарищ, внимательно посмотрел на меня; мне показалось, что я ему понравился.

— Да, — сказал он, — мы как раз увеличиваем штат в виду двигающихся военных действий. Но вас предварительно нужно экзаменовать. Вот вам лист бумаги, садитесь и пишите, я буду диктовать.

Телеграфист, прохаживаясь по комнате, симпатично поглядывая на меня и стараясь отчетливо произносить каждую букву, отчеканивал:

— «Сим удостоверяю, что я (такой-то) ни к каким тайным обществам и масонским ложам не принадлежал, не принадлежу и не буду принадлежать».

— Отлично, — сказал телеграфист, просматривая мое отречение. — Вот это удостоверение вы подпишете и приложите к своему заявлению. Вы может быть и иностранные языки знаете?

— Знаю немного французский и немецкий.

— Ну, нам многого и не требуется. Но это потом, пока мы вас примем на младшую должность. А документы у вас при себе? Покажите.

— Это недостаточно, — сказал он, — просматривая мой фальшивый паспорт, нужно еще метрическое свидетельство. Это пустяк, — продолжал он, заметив мой огорченный вид; — вы напишите в консисторию; если через недельку не вышлют, зайдите к нам, мы от себя затребуем.

«Пустяк», — подумал я, побрел в свое логово и рассказал товарищам о своей неудаче.

— Ха, ха, ха, — рассмеялся Малинка, — еще хорошо, что они непосредственно не вступили в переписку с консисторией, отобрали предварительно от тебя документ. Вот была бы штука... Лучше поспулай с нами на железную дорогу, там, говорят, никаких документов не требуют.

На железные дороги решила поступить целая компания: я, Малинка, Андриюшка-приказчик и еще кто-то. Но к кому обратиться? Конечно, решили мы к начальнику дорог. Мы пошли на вокзал.

— Начальник железной дороги здесь? — спросили мы у какого-то железнодорожного чина.

— Какой? Курск-Хар.-Сев., Иванов-Мясоедов? Здесь, здесь. Подождите у этой двери, он сейчас выйдет.

Мы уселись на соседней скамейке и уставили свои глаза на таинственную дверь. Дверь открывалась и закрывалась, входили и выходили из кабинета разные лица, но по их угнетенным и пугливо-встревоженным фигурам мы каждый раз безошибочно догадывались, что это не тот, кого мы ждем. Но вот, наконец, дверь широко открылась и из кабинета вышел высокий важный господин в шикарном пальто и цилиндре. Мы разом вскочили и, как стая собак, окружили этого гордого франта.

— Мы желаем, — сказал от имени всех нас Малинка, — поступить на железную дорогу. Нет ли у вас свободных вакансий?

Окинув нас презрительным взглядом, Иванов-Мясоедов процедил сквозь зубы:

— Мест нет.

Мы были в практических делах настолько опытные, что наивно ему поверили, и больше никаких попыток к поступлению на службу не только на К.-Х.-С., но и на Хар.-Ник. жел. дор. не делали.

Меня рекомендовали одному из частных доверенных в секретари. На третий день своей службы я в спешной бумажке, данной мне для переписки, вместо присущего глаголам окончания «ться» написал «тца». Это послужило причиной моего увольнения.

Кружок наш переживал кризис. Мы собирались в Основянском лесу, стреляли в цель и обсуждали программные вопросы. Мысль о сибиринском восстании не была оставлена. Но восстание это требовало подготовки. Подготовку его взял на себя Стефанович. Для этой подготовки ему не требовалась целая орава людей. Стефанович пригласил к себе в помощники: Дейча, Бохановского для устройства типографии, и, как единственного из нас богача, — Чубарова. Остальные, пока что, до организации отряда, чувствовали себя не у дел. А пить, есть нужно было. Дебагорий организовал театральную труппу и поехал давать представления по уездным городкам. Лепешинский и Дейч получили места учителей и уехали в деревню к каким-то помещикам. Коленкина продолжала шить. Малинка уехал в Полтавскую губернию. Я написал брату, просил выслать деньги на имя студента Курицына. Как потом оказалось, брат выслал мне деньги, но Курицын ни письма ни денег мне не передал. Хотя я ясно видел, что Курицын чувствует себя в моем присутствии крайне неловко, но черных мыслей против него я не имел, объясняя себе молчание брата какими-нибудь неизвестными мне причинами. Положение мое было трудное. Но как-то на улице я встретил знакомого мне студента-математика.

— Нет ли уроков? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Я сам ищу уроков. Вот сейчас был на Конторской. Взрослый ученик, сам живет в семье в качестве учителя, занимается с детьми младшего возраста. Он готовится к поступлению в С.-П. Техн. Инст., желает изучить начертательную геометрию. Я ее не знаю, отказался.

Взял адрес. Начертательную геометрию я когда-то видел у своего товарища-технолога и, любопытства ради, прочитал из этой толстой книги страниц 10. Подумал: сам изучу начертательную геометрию и ученика своего научу этой премудрости. Не теряя времени, направился в указанный мне дом.

Французенка, вдова помещика, сын — ученик второго класса реального училища, дочь восьми лет. Учителем этих детей и состоял мой будущий ученик. Это был красивый молодой еврей, выполнявший при французенке, как я потом заметил, не одну педагогическую функцию. Года четыре тому назад он был исключен из V класса реаль-

ного училища, так как, объяснил он, потребовалась вакансия для сына какого-то важного чиновника, только что переведенного в Харьков.

— Я сейчас встретил, — сказал я этому молодому человеку, — своего товарища по университету, он шел от вас и объяснил, что не мог взять вашего урока, так как не знаком с начертательной геометрией. Я бы от вашего предложения не отказался. Начертательную геометрию я изучил в прошлом году, в С.-П. Техн. Инстит., из которого по материальным соображениям должен был перевестись в Харьковский университет (Техн. Инст. тогда в Харькове еще не было).

Соглашение состоялось. На первом же уроке я, дав ученику некоторое представление о начертательной геометрии, заявил, что для изучения этого предмета требуется основательное знакомство с математикой в объеме гимназического курса, и просил разрешения проэкзэменовать его по алгебре, геометрии, тригонометрии. Оказалось, что тригонометрии он совершенно не знает, а с алгеброй знаком лишь в объеме 5-ти классов реального училища. Я почувствовал под собой твердую почву, для удержания этого урока мне не потребовалось изучения начертательной геометрии. Тем более, что ученик мой не обладал хорошими способностями к математике, шел туго, ленился, и мне даже приходилось помогать ему в его педагогической работе с воспитанниками низших классов средних учебных заведений при решении простых арифметических задач.

Дебагорий скоро вернулся в Харьков со всей своей труппой. Предприятие не удалось. Мишка пробыл у нас еще около месяца. На сон грядущий читал вслух нам какой-либо забористый французский роман. Мы слушали его с большим вниманием. Это успокаивало наши расшатавшиеся нервы. Скоро он раздобылся где-то деньгами и вместе с Марусей и еще с кем-то уехал в Одессу. Я расстался с ним товарищески. С тех пор мне не пришлось с ним видеться¹.

Вернулся Дейч. Педагогическая деятельность его была прервана. Родитель его воспитанника нанес ему какое-то словесное оскорбление. Дейч вспыхнул, выхватил револьвер и, защищая честь дворянина, каковым он значился по паспорту, погнался за своим хозяином. Последнему удалось где-то спрятаться, все обошлось благополучно, но Дейчу пришлось вернуться в город. Через несколько недель он, вызванный Стефановичем, уехал в Киев. Месяца через полтора после его отъезда за ним последовал и Бохановский. В Харькове со мной из членов нашего кружка остались только Аня, изучавшая при больнице анатомию, и Коленкина; но и они скоро меня покинули. Аня уехала за границу, Коленкина к Марфуше, изучавшей медицину в Петербурге. Я остался один. С Глушковым и Бранднером, со-

стоявшими под надзором полиции, я был знаком только шапочно, встречался очень редко, случайно. Сохранил связи только с кружком гимназистов, но и в их среде чувствовал себя растерянно. Что я мог ответить им на их пытливые вопросы, когда я и сам эти вопросы решить для себя был бессилён? Настроение было подавленное. Ни Казанская демонстрация, ни издательства Трепова над Боголюбовым меня из этого угнетенного состояния духа не вывели. Они не дали путеводной нити к светлому будущему, лучи которого все же обогревали меня.

Мне рисовался народ в сто наций, населяющий огромную равнину, простирающуюся от западной границы до границы Канады, от берегов Ледовитого океана до Черного моря, до границ Турции, Персии, Индии, Китая... В этой обширной равнине народ-мечтатель — мог ли он быть не мечтателем при этих условиях? — строил себе убежище от угнетавших его эксплуататоров, строил вольную жизнь в тайге, в скитах, в Запорожской Сечи, на берегах Дона, Урала, в бесконечных лесах Сибири. Тысяча странников, бродя из города в город, из села в село, служила народу своеобразной почтой, переноса вести от вольных сынов его к угнетенным, будя в последних надежду на свободную, «правильную» жизнь. Нравственный уровень этих странников, обычно, не был высок, но они были созданы народной потребностью. Накопляя силу в своих свободных ячеек, народ, опираясь на эти силы, многократно пытался сбросить с плеч своих врагов, но тщетно. Также тщетны были наши первые попытки: пропаганда словом, перманентные восстания, пропаганда фактами. Мы, очевидно, шли ложным путем. Но при данных условиях положение не могло быть безвыходным. Должен быть правильный путь. Где он? Я ходил как в заколдованном лесу. Жизнь, завязав нам глаза, издеваясь, играла с нами в журмки. И не было среди нас гения, который мог бы поймать ее, осмыслить и овладеть ею.

Я перешел на квартиру своего ученика. Французенка, которую я пытался завести в свой заколдованный лес, относилась ко мне с большой симпатией и, не изменяя моему ученику, заботилась обо мне, как мать, оказывая массу мелких услуг. Эта симпатия не была прервана даже тогда, когда один из ее старых знакомых, черносоленный приват-доцент университета, навел справку и донес ей, что я в числе студентов не числюсь. Был еще такой случай. Прочитал я в газете, что какой-то больной отставной профессор ищет себе аптека. Пошел по указанному адресу. Меня поразило, что окна нижнего этажа, в котором жил профессор, словно в тюрьме, ограждены решеткой. Я постучал в дверь. Молчание, за дверью слышны шаги. Постучал еще раз. Наконец слышу женский грубый голос, которому желаю придать неустрашимый тон. — «Кто там?». Обясняю. «А паспорт есть?». «Есть». Шаги удаляются. Минуты через две загремели многочисленные запоры, дверь отворилась, и передо мною очутилась грозная кухарка с кочергой в руке. Подозрительно осмо-

¹ Он умер в Болгарии в ноябре 1926 г.

трев меня, она пригласила в зал. Среди залы кровать, на ней разбитый параличем профессор. Около кровати сидит женщина с симпатичным лицом сестры милосердия. Меня приглашают сест. Сзади меня становится грозная кухарка с кочергой, готовая при малейшей опасности разможить мне голову. Профессор подверг меня подробному допросу: кто я, чем занимаюсь, где живу, где я родился, где служит отец и проч. Я уже сообразил, что, как нелегальный, попал в довольно опасное положение, а потому отказался от предложенного занятия и ушел. Но профессор не оставил меня в покое. Дня через три пришел околоточный к француженке, навел обо мне справки. Француженка посмеялась с ним над подозрительностью профессора и успокоила его.

Так протянулось время до августа 1877 года. Ни книги, ни жизни не дали мне ясных указаний, я бродил как в тумане, тщетно отыскивая ответа на вопросы: что же нам делать, куда направить свои силы?

В Харьков приехал Осинский, молодой, красивый, энергичный парень. Под видом охотника он направился в окрестности ново-белгородской и ново-борисоглебской центральных каторжных тюрем, в которых уже сидели некоторые из наших товарищей: Долгушин, Дмоховский, Боголюбов, Чернявский и другие. Осинский, бродя около этих мест, надеялся завести связи, могущие послужить опорой к освобождению политических, находящихся под замком в названных местах заключения.

Перед лицом этого пылкого юноши мне было совестно. Я копошусь в своих сомнениях, Осинский же, хотя и не мог, как мне казалось, ни себе ни другим указать правильного пути к грядущей революции, все же верил в ее наступление и делал все возможное для приближения к ней.

Этот симпатичный энергичный товарищ разыскал меня по указаниям Дейча и предложил мне приехать в Петербург, принять там участие в занятиях с рабочими.

Говоря об этих занятиях, ни я, ни Осинский, по своей слепоте, не понимали, что мы в данный момент стоим на правильном пути к революции, который так тщетно ищем; не сознавали, что только рабочие могут составить инициативную группу достаточно сильную, чтобы стать во главе революционного крестьянства, вести его к победе в борьбе против всех видов их эксплуатации.

Я охотно принял сделанное мне предложение. Осинский, снабдив меня столичными адресами, отправился в свое путешествие, а передо мной встал практический вопрос: как добыть деньги для переезда в Петербург?

Два товарища окончили гимназический курс и поступали в Харьковский университет. Вместе с ними поступали в этот ВУЗ семинаристы; от последних требовался проверочный экзамен по нескольким предметам. Особенно смущал их экзамен по математике,

проходившейся в семинариях весьма поверхностно. Установился обычай, что экзамен за них держат по этому предмету товарищи-семинаристы. В этом году семинаристов приехало много, три профессора в разных аудиториях экзаменовали их по математике. У этих 3-х профессоров за 3-х семинаристов я выдержал экзамен, получив по изданию установленной таксе — 15 руб. с человека, т.е. всего заработал 45 рублей, — сумму вполне достаточную для поездки в Петербург.

окна показался кудрявый молодой краснощекий парень с лотком, переполненным всякой хлебной снедью. Он внимательно присматривался к нашим лицам.

— Это не сыщик? — сказал кто-то.

— Вот воображение, — ответил Осинский. — Это же булочник, он регулярно два раза в день разносит хлеб по нашей улице.

Пришел Лешка (Оболешев-Сабуров). Осинский откомендовал меня ему как члена организации «Южных бунтарей» и просил ответить меня на квартиру Коленкиной и Засулич, устроить на ночевку и снабдить паспортом.

— А я, — добавил Осинский, обращаясь ко мне, — сегодня вечером опять еду в Киев, там дело есть.

Как потом объяснила мне Коленкина, это дело заключалось в подготовке к освобождению Стефановича, Дейча и Бохановского, только что арестованных и заключенных в киевскую тюрьму.

С Петербургской стороны мы двинулись с Лешкой на Фонтанку, к Египетскому мосту. Предстояло пройти весьма солидное расстояние. Лешка удивлялся, зачем я приехал в Петербург и, развивая передо мною программу народников, спрашивал, почему бы мне не поселиться в деревне. Я указал на наши неудачные попытки в этом направлении и уверял его, что пропаганда в городе, среди интеллигенции и рабочих, значительно продуктивнее, чем пропаганда среди крестьян. Я вспомнил слова Перовского, слышанные мной на вышеописанной сходке, и развил перед Лешкой программу деятельности в духе этой речи.

— Да, — сказал Лешка, — это хорошо, но ведь, это только начальный, в значительной степени уже пройденный нами путь в революционной деятельности. А какие дальнейшие перспективы этой революционной работы вы укажете распропагандированным вами интеллигентам и рабочим?

«А там видно будет, — вспомнились мне слова Перовского, — жизнь сама укажет, что делать нам дальше». Но я этих слов не повторил. Я сознавал, что в России революция может быть совершена только при содействии крестьян, что последние настроены у нас революционно... Но как подойти к этому сфинксу, как вовлечь его в борьбу?

Мы шли по правому берегу Фонтанки, впереди виднелся Египетский мост.

— Вот здесь и живут ваши соратники, — сказал Лешка, повернув в ворота одного из больших каменных домов. В глубине двора мы зашли в подезд, по узкой лестнице поднялись во второй этаж. Прошли темную переднюю, обращенную в кухню, с маленькой русской печкой, прошли залу, обращенную в спальню, с большим числом простых деревянных кроватей. В следующей комнате мы застали шившую что-то Машу Коленкину и Веру Засулич, изучавшую медицину по какой-то толстой книжке.

Х. «НАЧАЛО».

Перед самым отъездом моим из Харькова я встретил на улице Малинку. Он был в безвыходном положении. По требованию своего отца и желая замести за собой следы, он, отбывая воинскую повинность, поступил вольноопределяющимся в какой-то полк. Но жандармы уже заинтересовались им, навели справки на его родине. Во-время предупрежденный Малинка бежал. В Харькове он очутился без паспорта и связей. Я отдал ему свой документ, познакомил с нашим активом, гимназическо-студенческим кружком.

Малинка провожал меня. Мы шли с ним по узкому тротуару вдоль университета. С горки, идя навстречу нам, показался жандармский офицер. Малинка встретил его упорно-злым взглядом. Офицер, привычный, вероятно, к такому враждебному отношению к своему мундиру, не обратил на нас внимания.

— Когда встречаешься с жандармом или полицейским, — сказал я Малинке, — не обращай на них внимания и не смотри на них так, как ты смотрел на этого прохвоста. Такой взгляд может выдать тебя.

На университетской горке мы присели на скамейке и простились. Я не предполагал, что это будет наше последнее свидание.

Приехав в Петербург, я разыскал квартиру Осинского, вернувшегося уже из Харькова. Он жил на Петербургской стороне, около Б. Дворянской ул., в первом этаже небольшого деревянного домика. Я был удивлен, узнав, что он всего несколько месяцев тому назад женился на моей старой знакомой, соратнице по самарскому кружку, Никольской. Молодые супруги относились друг к другу с большой нежностью, но это не мешало Никольской, как бы предчувствовавшей трагическую судьбу своего мужа, сохранять привычное ей нервно-плаксивое выражение в своем лице.

— Эх, — сказал мне Осинский, — если бы вы знали, какое это высокое наслаждение, когда имеешь около себя любимую и любящую тебя жену.

В квартире Осинского толпилось много народа, смутно напоминаю теперь их лица. Никольская пропела нам несколько романсов и народных песен своим небольшим, но очень мелодичным голосом.

Лешка тотчас же покинул нас, обещаясь зайти за мной вечером и отвести меня на ночлег. Перед уходом он деловито спросил меня: — На какое имя, отчество и фамилию вы желаете получить документ?

Я назвал свое имя, отчество и фамилию Кудрин. Соратники мои оказались более осведомленными о дальнейшей судьбе нашего кружка: они находились под свежими впечатлениями ареста Стефановича, Дейча, Бохановского и были заняты проектами их освобождения. По этому делу они вели переписку с членами нашего кружка, находившимися, главным образом, в Одессе, и вступили в сношение с Осинским. Говорили и о Трепове, об оскорблении, которое он нанес всем нам своим издевательством над Боголюбовым, и о необходимости решительного ответа завнашемуся сатрапу. Но все эти планы не были еще выработаны, рисовались лишь в общих чертах. Брат мой жил в это время на одной квартире с отцом. Я не мог зайти к нему и даже письмом известить его о своем приезде, так как почерк мой хорошо был известен не только отцу, отчурившемуся от меня, но и всем его присным. Я просил Коленкину навестить брата и устроить мне с ним свидание.

Вечером забежал Лешка и отвел меня к каким-то лавристам-шахматистам.

— Рекомендую вам, — сказал Лешка, — приятель Мишки, что ночевал у вас. Приютите его на эту ночь.

— А, — обрадовались лавристы, — очень приятно; вы тоже играете в шахматы? Мишка очаровал нас своей игрой.

Как только ушел Лешка — а он не замедлил это сделать, — лавристы устроили со мной шахматный турнир. Но после первых же моих ходов они разочаровались.

— Нет... не та сила. У вас шаблонные ходы, мы их как свои пять пальцев знаем. А вот Мишка... Оригинал!

Мишка — это Дебагорий-Мокриевич у них ночевал, — действительно играл в шахматы весьма характерно. Король у него не прятался за свои пешки, как это обычно принято, а под защитой своей королевы и во главе всего своего воинства смело наступал на противника и, если погибал, что с ним редко случалось, то погибал с честью, среди доски, на поле брани.

На другой день Коленкина устроила мне свиданье с братом. Брат мне сообщил, что хотя он и продолжает занимать в министерстве финансов свой довольно видный пост, но ходит в министерство только раз в месяц за получением жалованья и в комиссии по выработке проекта подоходного налога не работает. Введение подоходного налога, на которое он возлагал столько надежд, признано было правительством несвоевременным, работы в этом направлении прекращены и все труды комиссии сложены в архив. Это обстоятельство окончательно убедило брата в невозможности легально-прогрессивной деятельности и толкнуло его на революционный путь. Еще до

закрытия названной комиссии брат, через сестер Корниловых, познакомился с Клеменцом и другими чайковцами. Те устроили ему что-то вроде экзамена, как это у них водилось, и после продолжительных теоретических дебатов с ним в собрании своих членов предложили ему вступить в их кружок; но брат, еще не вполне тогда подготовленный к переходу на нелегальный путь, уклонился от предложенной ему чести. Теперь же брат прикинул к вновь организуемому кружку и встречается там со многими старыми революционерами.

— Одного из них ты знаешь, — добавил брат, — это мичман Луцкий.

Я был весьма обрадован переходом брата к революционной деятельности, поздравил его и обещал познакомиться с его «вновь организуемым кружком». Брат подкрепил мои финансы, мы расстались.

Вечером Лешка доставил мне обещанный паспорт и потащил на последнюю нелегальную ночевку, на Садовую, в дом Яковлева, к каким-то молодым людям, только что вернувшимся из Швейцарии. Молодежь эта пугала меня тем, что за ними следят, что вот-вот могут прийти с обыском. Но жандармы, очевидно, не спешили с их арестом, я благополучно переночевал у них.

Утром я пошел на Петербургскую сторону, на Кронверкском проспекте нашел себе комнату и водворился в этом помещении. Весь багаж мой состоял из маленького пустого чемоданчика, только что купленного мной на Сенном рынке.

Брат познакомил меня со своим «организуемым кружком». Никакой программы у кружка не было, велись только программные дебаты. Был здесь «Итальянец», названный так по месту своего жительства на Итальянской улице. Фамилию его теперь не помню. Он только что вернулся из Германии, где прожил довольно долго и где проникся социал-демократическими идеями. Он был любимым сыном состоятельной семьи, но в Германии добывал свой хлеб физическим трудом, состоя наборщиком типографии, печатавшей социал-демократическую газету. В описываемый момент он жил у своих родителей и был погружен в изучение химии. Он изобрел какой-то порошок, заключающий в себе все необходимые элементы для питания человеческого организма. Отказавшись от хорошего домашнего стола своих родителей, он питался этим снадобьем, пока не получил катар желудка. Эта был очень искренний, симпатичный, увлекавшийся молодой человек, имевший большую склонность к научной работе.

Был здесь «Шурочка» — Александр Астафьев, сын богатого помещика. Отец его умер, а мать состояла начальницей института благородных девиц в Н. Новгороде и владела хорошим поместьем, верстах в 30-ти от этого города, на берегу Оки. Шурочка состоял студентом 4-го курса Медико-Хирургической Академии. Этот суетли-

вый и энергичный парень, как мне казалось, не имел ясного представления о предстоящей нам деятельности. Впоследствии, после кратковременных эмиграций и ареста, из него выработался земский деятель, и он был избран в члены I или II Государственной Думы.

Были здесь старые мои знакомые: Ипполит Головин и мичман Вл. Луцкий. Хотя они почти не были знакомы друг с другом, но сходились между собой во взглядах, выраженных первым из них на вышеописанной мной сходке.

Собрания кружка посещало много студентов старших курсов МХА и университета, а также офицеры: Дубровин, повешенный в 1879 г. в Петропавловской крепости, и Дегачев, впоследствии предавший народовольцев и участвовавший в убийстве Судейкина.

Входил в контакт с кружком и «Пан» — Венцовский, видный член польского революционного кружка в Петербурге.

Жизнь была в Петербурге ключом. Шел большой процесс 193-х. Народники-троглодиты устроили небольшую типографию, печатали краткие бюллетени процесса. Речь Мышкина, отпечатанная в той же типографии, произвела огромное впечатление. Собирались собрания в ВУЗ'ах и частных квартирах. Социалисты всех оттенков стали называть себя членами соц.-революц. партии. Сюда приехали в Петербург Фроленко, Попко, Волошенко и Чубаров для содействия народникам в подготовлявшейся расправе с временщиком Треповым. Позорно заканчивалась «освободительная война», стоившая нашей родине стольких жертв и увеличившая для нас лишь нажим ежовых рукавиц царизма. Ожидался суровый приговор по процессу 193-х.

Венцовский задумал дать дело «организующемуся кружку», в котором участвовал брат. Он предложил напечатать прокламацию, изложив в ней современное положение страны, и одновременно расклеить ее в возможно большем числе городов России. Брат сообщил мне об этом плане, я отнесся к нему сочувственно. Не зная содержания этой прокламации — она еще не была составлена, — я согласился поехать в Самару и расклеить ее в этом городе. Написать прокламацию было нетрудно, но где ее напечатать? «Вольная русская типография», как именовалась печатня народников-троглодитов, еле справлялась с выпуском отчетов по процессу 193-х. «Нужно завести собственную типографию», решил кружок. Явился дело, кружок уплотнился. В него вошли: «Итальянец», Астафьев, Венцовский, Ипполит Головин, Луцкий, брат и я. По заказу Венцовского поляк-студент Техн. Ин. купил зеркальное стекло и прикрепил его к деревянной доске. Любопытствующим он объяснял, что этот снаряд будет служить ему идеальной чертежной доской; мы признали это зеркальное стекло за типографский станок. При печатании небольших прокламаций он мог служить своему назначению. Набор, туго связанный шпагатом, ставился на стекло. Прессом мог служить какой-либо соответственно мягкий предмет. Одесские товарищи,

например, смазав краской набор и наложив на него бумагу, садясь на него, сменяя друг друга в этой роли прессовщиков. Отпечаток получался достаточно ясный. Этот оригинальный пресс придумал, кажется, Иван Ковальский, когда его кружок напечатал и расклеил на стенах домов гор. Одессы написанную им прокламацию, объяснявшую причины неудачи российского воинства на поле брани с турками.

Насчет печатного станка, таким образом, мы считали себя обеспеченными, но где добыть шрифт? В этом отношении нам пофартило. Перебиралась типография Вольфа на новую квартиру. В типографии имелся большой запас совершенно нового шрифта. Для переноса его из одного помещения в другое утилизировали наборщиков. Надзора за ними не было. Один из наборщиков передал нам 12 пуд. не бывших еще в употреблении и количественно правильно подобранных букв русской азбуки. Созерцание этого богатства привело нас в восторг. Этого шрифта хватило бы не только на прокламацию, но и на более обширное издательство. Мысль о напечатании прокламации была забыта. Брат предложил издавать газету, но для утилизации большого количества шрифта, попавшего нам в руки, требовалась хорошо оборудованная типография. На зеркальное стекло с этого момента мы уже смотрели с презрением.

— Если бы были деньги, — сказал Венцовский, — можно все недостающее оборудование для типографии привезти из Германии. Деньги... Это слабый пункт всех радикальских организаций.

Но и в этом отношении судьба улыбнулась нам. Ипполит Головин имел урок в семье богатого черниговского помещика. Родители его умерли. Опекуном состоял старший брат лет 30-ти, холостяк. Он воспитывал своих младших братьев и племянников. При нем же жила его сестра, уже окончившая свое образование, невеста, имевшая свой собственный капитал. Лето семья проводила в деревне, на зиму приезжала в Петербург. Семья была либеральная. В зале их большой квартиры была ими открыта для общего пользования библиотека; за недорогую плату богатствами этой библиотеки могли пользоваться все желающие. Подбор книг был очень хороший.

Головин ухаживал за сестрой своего ученика, поддерживал в ней склонность к радикальному образу мыслей. Барышне очень понравился проект устройства типографии и издания подпольной газеты. Она поделилась с нами своим капиталом. Дала немного, но вместе с другими суммами средств у нас оказалось достаточно. Часть денег передали Венцовскому. Мы полагали, что недостающее нам оборудование для типографии Венцовский добудет из Германии через свои польские кружки, но, как я скоро узнал, он поступил проще. Он переговорил с Зунделевичем. Последний отнесся весьма сочувственно к мысли об устройстве подпольной типографии, взял у Венцовского деньги, список необходимых нам предметов, составленный «Итальянцем», и поехал в Германию.

Окончился большой процесс. Масса подсудимых была оправдана или освобождена за вменением им в наказание предварительного ареста. «Старое» поколение революционеров встретилось с новыми, к которому принадлежали и мы, уцелевшие от ареста. Для освобожденных из тюрьмы были сняты помещения, кипевшие теперь народом. За этими помещениями наблюдали шпики, но им трудно было выполнять свои функции: толкались тут около сотни «старых», только что официально признавших свою принадлежность к социально-революционной партии, и много новых, принадлежность которых к этой партии надлежало им выяснить. Как отличить одних от других?

Белись дебаты. «Старые» были разочарованы, узнав о результатах нашей деятельности. Они ожидали гораздо большего. «За четыре года так мало сделано». Им казалось, что мы топчемся на одном месте.

Большинство освобожденных не выражало желания немедленно примкнуть к активной революционной деятельности. После продолжительного тюремного заключения они естественно вдыхали с жаждою воздух сравнительной свободы. Из моих товарищей по самарскому кружку:

Осипов уверял, что, оставаясь на легальной почве, можно, влияя на окружающих людей, принести гораздо больше пользы, чем при кратковременной нелегальной деятельности, когда революционеры гибнут, как мотыльки на огне. Он вернулся в Самару. Здесь его атаковал Лукашевич, отец его фиктивной жены. Четыре года тому назад Лукашевич-отец так ярко протестовал против этого брака, а теперь настоял, чтобы этот фиктивный брак перешел в реальный. Годы два прожили молодые супруги, у них был ребенок. Лукашевич-дочь настаивала, чтобы Осипов вернулся на революционный путь. Осипов упорствовал. Лукашевич, уже лечившаяся у психиатра до своего фактического замужества, убила себя и ребенка. Не помню, кто мне сообщил об этой трагедии. Больше об Осипе я ничего не слышал.

Филадельфов, сидя в доме пр. закл., завел переписку с какой-то барышней, тоже привлекавшейся по процессу 193-х. Не видя друга, только по письмам они прониклись взаимной любовью и решили по выходе из тюрьмы сочетаться законным браком. Мечта их теперь осуществилась. В любовном угаре они куда-то скрылись с моего горизонта.

Курдюмов мечтал о поступлении на ж.-д. службу. Это был единственный из нашего самарского кружка, который по освобождении из тюрьмы не прервал сношений с Городецким, с «откровенным юношей», как называл его прокурор Желиховский. Я избегал встречи с этим «юношей», хотя мне и было жаль его. Все свои откровенные показания на суде он взял обратно и, давая на дознании свои «чистосердечные показания», об отравлении жены раскольника он все же

умолчал; всю вину кружка он пытался взвалить на свои плечи: я, мол, увлек их на этот путь нечестивый. Вступив на путь признаний, Городецкий рассказал, между прочим, о вышеописанной мной сходке на квартире Ипполита Головина. Имени последнего он не знал, а указал просто, что сходка происходила на квартире студента Тех. Института Головина. Жандармы навели справки. В числе студентов Техн. Института значился только один Головин — Аркадий, брат Ипполита, который и был арестован. Аркадий, конечно, отрицал взведенный на него поклеп, но раз'яснить жандармам произведенную ими ошибку не хотел, так как этим он уличил бы брата своего Ипполита. По этой же причине он не требовал очной ставки с Городецким. Четыре года он с нетерпением ждал момента, когда на суде он огорочит этого откровенного юношу вопросом: «Вы знали меня, встречались вы с вами? Как же вы дали обо мне такое неправильное показание, из-за которого я столь долго томлюсь в тюрьме?». Эти вопросы он и бросил Городецкому во время судебного заседания по процессу 193-х. Городецкий был поражен. Он, обращаясь к судьям, совершенно искренно и убежденно сказал: «Этого человека я никогда не видел, здесь произошла какая-то роковая ошибка». Но так как Городецкий, как я уже об этом упомянул, отказался от всех своих показаний, уличающих его товарищей, то данному заявлению его никто не придавал значения. Аркадий все же был освобожден, в этом же году женился на моей соратнице Юргенсон и уехал с нею в Пермь, на постройку жел. дороги. С Городецким же я встретился еще один раз при совершенно исключительных условиях, в 1880 г., когда после суда меня везли обратно в Петропавловскую крепость. Об этом расскажу в своем месте.

Виктор Осташкин на суде воскликнул: «Да здравствует социальная революция». За это восклицание он был выделен из среды своих товарищей по кружку, приговорен к ссылке в Западную Сибирь и до ссылки из тюрьмы не выпущен. К ссылке же в Сибирь был приговорен член нашего кружка или принадлежавший к его активу, хорошо не знаю, — Емельянов. Пропаганду против царской власти ему бы простили, как это имело место в отношении многих других его товарищей, но он — это было удостоверено свидетельскими показаниями — заподозрил, что богородица 25 марта первого года до нашей эры имела обычные амурные отношения с «архангелом Гавриилом», а потому, мол, ровно через 9 месяцев, как это полагается всякой женщине, и родила ему сына. Вот за это святотатственное подозрение Емельянов и пострадал. Но до ссылки Емельянов все же был освобожден из-под ареста.

Таким образом, почти весь наш самарский кружок пока что был рассосан жизнью. В активной революционной деятельности продолжали участвовать только два человека из освобожденных тюремных жителей: Егор Лазарев и Комов, и двое из нелегальных: Фанин-Андреев и я. К этому числу нужно прибавить Петропавловского-

+ Каронина, в тюрьме написавшего несколько рассказов, имевших большой успех среди молодежи, и потом административно-сосланный по какому-то делу в Сибирь, и нашего активиста-гимназиста Родина, избежавшего ареста в 1874 г. и потом работавшего, кажется, в Ростове-на-Дону. Никитин проживал в Смоленске, где деятельное участие в его сокрытии принимала какая-то купчиха. Жандармы знали о месте его пребывания, но не арестовывали: особого вреда он им не приносил, но вместе с тем бессознательно служил прекрасной ширмой для одной из их деятельных шпионок¹, впервые, кажется, попытавшейся разыграть роль, столь блистательно выполненную затем Азефом. О других членах нашего кружка я не слышал, а если и слышал, то забыл.

Вращаясь среди своих освобожденных товарищей, я часто попадал в неловкое положение. Как будущего типографщика, кружок одел меня франтом: теплое модное пальто, хороший плед. Едем как-то на перроне вагона К. ж. д., ледяной ветер обдувает нас.

— Отдай, — говорит Осипов, — свой плед этому товарищу. У тебя хорошее пальто, а у него ветром подбитое.

Плед мне был куплен с специальной целью, для незаметного переноса в типографию шрифта, бумаги и проч., но я этого не мог объяснить с недоумением и негодованием смотревшим на меня товарищам. Или просят они меня: «Познакомь ты нас с революционными кружками». Опять должен отказать, так как никто из обращавшихся ко мне с этой просьбой не выражал желания немедленно приступить к продолжению революционной деятельности.

Дело по устройству типографии подвигалось вперед. Как я сказал уже, Зунделевич поехал за границу для закупки недостающих нам типографских принадлежностей. Нужно было спешить с устройством квартиры, для приема этих принадлежностей и хранения уже имевшегося у нас шрифта. Венцовский предложил:

Студент, изготовивший типографский станок из зеркального стекла, занимает комнату у вдовы чиновника, очень доброй и симпатичной старушки. У нее три комнаты, две из них могут быть совершенно изолированы от ее помещения — кухни. Сняв эти две комнаты, можно устроить в них типографию.

Так и порешили. Студент выехал с квартиры, я занял у старушки две комнаты. Часть шрифта была уже перенесена ко мне, когда я заметил, что за квартирой моей установлен полицейский надзор. Чем был вызван этот надзор, не удалось выяснить, но правильность моего наблюдения подтвердила хозяйка квартиры. Она вечером зашла ко мне и повела разговор:

— Русские люди очень доверчивы, а поляки хитрый народ. Они затеют какое-либо дело, а потом передадут его русским. Сами в стороне остаются, а другие отвечают за них.

¹ Из кружка доктора Афанасьева. Дальше я называю ее — правильно или неправильно? — «Сонькой».

Это были знакомые мне отголоски шестидесятых годов, когда после польского восстания правительство и черносотенная пресса обвиняли поляков в сеянии смуты среди русской интеллигентной молодежи. Старушка, очевидно, жалела меня, опасаясь, что я жертва поляков, на которую они думают свалить ответственность за какое-либо неудавшееся политическое дело. Из этого разговора мне стало ясно, что шпик уже побывали у квартирной хозяйки и строго-на-строго запретили ей говорить мне об их визите и расспросах. Положение создалось критическое. Мне, как живущему по фиктивному паспорту, невозможно было находиться под надзором, так как полиция немедленно могла навести справку в номинальном месте выдачи мне облыжного документа. Прежде всего нужно было спасти шрифт. На другой день я связал шрифт в большой тяжелый тюк, еле удерживая его, вышел с ним за ворота и кликнул извозчика. Извозчик подал. С противоположной стороны улицы ко мне бросился какой-то штатский человек, напоминавший передетого городского, крича на бегу: «Уронишь». Он, очевидно, хотел смутить меня, но по свойственной мне медленной сообразительности я встретил его непритворно-изумленным взглядом. Не добежав до меня на одну сажень, шпик побрел обратно, бормоча: «Ишь чорт». «Пальцем в небо попал», насмешливо напутствовал его извозчик, довольный тем, что не потерял седека. Шрифт я отвез на Николаевский вокзал и, пробыв там несколько минут, заметая тем следы, доставил его на другом извозчике в квартиру Ипполита Головина.

Нужно было срочно заняться организацией новой квартиры. В этом помог «Итальянец». Он был дружен с хорошим семейством Панютиных. Мать вдова, сын студент 5-го курса М.-Х. Ак., две дочки слушательницы Высших Мед. Женских Курсов, и добрая русская кухарка, очень привязанная к семье вообще и особенно к студенту. Вот это-то семейство нас и выручило, взяв на себя труд по оборудованию квартиры. Мать-старушка, природный стратег, сказала мне: «Со мной не бойтесь, если будет опасность, я немедленно сообщу вам о ней». Новую квартиру сняли на Кировой улице. Хозяин небольшого деревянного домика, помещавшегося против саперных казарм, выстроил в глубине своей усадьбы пятиэтажный дом. На пятом этаже этого дома и была снята квартира.

«Русскую Вольную Типографию», по неизвестным мне причинам, народники закрыли. Из работников этой типографии я знал только Крылову и Карловского. Закрывая свою печатню, народники, полагая, были уверены, что в случае надобности они смогут все, что им потребуется, напечатать в нашей типографии. Для обеспечения за собой этого права народники дали нам двух работников, знакомых с типографским делом, отрекомендовав их под двумя птичьими кличками: Чижики (Карловский) и Пташки (Лубкин). Последний был беспартийный, но ярый революционер-террорист и очень преданный революционному делу. Таким образом, для работы в нашей

типографии организовалось четыре человека: «Итальянец», обучавшийся типографскому искусству в Германии, Чижик и Пташка, работавшие в легальных типографиях, и я, не имевший никакого представления о типографском искусстве. На совещании кружка было решено, что я и Пташка будем постоянными работниками и жильцами в типографии, а «Итальянец» и Чижик, как хорошие наборщики, будут приходить и помогать нам лишь по мере надобности. Распространение газеты было возложено кружком на Астафьева и Венцовского. Последний, увлекшись польскими делами, скоро отстранился от нас.

Квартира, предназначенная для типографии, состояла из пяти комнат и кухни. Первыми вехали в нее Панютины. Они заняли три передних комнаты и примыкавшую к ним кухню, а две задние комнаты, отделявшиеся от других узким коридорчиком, решили в присутствии старшего дворника, помогавшего им в переноске вещей, сдать жильцам. На другой же день они вывесили объявление: «Сдаются две комнаты с мебелью, спр. в кв. № 12».

За этими хлопотами по устройству типографии я не забывал своих соратниц: М. Коленкину и В. Засулич. Они жили теперь где-то между площадью, на которую выходит Б. Садовая улица, и Фонтанкой. Рядом с их комнаткой помещался Карпов с женой, брат жены Д. Рогачева, впоследствии писатель и драматург, которого мы, не подозревая о присутствии ему талантах, звали просто Карпушкой. Он тогда вместе с другим молодым человеком Шехтером, что ли, хорошо не помню, состояли ад'ютантами при Юзове-Каблице.

Соратницы несколько дулись на меня, подозревая, что я скрываю от них свои новые дела, что я не бесцельно одеваюсь за последнее время таким франтом. Как-то Коленкина сказала мне, что они меняют квартиру, и просила посторожить их вещи на вокзале, имея, вероятно, в виду момент, когда Вера Засулич, перед своим походом на Трепова, будет переодеваться в женской комнате. Не посвящая этих подружек в свои дела, я не считал себя в праве добиваться откровенности и с их стороны, хотя такая откровенность, по обычаю кружка южных бутырей, была обязательна. Об этом правиле в данный момент уже забыли. Но в указанный мне день и час я был занят, Коленкина согласилась обойтись без моей помощи.

Дня через два, кто-то из южан огоршил меня известием: Вера Засулич стреляла в Трепова. Он выражал неудовольствие, что это было сделано без их ведома, говоря, что убийство Трепова было хорошо ими подготовлено, что оно, вероятно, не повлекло бы за собой никаких жертв. Так ли это? Не спасла ли их Вера Засулич от многих бед?

Разыскал Марию Коленкину. Волнуясь, она сказала мне, что они с Верой решили одновременно убить Трепова и Желеховского. Бросили жребий, убийство Трепова выпало на долю Веры. Говорят, что жребия не было. Возможно, что я тогда рассказ Коленкиной

дополнил собственным воображением. Но хорошо помню, что эти две случайные подружки вышли с вокзала одновременно на это двойное убийство. Когда Засулич поджидала Трепова в приемной градоначальника, Коленкина позвонила в квартиру Желеховского, прокурора-обвинителя по процессу 193-х, пытавшегося забросать наших товарищей грязью, морившего их четыре года в стенах тюрьмы. Дверь отворил лакей. Лакей пошел с докладом. В квартире поднялся переполох. Лакей возвратившись сказал, что прокурора нет дома. В дверях передней появились жена и дети Желеховского, с большой тревогой смотревшие на эту странную посетительницу. Эти взгляды, возможно, спасли жизнь их мужу и отцу. Коленкина повернулась и ушла.

Дня через два, после того, как Панютины вывесили свою записку о сдаче ими двух комнат, мы с Пташкой читали это объявление, прибитое к деревянным воротам дома, и просили дворника указать нам, где помещается указанная в записке квартира № 12. Дворник дал требуемые от него указания.

— Это на пятом этаже, — с оттенком недовольства сказал Пташка, — это не подойдет.

— А посмотрим, — возразил я, как было между нами условлено, — может быть, хорошие комнаты.

Мы поднялись на площадку пятого этажа. Как и на всех других площадках этого дома, на нее выходили три двери. Одна вела в кухню, другая в переднюю нашей квартиры, а третья в маленькую соседнюю квартирку. Мы позвонили в среднюю дверь, над которой значился указанный в записке номер. Дверь нам отворила наша дама-стратег. Она с торжественно провела нас через коридорчик в две небольших комнаты, предназначенные для типографии. Мы выглянули в окно и пришли в восторг. На пятом этаже по тому времени и в этом месте мы чувствовали себя, как на Вавилонской башне. Улица и саперные казармы, казалось, лежат у наших ног. Кругом не было ни одного большого дома.

— Никто тут не сможет заглянуть к нам в окна и, если будет установлен за нами надзор, мы это сейчас же заметим, — с гордостью автора-устроительницы пояснила старушка Панютина. — Одно не хорошо, — добавила она, — что против нашего дома торчит на посту городской; он, кажется, из кантонистов и, вероятно, очень хитрый.

— А кто живет в соседней с нами квартирке, — справился я.

— Какой-то одинокий молодой человек, кажется, из забулдыг. Я еще не успела о нем навести справки.

Условились, что через два дня мы с Пташкой переедем на эту новую квартиру, если Лешка успеет снабдить нас к этому времени новыми паспортами.

Лешка был точен. В определенный час и минуту он принес на квартиру Каблицу, как было условлено, два бессрочных документа, выданных от харьковского полицеймейстера. Печать этого полицеймейстера, вырезанная из куска грифельной доски Малиновской, была сделана так художественно, что, вероятно, по неумелым признакам ее легко было отличить от настоящей. Документы были готовы, только подписи на них, еле обозначенные тонкими чертами от переводной бумаги, предстояло обвести чернилами.

— Подписи, — сказал Лешка, — в отличие от текста должны быть сделаны другими чернилами и каждая подпись обведена другим человеком. Так оно выходит естественно. Вот я обедею полицеймейстерскую подпись, а кто-либо из вас распишется за секретаря.

Он лихо подписался на обоих документах за полицеймейстера и протянул нам ручку. Мы растерянно смотрели друг на друга: непривычные к такому делу, мы боялись испортить предназначенные на паспорт. Посмотрев на наши сконфуженные фигурки, Лешка стоял же лихо расписался и за секретаря.

С новым паспортом в кармане я зашел в магазин, купил подарок Осташкину и направился в дом предварительного заключения. Когда я подходил к этому мрачному зданию, к нему подъехала извозчик Ободовская. Я не виделся с нею уже около четырех лет. Расплывшись с извозчиком, она подошла ко мне и, как будто бы с ней расстались только вчера, осыпала меня упреками:

— И к чему этот выстрел... Не могли обождать? Ведь теперь царь не утвердит ходатайства суда, теперь наши товарищи будут приговорены к Мышкину, которого, как говорят, собираются уже направить в центральную каторжную тюрьму.

Так разговаривая, мы зашли в низкую, большую, полутемную комнату, предназначенную для жажущих свидания с заключенными. Я тоже жаждал, но надлежавшего разрешения на свидание с Осташкиным не имел. Комната была переполнена народом, жужжавшим как пчелы в улье.

— Ну, а вы чего тут околачиваетесь, — спохватилась Ободовская. — Принесли передачу? Кому? Давайте я передам. И уходите, уходите...

Вечером я присутствовал на сходке. Какой-то якобинец в полчеркнуто-чиновничьем костюме пел дифирамбы офицерско-чиновничьему аппарату, стоящему во главе России, и доказывал, что в этом аппарате вся сила, что им мы можем и должны завладеть, ведя пропаганду среди интеллигенции и привлекая на свою сторону рабочих и крестьян путем агитации. Ему возражали Каблиц и Родионов, рисуя величие русского народа и утверждая, что только народ может опрокинуть столь понравившийся якобинцу аппарат и создать на его месте нечто новое. Со своей стороны и я пытался сделать какое-то возражение чиновнику-якобинцу, но мое возражение, прежде чем я закончил его, повисло в воздухе. Когда я запнулся, медленно по-

бирая выражения, меня перебил, как спасая товарища, Волошенко. Сконфуженный своим неудачным выступлением, я не вслушался в его красивую и, вероятно, умную, произнесенную с ораторскими приемами, речь.

Ночевал на этот раз у Луцкого. Он занимал большую квартиру. Жена — распропагандированная им интеллигентная немка из Прибалтийского края, 3—4 маленьких ребят, столь мало отличавшихся по своему возрасту и одежде, что казалось — это котята одного выводка.

— Затеянное нами дело, — говорил мне Луцкий, сидя со мной в своем кабинете, — по изданию нелегального органа дало мне идею. Современное устройство типографий чрезвычайно сложно и громоздко: тяжелые печатные машины, десятки и сотни пудов шрифта и пр. типографских принадлежностей. Такое устройство типографий удорожает стоимость печатных произведений и, заставляя производить работы в атмосфере, насыщенной свинцовой пылью, вредно отзывается на здоровье типографских рабочих. Эта громоздкость печатной особенно затрудняет устройство подпольных типографий. Вот я и придумал этот аппарат...

Он придвинул к себе стоящую на столе модель, имевшую некоторое сходство с современной пишущей машинкой.

— Вот здесь ряд клавишей, как у рояля. Каждая клавиша соответствует известной букве или другому типографскому знаку, имеющемуся на другом конце рычага. Один конец рычага прикреплен к клавише, на другом имеется пластинка с вырезанными на ней буквами, цифрами и пр. При помощи этого регулятора типографские значки ложатся при надавливании на клавиши, рядом друг с другом, образуя правильную строчку, как в типографском наборе. Вся трудность теперь заключается в изобретении клише, на изотом эти типографские значки давали бы свои выпуклые и отчетливые изображения. Когда изобретем такое клише — может быть, в этом мне поможет наш химик, «Итальянец», — тогда не потребуется ваш шрифт: я буду печатать вам клише, а вы будете только производить с них оттиски.

Я был в восторге от этого остроумного изобретения. Впоследствии Луцкий, проживая среди эмигрантов в Париже, усовершенствовал свой печатный аппарат. Какой-то англичанин осмотрел его машинку и сказал, что по идее она очень хороша, но что ее нужно еще усовершенствовать. Он предлагал Луцкому продать его изобретение. С предложенными ему условиями продажи Луцкий не согласился. Спустя некоторое время появились пишущие машинки. Эта машинка по своему устройству так близко походила на печатный аппарат Луцкого, что последний, не без некоторого основания, считал себя прикосновенным к изобретению этих пишущих приборов. Эту уверенность до некоторой степени разделял и брат, да и мне, когда я смотрю на пишущую машинку, она ярко напоминает печатный аппа-

рат, показанный мне Луцким еще в 1878 году. Во всяком случае если тут и не было позаимствования, то было удивительное совпадение двух очень сложных изобретений.

В условленное время, мы с Пташкой переехали на новую квартиру. На новоселье пришла к нам наша хозяйка-стратег. Она была несколько озабочена и сообщила нам поразившую нас новость.

— Вы знаете, кто живет тут у нас за стенкой нашего коридорчика? — понизив голос, она ответила на наши встревоженно-вопросительные взгляды:

— Секретарь III отделения.

Чорт возьми! Это было не менее удивительное совпадение, чем только-что упомянутое сходство пишущих машинок с печатным аппаратом товарища Луцкого. Искали мы квартиру по всему Петербургу и нужно же было случиться, что найденное нами помещением отделяется тонкой перегородкой от квартиры секретаря III отделения, секретаря учреждения, являющегося для нас главным врагом при нашей борьбе с правительством. Комната, предназначенная нами для печати, примыкала своей задней стенкой к ватерклозету. Сидя в этом укромном помещении, можно было отчетливо слышать, как рядом, в таком же укромном местечке возился и спускал воду наш сосед или кто-либо из его гостей. Благоразумна ли была такая интимная близость?

Мы волновались, но скоро успокоились. Секретарь этот был какой-то дегенерат, менее всего думающий об интересах учреждения, которому служил. Он редко бывал дома, а если и приходил, то в компании проституток, с которыми пиянствовал всю ночь. Мы даже утешили себя мыслью, что этот секретарь будет служить нам отличной ширмой: кому придет в голову искать подпольную типографию, достаточно большую, печатающую нелегальную газету, за тонкой стеной квартиры секретаря III отделения.

Вернулся из-за границы Зунделевич. Он аккуратно выполнил данное ему поручение и тем поставил нашу печатню, по богатству оборудования, на небывалую еще высоту для подпольных типографий. Предназначенные нам типографские принадлежности он купил в Берлине, перевез через границу и с ближайшей ж. д. станции отправил в Петербург. Дубликат накладной он передал нам. Кто получит груз? Эту рискованную функцию взял на себя Луцкий. Он нарядился в свой военно-морской мундирчик, благополучно получил значившиеся в накладной два места и перевез их в свою квартиру. Карловский и я, как более сильные из наших типографщиков, перевезли этот багаж с квартиры Луцкого в нашу печатню. Разобрали наше богатство, здесь было почти все, что нам требуется. Недостающее легко было пополнить домашними средствами. Собрали станок. Он состоял из чугунной доски с парой привинчивающихся к ней рельс и тяжелого вала. Вал, двигаясь по рельсам, прижимал бумагу к рамам с набором, лежащим на доске, и давал с набора оттиск. Дня через три все

недостающее было пополнено, типография готова была приступить к работе.

Тем временем редакция журнала, состоящая почти из всех членов кружка, к которым брат присоединил еще романиста Засодимского, занялась составлением первого номера. При составлении передовой программной статьи получился крыловский квартет, каждый тянул свою ноту. Но, в конце концов, вынужденные необходимостью, договорились.

«Наш орган, как газета, будет заниматься преимущественно не теоретической разработкой принципиальных вопросов, а критикой явлений существующего общественного строя и освещением, с точки зрения принципов социализма, фактов текущей жизни. В этих пределах не может быть крупных разногласий между социалистами отдельных фракций и это дает нам право рассчитывать на их общее содействие». Но «не желая придавать газете «Начало» характера фракционного издания, редакция ее будет, весьма естественно, так или иначе проявлять свою индивидуальность; поэтому мы считаем уместным в первом же номере газеты высказать в кратких словах свои воззрения на сущность социально-революционной деятельности в России... Русский народ, благодаря особым историческим условиям, анархичен: он еще не усвоил себе, подобно другим народам, государственных идей и буржуазных инстинктов; вопреки освященному законом принципу частной собственности, — требует общего раздела земли и, несмотря на вековое татарское, крепостное и государственное иго, мечтает о широкой вольной жизни; мировоззрение его, выраженное в понятной для него формуле «Земля и Воля», — в корне социалистично. При таких условиях пропаганда социалистического учения, сродного народным понятиям, представляется могучим орудием для достижения выставленной нами цели; но, конечно, она должна ограничиться лишь расширением и развитием мировоззрения народа и не иначе, как в направлении реальных потребностей и своеобразных экономических и общественных его стремлений: слоган — способствовать выработке задач русского народного социализма. Принципы социализма всеобщие, как сама эксплуатация, и интернациональны, как пролетариат; и если действительно социальная революция не есть дело данной местности, данной национальности, данного государства, а общечеловеческое, международное дело, — то осветить принципами социализма задачи революционного народа, выработанные его жизнью, — значит внести в это движение общечеловеческое международное начало, связать его с революционным движением других народов. Принципы социализма — это интернациональное знамя; воплощением их в общественном строе должен закончиться, быть может, вековой процесс социального переворота, они, как путеводная звезда, должны быть нашим руководящим началом. В этом смысле мы признаем: 1) взамен сословного государства — федерацию, образованную путем свободного союза, свободных

общин, без всякой принудительной центральной власти; сила, сплачивающая отдельные общины и федеративные союзы, должна заключаться единственно в общности и солидарности интересов, побуждающей жить каждого для всех и всех для каждого; 2) земля и орудия производства составляют достояние всего народа; 3) работник есть единственный собственник всех продуктов своего труда; 4) обмен последних в смысле равномерного распределения между работниками лежит на обязанности федеративных союзов и общин; 5) полное социальное и политическое равенство, безусловную свободу совести, слова, научных исследований, свободу сходок и собраний».¹

Программой этой особенно недоволен был наш соц.-демократ «Итальянец», как бы продолжавший жить в Берлине, а не в Петербурге. Его ублаговторили тем, что предоставили ему почти исключительное авторское право на «Хронику социалистического движения на Западе», которая и составлялась им путем выписок из берлинских соц.-демократических газет.

Гвоздем того времени в радикальных кружках — если не считать выстрела Веры Засулич и предстоящего над нею суда — было чигиринское дело. С начала 70-х годов, главные силы народников, социалистов-революционеров были направлены в крестьянские массы, на организацию по деревням революционных кружков. Такие кружки в 5—10 чел. были по деревням, но в них не замечалось склонности к самостоятельному развитию, как это имело место среди городских рабочих кружков. Жизнь этих крестьянских кружков замирала, как только уходили из деревни спавшие их революционеры из пришедших элементов. Отсутствие самостоятельной жизни и развития в этих кружках очень печалило нас, народников-бакунистов, подрывая веру в наше дело. И вот на этом фоне появилось нечто новое, ободряющее. Подготавливался процесс чигиринцев. К этому процессу привлекались уже сидевшие в киевской тюрьме Стефанович, Дейч, Бохановский и, как ходили слухи, 750 крестьян. Это была первая крупная крестьянская организация. Публика знала, конечно, что крестьяне Чигиринского уезда были организованы Стефановичем, при содействии подложного манифеста, написанного от имени царя, но все же подробности этого дела крайне интересовали ее.

В кружке нашем знали, что я имел некоторое касательство к этому делу, а потому, естественно, что редакция «Начало» надела на меня, чтобы я для первого же номера составил корреспонденцию о чигиринском деле. Это поставило меня в большое затруднение. Что я мог написать по этому делу? Описывать наши хождения по Киевской губернии было бы еще несвоевременно, это дало бы материал для жандармского расследования. Я мог только написать о деятельности Фомы Прядко. Но о чем хлопотал Фома Прядко, чем были

недовольны его земляки? Они требовали передела земли по ревизским душам. Из чего вытекало это требование? Крестьяне Киевской губернии издавна владели землей на правах частной собственности, не было у них, я это хорошо знал, стремления перейти к общинному землевладению; так почему же они требовали передела земли, не хотели подписать акта, предложенного им люстрационной комиссией, о том, что они довольны существующими у них формами землепользования? Это было загадочно; на этот вопрос мне впоследствии, на Каре, не мог ответить и Стефанович. Вопрос этот я себе выяснил только в 1926 году, когда летом побывал в бывшем чигиринском уезде и получил там от одного из местных старожилов какое простое разъяснение этой загадки: «А как же? Помещичьи крестьяне при их освобождении получили из панских земель по одному куску на каждую мужицкую душу, а у нас равенства в распределении земли не было, и люстрационная комиссия хотела это неравенство между нами закрепить особым актом». Коротко и ясно. Но тогда этой ясности у меня в голове не было. Я решил собрать все слышанные мной в Киевской губернии легенды о чигиринском деле и составить из них корреспонденцию.

Корреспонденцию свою я писал, сидя в кабинете Луцкого. Поздно вечером прибежал брат и сообщил очень тревожное известие. К нему пришел его старый приятель, наш уфимский земляк, Жуковский, товарищ прокурора С.-П. окружного суда, отказавшийся от роли обвинителя по делу Веры Засулич. Жуковский сообщил брату, что среди чинов прокуратуры циркулирует слух: В. Засулич действовала не одна, она имела сообщницу; последняя будет арестована, она живет в двух шагах от окружного суда, на Литейном проспекте.

Я бросил перо и вскочил, как ужаленный. Речь, очевидно, шла, как тогдашняя об этом и брат, о М. Коленкиной. Но брат не знал адреса Коленкиной, а я знал: она жила в саженях 50-ти от окружного суда, на Литейном проспекте, жила вместе с Чубаровым. Необходимо было немедленно предупредить их о предстоящем аресте. Я приехал к ним уже около 10 часов вечера. Они были дома, они были поражены привезенным мной известием. Я убеждал их немедленно покинуть квартиру. Но Коленкина скоро оправилась и заявила, что она не оставит квартиры, что если придут жандармы, она окажет им вооруженное сопротивление.

— Вооруженное сопротивление, — сказала Коленкина, — это при данных условиях лучший способ пропаганды.

Настроение Коленкиной, как мне казалось, я понимал. Она полетала, как и все мы в то время, что Вера Засулич погибла, будет осуждена в каторжные работы. Она, провожая свою подругу на подвиг, надеялась, застрелив Желеховского, разделить ее участь. Это ей не удалось, это ее тяготило. И вот, узнав от меня о предстоящем обыске, она открыла выход из этого угнетавшего ее положения: оказав вооруженное сопротивление, она надеялась теперь соединить

¹ См. «Русская Историческая Библиотека» № 3. Революц. журналистика 70-х годов. Изд. Базилевского, Paris, 1905 год.

свою судьбу с судьбой подруги, предстать вместе с нею перед царским судом.

Чубаров взволнованно, задумчиво шагал по комнате. Он не возражал Коленкиной. Я доказывал, что вооруженное сопротивление имеет смысл, когда человек гибнет, захваченный при известном деле, когда все пути к отступлению ему отрезаны. Коленкина упорство вала, она предлагала и настаивала, чтобы и я остался с ними для участия в их вооруженном сопротивлении жандармам.

Было уже поздно, жандармы вот-вот могли нагнать. Я простился с товарищами и ушел. Слежки за собой я не заметил. Это было странно. На всякий случай я прошел по пустынным улицам и через знакомый проходной двор. Не знаю, долго ли прожила Коленкина с Чубаровым на упомянутой квартире, но жандармов они не дождались. Чубаров скоро уехал на юг, а Коленкина прожила в Петербурге после расказанного эпизода еще около года. Для меня до сих пор неясно: каким образом чины прокурорского надзора С.-П. окружного суда могли с такой точностью узнать, что у В. Засулич была соучастница и что соучастница эта живет так близко от суда, в Литейном проспекте, и каким образом слух об этом не достиг до ушей жандармов.

Мы набирали первый номер газеты «Начало», материал для него был уже частью доставлен нам редакцией. Набирая, мы поглядывали в окно. Мы знали, что сегодня, 25 февраля, состоится похороны Падлевского; что похоронная процессия должна пройти по Кировской улице, мимо окон нашей типографии. Процессия скоро показалась, она удивила нас. Гроб несли скорым шагом, сопровождавшая публика была в каком-то нервном, воинственном настроении. Полиция отсутствовала. Так, почти беглым шагом, и прошла мимо наших окон эта странная демонстрация, человек в сто пятьдесят. На следующий день нам доставили для газеты описание этих демонстративных похорон. Антон Александрович Падлевский умер от чихотки в Николаевском военном госпитале, куда в совершенно безнадежном состоянии был переведен из дома предварительного заключения. Труп лежал в часовне госпиталя, похороны были назначены в 8 часов утра. У входа в часовню собралась небольшая кучка социалистов, успевшая узнать о смерти своего товарища. Опасаясь демонстрации, полиция не выдавала труп. Она спрятала на соседнем дворе 15 городских, сообщила о собравшихся III отделению и ожидала его дальнейших распоряжений. А время шло, с ответом медлили. К 12 часам уже образовалась около часовни целая толпа; обнаруживая признаки нетерпения, она стала настойчиво требовать выдачи тела покойника. Наконец, был получен ответ III отделения: отложить похороны до более удобного времени, т.-е., как поняли товарищи покойного, до момента, удобного для похорон труп. До этого было уже четыре случая похищений полицией трупов «политических преступников», похороненных ночью, без ведома родных и знакомых. Получив такое распо-

жение, полиция отослала похоронные дроги и предложила собрать толпу немедленно разойтись. Толпа возмутилась, двери чавкала, под напором нескольких человек, растворились. Через несколько минут в дверях часовни показалась уже похоронная процессия, впереди женщины несли белую крышку гроба... Загremело «вотый боже»... Этим пением товарищи пытались парализовать сопротивление полиции. Пение заглушалось полицейскими свистками, криками растерявшегося пристава: «вернитесь, хуже будет, вам поставят солдаты». Но толпа, быстро подвигаясь вперед, очутилась уже на Таврической площади. Тут ее нагнали на извозчиках горюющие, скрывавшиеся в засаде, и бросились отнимать гроб. Произошла давка. Собралось много посторонней публики. Полиция кричала: «студенты хоронят живого», стараясь привлечь на свою сторону массу любопытных, окружавшую процессию. Это не помогло: труп синеватым, исхудалым лицом страдальца был у всех на виду. Давка с полицией продолжалась, тело покойника едва не вывалилось из гроба на мостовую... Посторонняя публика возмущалась: «что же это с... с..., и мертвым не дают покоя... это святотатство...». Похоронная процессия двинулась дальше, к зданию с лицемерной улыбкой: «Правда и милость да царствуют в судах». Перед этим движением процессия остановилась; гроб был высоко поднят товарищами мученика... раздалось похоронное пение, звучавшее проклятием всем гонителям борцов за народное дело. Та же сцена повторилась у дома предварительного заключения, в котором был замучен адлешевский. Затем похоронная процессия, сопровождаемая полицией, мирно проследовала на Выборгское католическое кладбище. Зашла речь о наименовании нашей печатни, я предложил сохранить за ней название уже существующей, предназначенной к закрытию «Вольной Русской Типографии». Я исходил из того соображения, что, сохраняя это название, мы запутаем свой след, заставив ищущих искать нас не на вновь устроенной квартире, а в помещении, существующем уже около года. Карловский не согласился с этим, говоря: «Наш кружок не может взять на себя ответственности за все, что будет напечатано в вашей типографии». Это было сказано так решительно, что я, догадавшись, что этот вопрос на деле уже предрешен, не стал спорить и предложил назвать нашу печатню «Петербургской Вольной Типографией». «Вот, вот,—сказал Карловский,—и я это хотел предложить». Все типографщики согласились, крещение нашей печатни состоялось. Получив от брата первый номер газеты «Начало», Жуковский сетовал: «Зачем мы назвали свою печатню «Петербургск. Вольн. Типографией», назвали ее «Московской Вольной Типографией», все розыски и направленные бы в нашу черносотенную столицу. Вот накопился бы там драк Долгорукий».

Вышел первый номер газеты «Начало». Как первая подпольная зегга, она произвела впечатление. Но нельзя сказать, что она имела

успех. Под скромным своим наименованием она имела подзаголовок «орган русских революционеров». Этим подзаголовком мы думаем пригласить к участию в нашей газете русских революционеров всех фракций, рассчитывая, что общими усилиями мы выясним правильный путь предстоящей нам революционной деятельности. Но публика недоумевала: «Чей это орган, кто эти революционеры, почему у них такая каша в голове?». При отсутствии определенной программы понятно, газета наша не могла играть руководящей роли, имея хотя бы незначительный круг своих последователей. На это, впрочем, и не рассчитывали, мы желали только предоставить революционерам возможность вывить свои взгляды. Клеменц произнес острое слово: «Это не начало, — сказал он, — а мочало».

Министр юстиции Пален убедил Александра II судить Веру Засулич судом присяжных, уверив его, что последние, конечно, вынесут обвинительный приговор и тем дадут отрезвляющий урок безумной кучке революционеров, докажут всем русским и заграничным поклонникам геройского подвига Веры Засулич, что русский народ преклоняется перед своим царем, любит его и всегда готов защитить его верных слуг. Плену это легко удалось, так как Александр II глубоко верил в преданность ему русского народа и в ненависть последнего к русским революционерам, неспособным оценить произведенные царем-освободителем великие реформы.

Весть о предании Веры Засулич суду присяжных всколыхнула в обществе. Сатрапа-мракобеса ненавидели в Петербурге, его беззаконное издевательство над Боголюбовым возмущало не только русских революционеров, но и все либеральное общество, а в том числе и многих из бюрократических верхов, борющихся с Треповым из-за влияния на царя. Во главе последних стоял популярный военный министр Милютин. Все адвокатские светила того времени стремились взять на себя защиту Веры Засулич. Предстоял громкий процесс, выступление в этом процессе в роли защитника сулило адвокату славу, большую материальную выгоду, так как делало его популярным. Скрывая этого последнего низменного побуждения, добивался защиты В. Засулич и бывший прокурор судебной палаты, а теперь талантливый, но еще не популярный присяжный поверенный Александров. Импонировав своей опытностью, он говорил: «Забудьте старые грехи, передайте мне защиту Веры Засулич, я сделаю все возможное и невозможное для ее оправдания, я почти уверен в успехе». Это говорилося с такой самоуверенностью старого дельца, что за передачу данной защиты Александрову высказывались даже выдающиеся адвокаты, выступавшие уже несколько раз в политических процессах. После некоторого колебания решила вручить свою защиту этому ловкому сутяге и Вера Засулич. Привести ее к этому решению удалось с большим трудом. Она согласилась принять эту защиту лишь тогда, когда ее убедили, что оправдательный при-

говор ее процессу касается не только ее судьбы, но и, главным образом, будет иметь огромное общественно-политическое значение.

Получив в свои руки защиту Веры Засулич, Александров энергично принялся за дело. Он придумал очень ловкий фортель. Почти каждый день он посещал окружной суд, заседания его по разбору судебных дел. Сидя в публике, он тщательно изучал характер, психологию всех присяжных заседателей данной сессии: кто непреклонно и жесток, кто мягок и податлив. Зная, что входные билеты на процесс Веры Засулич усиленно разбираются врагами Трепова из бюрократической верхушки и учитывая, что эта блестящая публика, сочувственно относясь к подсудимой, окажет тем сильное влияние на присяжных заседателей, Александров старательно наметил из среды последних всех подходящих для его цели мелкобуржуазных чиновников, на которых влияние упомянутой верхушки должно было отразиться особенно сильно. По закону защитник имел право странить, без объяснения причин, шесть присяжных заседателей. Александров тщательно подготовился к использованию, в интересах защиты, этого своего права.

Суд над Верой Засулич состоялся 31 марта. Судебный зал переполнен великосветской публикой. В первом ряду сидит военный министр Милютин. Не допущенная в зал суда радикальная публика и масса учащейся молодежи толпится на Литейной и на Шпалерной, скопавшись в окружной суд и у ворот примыкающего к нему дома предвзятых заседателей. Большой наряд полиции и жандармов охраняет входы в эти здания.

Суд идет. Место председателя занимает Кони. На скамье подсудимых сидит скромная женщина, окруженная конвоем. Она резко отличается от обычных лиц, сидящих на этой скамейке. Александров исключил из среды присяжных заседателей намеченных им лиц. Подымая объяснила, что она уже несколько лет стоит в рядах социал-демократов, была в ссылке. Боголюбова она не знала, она видела в нем только товарища по революционной деятельности. Беззаконное и жестокое издевательство над ним ее глубоко возмутило. Она ждала, что виновник этого безобразного надругательства над человеческой личностью понесет законную кару; шли месяцы, Трепов продолжал занимать свой пост. Так прошло полтора года, тогда она решила, наконец, выразить протест против издевательства над своим товарищем, против вопиющего бесправия российского обывателя. Прокурор произнес бесцветную речь, Александров требовал оправдания; блестяще нарисованной картине он обрисовал образ подсудимой, вынул мысли, ею уже высказанные на суде. Публика аплодировала. Кони пригрозил за аплодисменты очищением залы от публики. Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату. А толпа улице все росла. Время-от-времени к ней выходили сочувствующие лица, которым удалось проникнуть в судебную палату, и сообщали о всех деталях процесса.

Около 8 часов присяжные вышли из совещательной комнаты произнесли свое историческое: «Нет, не виновна». Зал огласился громом аплодисментов. Ни публика, ни революционеры, ни жандармы не ожидали такого приговора, не подготовились к нему, главное, не сообразили всех его последствий. А маленький Ко, глубокий законник, привычной рукой уже писал приказ о немедленном освобождении подсудимой из-под стражи. К этому обязывал закон, так он и поступил. Все поздравляли Веру Засулич, смотрели дома предварительного заключения торопил ее: «Уходите, уходите, а то жандармы спохватятся и вновь арестуют вас». Трудно представить восторг публики, когда, держа в руках небольшой улок со своими вещами, показалась Вера Засулич. Ее понесли на руках, потом усадили в карету. Карета, сопровождаемая восторженной публикой, двинулась по Литейному проспекту, но полиция жандармы направили ее в менее людную улицу. Здесь они набились на публику с обнаженными шашками. Сидорацкий, младший брат известного в то время конспиратора, мужа Ободовской, полагая, что жандармы и полиция желают арестовать В. Засулич, выхватил револьвер и выстрелил. Пуля, направленная в жандарма, оцарапала голову подвернувшейся курсистке. На лице последней показалась кровь. Думая, что он убил курсистку, Сидорацкий застрелился. Двое свидетели утверждали, что Сидорацкого убил жандарм¹. Но о смерти Сидорацкого не имели под собой почвы, жандармы в данный момент еще не думали об аресте В. Засулич: она была оправдана по суду, выпущена на законных основаниях из тюрьмы; полиция стремилась лишь к разгону толпы. Карета отделилась от сопровождавшей ее публики и рысью двинулась дальше. Навстречу ей лег конный отряд жандармов с обнаженными шашками. Отряд этот, увидев карету, бросился на толпу, загнал в соседние дворы и повел ее избиению. А карета спокойно двигалась все дальше и дальше. Проехав большое расстояние от избиваемой толпы, она остановилась у большого дома, в котором проживала семья знакомая одному из лиц, сопровождавших В. Засулич. Здесь был сделан первый привал. Долго оставаться тут было нельзя: ясно, что жандармы спохватятся, бросятся по следам кареты. Так оно и случилось. Когда явились сюда жандармы, Вера Засулич была уже в другом месте.

Для через два я навещил ее в квартире Жемчужникова, фактического редактора журнала «Слово». Засулич сидела одна, читала русские и иностранные газеты, жаловалась на скуку. «Все приходило сюда», — говорила она, — считают своим долгом петь мне дифирамбы. Коробит меня от этих похвал. Вчера зашла ко мне Маша и за что-то выругала меня дурой; по контрасту это было мне очень приятно.

¹ Вопрос о причинах смерти Сидорацкого не вполне выяснен. Есть данные подтверждающие, что он погиб от пули жандарма. Ред.

Вместо нескольких дней Вера Засулич под вооруженным конвоем, сопровождавшим из Клеменца, брата, Карпушки и меня, была переведена Жемчужникова на Невский проспект, в квартиру Веймара. Она решительно протестовала против такой свиты, находя, что это не императивно, но конвой, как понимал, все же исполнил свой долг. Публике ходили слухи, что Вера Засулич скрывается в Зимнем дворце, у какой-то фрейлины. Из квартиры Веймара Вера Засулич в полночь была переброшена в квартиру Грибоедова, а затем в Веймарову.

По выпуске первого номера нашей газеты, Петерб. Вольн. Типограф. приступила к печатанию брошюры «Живые погребенные» с описанием ужасных условий, при которых отбывали «каторжные работы» наши товарищи, заключенные в новоборисоглебскую тюрьму. В апреле наша типография напечатала 2-й и 3-й номера газеты «Начало» и «Летучий Листок» Михайловского. В мае мы выпустили 4-й номер своей газеты и тем закончили свои работы в зимне-весенний период 1878 года.

Кто был авторами статей в газете «Начало»? Брат принимал деятельное участие в редактировании всех статей, но автором он был только трех из них: для первого номера им написана «Внутренняя политика», в третьем и четвертом — передовые статьи. «Итальянец» был автором «Хроники социалистического движения на Западе», помещенной в 1-м и 2-м номере, и статьи «2-й Французский рабочий конгресс» — в четвертом номере; Засидимский поместил во 2-м номере статью — «Бойня 31-го марта», я в 1-м номере — «Чигиринское дело». Кто был автором остальных статей, я забыл или не знал. Конечно жалко, что мне достоверно неизвестен автор статьи, помещенной в самом конце последнего номера нашей газеты. Статья эта очень характерна для своего времени и написана, я почти уверен в этом, Петропавловским-Карониным, стоявшим в марте-апреле очень близко к нашей редакции.

Работа нашей типографии протекала мирно. Я, разыгрывая из себя молодого человека, вооружился большим портфелем и переносил в нем чистую бумагу в печать и готовые листы газеты и брошюры — в волю. Пташка для той же цели спил нагрудник из черного кожаного, ловко скрывавшийся под его накидкой. На долю остальных ставались небольшие лакетики, не обращавшие на себя особого внимания. Сосед наш, секретарь III отделения, продолжая пьянствовать, как не замечал. Так тянулось дело до первой половины апреля, когда наша хозяйка-стратег заметила, что наш городской-кантонист обнаруживает беспокойство: он зорко осматривал всех жителей нашей квартиры при их выходе на улицу и внимательно приглядывался к нашим окнам. Проверили ее наблюдения, они оказались правильными. По совету «стратега», я купил банки с цветами и расставил их на наших двух окнах. Это усилило подозрение «кантониста», заставило его сосредоточить свое наблюдение именно за этими

окнами, но за цветами он, конечно, ничего увидеть не мог, кроме моей фигуры, когда я поливал растения, ухаживал или любовался ими. Как-то выйдя на улицу, я заметил «кантониста» разговаривающего с приставом. Последний зорко осмотрел меня и мой наглый раз нутро набитый портфель. Было заметно, что пристав скептически относится к подозрениям своего подчиненного. Старший дворник подробно расспрашивал нашу кухарку о жизни и занятиях обитателей нашей квартиры. Грозные признаки нарастали. К счастью, мы уже окончили печатание четвертого номера газеты «Свободолюб», на лето запрятали свою типографию в сундуки и шкафы, а сама об отдыхе на лоне природы, когда без предупреждения в комнаты вошли старший дворник и печник для осмотра, как объяснили, печки. Странно, печки обычно осматривают осенью, а в мае месяце. Мы сидели с дворником на сундуке, разговаривая, наблюдая за работой печника. Если бы дворнику вздумалось поднять этот сундук, то несмотря на его большую силу, он не мог совершить этого: в сундуке хранились наши типографские принадлежности, весил он пудов 18. После ухода этих гостей хозяйка стратег объяснила, что они нарочно были ею пропущены к нам препятственно, так как она знала, что у нас все в порядке и не тела возбуждать в дворнике подозрений.

Пташка был легальным человеком, мог жить по собственному куменгу и пользовался фальшивым паспортом только для удобства для сохранения своего доброго имени в глазах жандармов и не давая бросить тень на своих родных и знакомых в случае ареста. Прокладывание по фальшивому паспорту имело еще одно огромное преимущество: меняя свой паспорт, мы тем самым заматали следы всему своему прошлому. На лето Пташка решил ехать к своему брату, служившему акцизным чиновником в Черниговской губернии на каком-то винокуренном заводе. Собираясь в дорогу, он ушел в свой тучок по несколько экземпляров всех произведений своей типографии и просил меня снарядить его револьвером. «Зачем револьвер?» — спросил его я. — «Если меня арестуют с этой литературой, — ответил он, — то я окажу вооруженное сопротивление и потом застрелюсь: я не желаю попасть в тюрьму». Пытаясь отклонить его от этого намерения, я старался убедить его, что такое самоубийство было бы равносильно бегству с поля сражения, и снабжения его револьвером отказался. Но Пташка был упорен: отложил свою поездку на один день, достал себе где-то револьвер и уехал вооруженным.

Я остался один в наших комнатках. Было опасно, но квартиру этот раз покинуть мы не могли. А между тем полиция стояло только навести справку у харьковского полицеймейстера, чтобы обнаружить подложность наших документов и накрыть нас с полицием. Вся надежда была на пристава, относившегося с большим недоверием к подозрениям городского-кантониста. И последний, после нашего

к нам печника и дворника, имел несколько сконфуженный вид. Я старался придать себе вид джентльмена и, выходя из дома, тщательно наблюдал, нет ли за мной слежки, но таковой не заметил. Мало-помалу успокоился и стал посещать брата, Коленкину, проживавшую вместе с Малиновской; Лешерен-фон-Герцфельд, жившую недалеко от нашей квартиры. У Лешерен, кажется, перешедшей уже в то время на нелегальное положение, толкалось много народа. Встретившись я здесь с братом, Кравчинским, Коленкиной, Петропавловским-Карониным, Юргенсом и др. У лиц, не знавших о моем поезде в революционном деле, — а к таковым в этой толпе принадлежала и Лешерен, — мой изящный костюм возбуждал смех и недоумение. Как-то с братом зашел к Сергею Кравчинскому, уже нащупывавшим почву по вопросу о передаче народникам нашей типографии. У Кравчинского сидел Добровольский, осужденный по процессу 193-х в каторжные работы. Суд ходатайствовал перед царем о смягчении ему, как и всем его товарищам, кроме Мышкина, назначенного им наказания; суд был настолько уверен в царской милости, обычно в таких случаях являвшейся простой формальностью, что согласился освободить из тюрьмы Добровольского, здоровье которого было сильно расшатано, на поруки, под залог в 10 тыс. рублей. Залог этот был внесен за него присяжным поверенным Бардовским или Утиным, кем-то из них. Теперь, когда Александр II, обозленный выстрелом В. Засулич, отказался смягчить участь осужденных в каторжные работы, Добровольского, с согласия залогодателя, решили переправить за границу. Добровольский пришел к Кравчинскому проститься и взять у него адреса в Швейцарию. Когда он, изможденный и худой, чудом избежавший смерти, ушел, у нас речь зашла о Рогачеве. Я вспомнил и рассказал о последней встрече с ним. Это было в Одессе. Когда я приехал туда из Кишинева, то часто ночевал в квартире Ковальского, жившего в то время где-то около Дюковского сада. Как обычно, около Ковальского группировалась молодежь. Я видел здесь Франжолли, шупленького, оживленного еврейчика, совсем юного Янковского, безвинно осужденного через год-два в каторжные работы по делу о покушении на убийство Горниовича, Белоконовского, его будущую жену Валерию, за которой он в то время ухаживал, старшую сестру последней и др. Вечером, когда пили чай и разговаривали, зашел к нам неизвестный мне член чайковского кружка, сопровождаемый здоровым плечистым парнем, с загорелым лицом, обрамленным слегка выщипанными каштановыми волосами. Последний имел вид черноработного, хотя и был одет в довольно приличный костюм. Чайковец, поздоровавшись с Ковальским и понизив голос, сказал: «Я привел к вам Рогачева, только-что вернувшегося с Поволжья. Вы ему, конечно, не откажете в приюте на эту ночь?». Рогачев... мы изглянули на последнего с восторгом. Это была легендарная личность того времени. После июльско-августовских погромов 1874 г. Рогачев скрылся почти на два года. В радикальских кружках ходили

смутные слухи, что он опростился, ведет пропаганду среди буржков и грузчиков Поволжья; нам был известен циркуляр жандармов, предписывавший своим агентам: если где-либо будет обнаружен Рогачев, то не приступать немедленно к его аресту, а предварительно в виду его огромной силы, сгруппировать для этого дела не менее четырех сильных нижних чинов. И вот, этот легендарный человек — среди нас. Мы, конечно, рады были оказать ему приют. Рогачев рассказал нам много эпизодов из своей скитальческой жизни, но среди них не было ни одного, который бы ярко врезался в память. И меня поразило, что, проживши около двух лет в рабоче-крестьянской среде, будучи в ней своим человеком, ведя пропаганду, он не мог как видно было из его слов, организовать в Царицыне, в котором он главным образом проживал, революционный кружок, способный продолжить его дело и войти самостоятельным членом в наши организации.

Ковальский, обладавший значительной силой и регулярно развивавший свои мускулы гимнастикой, пожелал потянуться на палке с легендарным богатырем. К нашему удивлению, он довольно легко перетянул Рогачева. Победителем оказался и кто-то другой из товарищей, сменивший Ковальского. С некоторым усилием перетянул Рогачева и щупленький Франжоли. Рогачев, сконфуженный, больше не пожелал тянуться на палке. Я испытал свои силы с Франжоли и без особых усилий приподнял его. На следующий день Рогачев уходя, сказал нам: «Денька через два приду и всех перетяну вас на палке». Так бы оно вероятно и случилось, так как Рогачев, как впоследствии убедился, действительно обладал большой силой, но больше его мы не видели.

— Франжоли перетянул на палке Рогачева, — сказал с недоверчивостью Кравчинский, — а вы перетянули Франжоли. Это непременно: в таком теле и такая сила. Рогачев меня перетягивал на палке. Это интересно, мы сейчас испытаем вашу силу.

Как я ни протестовал против такого испытания, находя его совершенно излишним, все же мне пришлось сесть на пол против этого колосса, поднявшего меня, как легкое перышко.

Зашедши в другой раз к Кравчинскому, я застал у него Стефановича. Говорили об опыте, произведенном последним, по организации крестьянских сил, о желательности повторения этого опыта без опоры на царский авторитет, связав таковой с одновременной дезорганизацией правительственной верхушки, путем террора. Этот проект, выдвинутый Кравчинским, мне казался в тот момент увлекательным и осуществимым.

Кравчинский, посмотрев на часы, сказал, что в это время, перед обедом, он обычно ходит на стрельбище, и предложил нам сопровождать его. Мы вышли на улицу. И я и Стефанович были одеты не плохо, но наши костюмы терялись в блеске костюма Кравчинского: цилиндр, изящное пальто, тросточка, величественный вид. Сре-

бще ютилось на Загородном проспекте, на задворках гвардейских казарм. Оно было сделано для военных, но допускались туда и штатские. Пришедши в это помещение, выходившее задним фасадом на Семеновский плац, на котором спустя два года были казнены осужденные по делу 1-го марта, мы вынули свои револьверы и упражнялись в стрельбе. У меня был хороший револьвер, но малого калибра. Подошел ко мне сторож и сказал: «Какой у вас маленький револьверчик, а и из него, пойдя, можно нанести большой вред человеку». Нужно было видеть, каким высокомерно-презрительным взглядом, конечно, поддельно-актерским, оглядел этого «нижнего чина» Кравчинский. Сторож под его взглядом оробел, рабски с'ежился и отошел к своему месту.

В период черногорского восстания отец был командирован, как уполномоченный от Красного Креста, к князю Николаю и вошел с ним и его семьей в дружеские отношения. В Черногории видел его Клеменц и другие русские эмигранты, прибывшие в эту страну на помощь горцам в их героической борьбе. Отец, не знавший о их прикосновенности к русск. революции, оказывал им некоторое содействие своим влиянием и деньгами из имевшихся у него сумм. Когда началась русско-турецкая война, отец вернулся в Петербург. По окончании этой войны он вместе с князем Дондуковым-Корсаковым был назначен в Болгарию и занял там временный пост — на правах министра финансов. С матерью у него примирение не состоялось до самой ее смерти, но он все же вел с нею полуофициальную переписку, посылая ей деньги и сообщая ей сведения из нашей семейной хроники. Мать, похоронив своих родителей, оказалась наследницей сельца Вараксино. Но хозяйство у нее не спорилось и она скоро, запутавшись в долгах, была вынуждена ликвидировать это имение за какие-то гроши. Она переселилась к своим сыновьям. Сыновья не были религиозны, поколебалась в вере и мать. Но, переехав затем в Уфимскую губернию, в имение сестры, мать снова впала в религиозный экстаз. Этому содействовала сестра и богатая уфимская помещица, старушка Федорова, решившая заслужить себе царство небесное обращением заблудшей овцы в христово стадо. Это ей удалось, она была в восторге. Она предложила матери занять место управляющего в одном из своих имений, в Шешминовке, около Бугульмы, где вдали от мира было так удобно спасти свою душу от всех соблазнов. Мать согласилась и вела хозяйство в этом имении при содействии опытного старосты, из местных крестьян. Содержание мать получала от отца, а не от помещицы. Последняя, таким образом, завоевала себе не только царство небесное, но и дарового управляющего. Мать для детей местных крестьян устроила школу. Брат переписывался с нею и обещал устроить ей со мной свидание, привезти меня на лето в Шешминовку. В конце июня мы собрались в это путешествие. Перед отъездом были в Лигове, где проживал Луцкий со своей семьей, Аркадий Головин, Юргенсон и много других

соратников по революционному делу. Отдыхали, играли в городки, вели дачную жизнь, набирались сил для предстоящего зимнего сезона активной деятельности. В путь мы отправились на Н. Новгород, на пароходе по Волге и Каме до Чистополя, а оттуда на почтовых лошадях до Шешминовки. Я выдавал себя за брата Василия, который был на 3 года старше меня и служил в это время тов. прокурора в Царстве Польском. Мы надеялись, что это самозванство сойдет, что после четырехлетнего розыска меня энергия жандармов и полиции в этом направлении значительно ослабела. К Шешминовке нарочито подъехали поздно вечером. В господском доме светились огни. Я остался у подводы, как бы охраняя вещи, а брат, вбежав в дом, предупредил родных о моем приезде и о том, что я приехал под именем брата Василия. Мать и гостившая у нее сестра с дочерьми выбежали во двор и обнимая называли меня «Васей». Самозванство мое, таким образом, было закреплено. Дня через три сестра с семейством уехала, ей нужно было спешить к страде в свое имение. В 1894 г., когда я из Сибири был переведен на жительство в ее поместье, сестра, вспоминая старину, со слезами на глазах сказала мне: «Я могла и хотела спасти вас, когда вы были у матери в Шешминовке, и ты не был бы сослан в каторжные работы: стоило мне только известить о вашем пребывании у матери жандармского полковника. Но что бы вы тогда сказали обо мне?». Она была удивлена, когда я, пораженный и возмущенный ее намерением в прошлом, и теперь ответил ей: «Прокляли бы тебя на всех вселенских соборах».

Не подозревая этих добрых мыслей сестры, так трогательно распрощавшейся с нами, мы спокойно прожили у матери около месяца. Мать пользовалась в окрестностях славой лекарки. Докторила она по домашнему лечебнику.

— Ну, а как ты поступаешь, когда по лечебнику разобраться не можешь?

— А тогда я помолюсь богу, — ответила она мне, — и иду в поле. Напряженно думаю о больной и смотрю на травку. И вот одна из травок так и потянет меня к себе. Нарву этой травки, высушу ее и велю больному пить ее, как чай. И почти всегда помогает.

— А зимой?

— На зиму делаю запас этих трав.

Больных приходило довольно много, мать лечила их, конечно, даром. Была у нее и домашняя аптечка с запасом общеупотребительных лекарств. В ее амбулаторных приемах пришлось принять участие и нам, помогая матери разбираться по лечебнику и используя те обрывки знаний по медицине, которые у нас имелись. Как-то прибежал старик-староста, помогавший матери в ведении хозяйства, жалаясь, что «схватило живот» у его жены, и взывая о помощи. Взяли с собой касторку и пошли с братом. В избе старосты на кровати лежит молодая красивая женщина, ахает и охает, домашние, стоя у по-

стели, с испугом смотрят на нас. Дали своего лекарства и ушли. Через полчаса вновь прибегает староста и с большим беспокойством и скрытым негодованием говорит: «Что вы дали жене? Как выпила, так колом, говорит, стало оно у нее в животе... Помирает». Вновь пошли к старосте. Больную уже на перинах вынесли на двор. Мечется, стонет: «Как выпила... Помираю». Окружающие ее родные и соседи смотрят на нас с укоризной, как на отравителей. Растерялись. Что тут делать? Еще побойот. Увернем, что дали касторку, что от касторки ничего плохого не может быть. На лицах больной и окружающих — полное недоверие. Прибежали домой. Брат нервно перелистывает лечебник, я роюсь в лекарствах. И вот, как мать тянуло к какой-либо травке, так меня притянул к себе пузырек с валерианкой. Дурит, думаю, баба, надо ей нервы успокоить. Брат одобрил мою мысль, староста с новым лекарством, окрыленный надеждой, помчался к своей жене. Часа через два он вернулся, и, как говорится, чуть в ноги не кланялся: «Уже не знаю, как благодарить. Вот это настоящее средство дали. Как выпила это жена, так, говорит, по всем жилам благодать пошла. Вы уже, будьте добры, дозвольте у себя пузырек с лекарством оставить, я его к образам поставил». — А живот? — «И нутро прочистило, теперь все хорошо, баба веселая стала».

В одно из воскресений детишкам устроили угощение, фейерверк. В заключение пустили воздушный шар с нагретым воздухом. Шар этот, поднявшись саженой на десять, загорелся и, обятый пламенем и подгоняемый легким ветерком, плавно двинулся к соломенной крыше длинного амбара-сарая. Все смотрели на него с ужасом. До сарая он не долетел, но праздничное настроение всем нам испортил.

Благодушное проживание наше в Шешминовке было нарушено в конце июля приездом хозяина имения, офицера Федорова. Родители его умерли, он, как единственный сын и наследник, обзаял свои поместья и ревизовал их вместе со своим главным управляющим. Он только что вернулся с войны, где состоял адъютантом при ген. Гурко. Осенью 1877 г. я встретил этого гвардейского офицера, с которым обучался одновременно в Уфимской гимназии, на харьк. ж.-д. вокзале; когда он со своим полком направлялся на поле брани. Мы узнали друг друга, но я, как нелегальный, уклонился тогда от возобновления нашего знакомства. И вот теперь мы вновь встретились. Он, конечно, узнал меня, но промолчал, хотя, судя по наружности, был недоволен, что в его имении, под именем брата, которого он также хорошо знал, скрывается разыскиваемый государственный преступник. Как-то поздно вечером мы при свете лампы пили чай в садовой беседке. Мать расспрашивала Федорова о подробностях смерти его матери. И вдруг вдали послышался мелодичный звон колокольчиков, шум приближающегося экипажа. Место было глухое, кто мог в такую пору приехать к нам? Не жандармы ли? Мы с братом взволнованно прислушивались к тревожным звукам. Взвонова-

лась и мать, но еще больше всех нас — хозяин имения. Только его управляющий смотрел с недоумением на наши встревоженные лица. Экипаж с грохотом и звоном промчался мимо. На другой день Федоров, захватив с собою и своего управляющего, уехал от нас. Не надеясь на скромность этого офицера — хотя в данном случае он оказался вполне порядочным человеком, — двинулись в обратный путь и мы с братом. В Н.-Новгороде остановились у Астафьева, проживавшего в обширной квартире своей матери при опустевшем на это время институте благородных девиц. Проехали и в его имение, но пробыли здесь недолго. Узнав из газет об убийстве Мезенцова и поняв, что в данный момент народилась острая нужда в работе нашей типографии, мы, воодушевленные к новой борьбе, немедленно вернулись в Петербург.

XI. «ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ».

Пташка вернулся из своей поездки на несколько дней раньше меня; к счастью, револьвер ему на этот раз не потребовался. Виделся я с Кравчинским. Он показал мне кинжал-стилет, которым убил Мезенцова. — «Думали-гадали, — шутливо сказал он, — а дело оказалось таким простым: ткнул человека этим ножичком, и нет обидчика-врага». Он написал свою известную брошюру: «Смерть за смерть». В этой брошюре есть место, из которого видно, что «ткнуть человека ножичком» не так-то было ему легко: «Убийство вещь ужасная. Только в минуту сильнейшего возбуждения, доходящего до потери самосознания, человек, не будучи извергом, может лишиться жизни себе подобного». Корректуру этой брошюры Кравчинский просил меня доставить ему. — «Я буду ждать вас ровно в 3 часа на углу Невского и Литейного». Он был точен. Придя в назначенное время и место, я увидел внушительную, изящную фигуру Кравчинского, внимательно вглядывавшегося во все четыре угла Невского, Литейного и Владимирского проспектов.

Оживление работы в нашей типографии вновь вызвало беспокойство в нашем городском-кантонисте. На этот раз его упорная подозрительность смутила, кажется, в связи с убийством Мезенцова и строгими наказами о наблюдении за подозрительными людьми, и пристава. Как-то, поливая цветы, я заметил фигуру последнего, переодетого в крестьянский костюм и наблюдавшего наши окна из приотворенной калитки соседнего дома. Студент Панютин благополучно сдал свои экзамены на лекаря и нарядился в костюм военного врача. «Кантонист» при встрече с ним вынужден был теперь становиться во фронт и отдавать ему честь. Это превращение студента в военного врача привело в недоумение нашего старшего дворника. Он сказал нашей кухарке: «Я думал, что студенты так, последние люди, а они, значит, учатся и из них доктора выходят?». Но «кантонист» не смутился, не придавал значения этой метаморфозе и даже использовал ее для своих наблюдательных целей. Он привел к новоиспеченному врачу пациентку. Панютин, старательно осмотрев больную, никакой болезни у этой пациентки не нашел, но обратил внимание, что приведенная городовой женщина очень внимательно при-

смастривалась к его кабинету. Был и еще один тревожный сигнал. Поднимаемся мы с Пташкой по пустынной лестнице в наш пятый этаж и встречаем интеллигентную женщину-девушку. Не глядя на нас, она сказала: «Разве можно так неосторожно устраивать типографию?» Мы сделали вид, что не придали никакого значения ее фразе, но придя домой подвергли этот факт обсуждению. Кто была эта женщина-девушка? Друг или враг? Под нашей квартирой жило много курсисток. Возможно — это казалось более вероятным, — что одна из них жила под нашей типографией и что до нее доносились подозрительные звуки, недостаточно заглушенные принятыми нами мерами, при печатании на нашем станке. Это одна версия, дружественная: курсистка догадалась о характере нашей работы и желала предупредить нас о грозящей опасности. Но возможным являлось и другое предположение: пристав, желая убедиться в верности подозрений городского-кантониста, мог поручить одной из своих служащих сделать нам это предупреждение и донести ему о впечатлении, которое оно произведет на нас. Как бы там ни было, но сигнал был грозный. Заволновалась и наша хозяйка-стратег. Она пришла к нам и решительно потребовала, чтобы мы немедленно оставили занимаемое нами помещение, так как по ее наблюдениям за нами установлен строгий надзор.

Надо было бежать. К счастью, переселение нашей типографии к этому времени было уже предпринято и отчасти подготовлено. После убийства Мезенцова организация народников заняла исключительно центральное положение в русском социально-революционном движении, а потому для всех нас стало ясно, что единственный нелегальный печатный орган должен находиться в ее руках. Вопрос о передаче Петербургской Вольной Типографии народникам от кружка издателей газеты «Начало» был решен на совместном собрании представителей этих организаций. На этом собрании присутствовали: брат, я, Кравчинский, Клеменц и еще кто-то. Передача эта была уже всеми предпринята, а потому не возбудила споров. На этом же собрании кто-то поднял вопрос о царевубийстве: бьем, мол, всех прихвостней, нужно направить удар в самый центр. Против этой мысли горячо возстал Клеменц. Он говорил, что после 19-го февраля авторитет Александра II настолько окреп в народе, что убийство его вызвало бы взрыв негодования среди крестьян, и пропаганда против царизма на долгое время стала бы в сельских местностях невозможной. Ему никто не возражал, но по лицам большинства присутствующих все же было видно, что этот вопрос окончательно ими еще не решен.

Если идти от Невского проспекта по правой стороне Николаевской, то пройдя эту улицу, — ее широкую часть, — попадете в следующую, более узкую, название которой не помню. Продолжая свой путь, пройдя первый дом от угла Николаевской, вы заворачиваете направо в ворота второго большого каменного дома. Во дворе этого

дома и была снята квартира для «Петербургской Вольной Типографии», предназначенной теперь для печатания газеты «Земля и Воля». Квартира помещалась во втором этаже, состояла из передней, примыкавшей к ней кухни, коридора и трех комнат. Последняя, самая большая из этих комнат, и была предназначена для типографии. Пол в ней был фундаментальный, помещалась она над сараем; можно было вполне рассчитывать, что через него не проникнут в сарай заглушенные звуки от нашего печатного станка. Квартира была снята М. П. Крыловой. Вместе с ней, в качестве ее племянницы, поселилась М. В. Грязнова. Хозяйки заняли среднюю комнату, о сдаче двух других вывесили у ворот записку-объявление.

Мария Павловна Крылова была старая революционерка, вращавшаяся среди радикальских кружков, со времени Каракозова. Вращалась, но не примыкала к кружкам, сохраняя свою самостоятельность. Такой уж был у нее нрав. Она не принадлежала и к организации «Земля и Воля» и только после раскола последней примкнула к кружку чернопеределцев. Занималась она всевозможными профессиями, в качестве наборщицы служила как-то в одной из харьковских типографий. Когда народники-троглодиты устроили «Вольную Русскую Типографию», Крылова была приглашена ими в качестве квартирной хозяйки и наборщицы.

Мария Васильевна Грязнова, крестьянка Тверской губернии, проживала вместе со своей старшей сестрой в Петербурге, зарабатывая свой хлеб шитьем и вращаясь среди радикальских студенческих кружков. Сестра ее вышла замуж за одного из студентов; по окончании последнего курса учения в каком-то ВУЗ'е, уехала с мужем на Урал. Мария же Васильевна осталась в Петербурге и была приглашена на работу в типографию для печатания газеты «Земля и Воля».

Нашу старую квартиру на Кирочной, в виду установленного за нею надзора, решено было ликвидировать внезапно, так, чтобы полиция не успела принять против нас репрессивных мер. Карловский явился с двумя ломовыми извозчиками, вместе с ними мы стали грузить на их подводы свое имущество. Нагрузка была уже наполовину закончена, когда старший дворник наш, увидев нашу работу, догадался, что мы уезжаем. Он видимо перепугался, побежал к городовому-кантонисту, спокойно стоявшему против нашего дома. Городовой исчез, пошел, вероятно, с докладом к приставу. Дворник пригласил своего товарища из соседнего дома, как бы готовясь нас задержать. Но полиция не являлась, а нагрузка заканчивалась. Дворник побежал советоваться с хозяином дома. На лестнице он столкнулся с ломовым извозчиком, несшим запакованную в рогожу тяжелую чугунную доску от типографского станка.

— Что это? — испуганно спросил дворник. — Зеркало, — с досадой в тоне отвечал тот. Дворник исчез в дверях квартиры домохозяина. Но что мог сказать ему домохозяин? Без распоряжения полиции они задерживать нас не имели права. Нагрузка вещей была

закончена. Карловский с ломовыми тронулся в путь. В присутствии оторопевших дворников я просил Карловского тщательно присмотреть за цветами, обещаясь скоро вернуться. Затем, мы с Пташкой, имея при себе лишь небольшие чехмоданчики с бельем, сели на легкового извозчика и поехали на Николаевский вокзал. «Куда же вы уезжаете?» — спросил меня с отчаянием в голосе и во взгляде старший дворник. — «В Харьков», — ответил я, когда извозчик выезжал уже со двора, — отец заболел, нужно помочь ему в нашем торговом деле». Растерявшиеся полицейские не только не предупредили нашего отъезда, но даже не успели проследить, куда мы отъезжали свою типографию. На Николаевском вокзале мы с Пташкой, дождавшись прихода пассажирского поезда, разделились, наняли извозчиков и раз'ехались по разным гостиницам для прописки вновь выданных нам паспортов.

Денька через три-четыре мы уже устроились на новой квартире и приступили к печатанию первого № газеты «Земля и Воля». Меня очень тронул своим предложением «Итальянец». Встретились мы с ним у брата, жившего в то время на Литейном проспекте, в одном доме с Щедриным-Салтыковым и градоначальником Треповым. В апреле 1878 г., когда мы печатали «Летучий Листок» Н. К. Михайловского, «Итальянец» запротестовал, не хотел набирать произведения автора, с которым он, социал-демократ, глубоко расходился в своих убеждениях. Я возразил ему: «Если каждый из нас согласится печатать только то, что соответствует его убеждениям, нам пришлось бы разбежаться в разные стороны и закрыть типографию». И вот теперь «Итальянец», чувствуя себя оторванным от революционного дела и тяготясь этим, сказал мне: «Если вам потребуется моя помощь, я охотно буду приходить к вам и помогать в наборе вашей газеты». От предложения его, однако, пришлось отказаться, наборщиков у нас было достаточно.

Распределение работ: ментрантапажем и корректором был у нас Пташка, аккуратный и крайне добросовестный работник, очень преданный революционному делу. Как корректор, он придерживался принципа, что нужно слова писать так, как они произносятся; это правило он усвоил из грамматики, составленной преподавателем русского языка одной из петербургских классических гимназий, исправляя, напр., «миллион» в «милльен» и т. д. За такие отступления от общепринятых в то время грамматических правил, в широкой публике нас обвиняли в безграмотности. Наборщики: Пташка, Крылова, Карловский и я. Печатники: Пташка, я и Грязнов. Последняя ходила за провизией и готовила нам обед. Если кто-либо оставался свободным, он читал нам новый журнал, а мы работали и слушали.

На первых же порах работа наша была прервана октябрьскими арестами, вырвавшими из среды землевольцев много ценных революционеров: Оболенев, Ольга Натансон, А. Михайлов, Троцанский, Бердников, Коленкина, Малиновская и др. В том числе был

арестован и наш Карловский. Коленкина при аресте оказала таки вооруженное сопротивление. Был захвачен и «Дворник», но, как известно, ему удалось бежать. С этого момента все сношения типографии с внешним миром велись через Александра Михайлова, ставшего ультратраконспиративным. Чтобы окончательно легализовать нашу квартиру, он предложил устроить брак между мной и Грязновой, обещая привести на свадебное пиршество какого-то отставного военного генерала. Проект этот, однако, не осуществился.

Сношение с редакцией было возложено на меня. Я виделся только с Клеменцем в квартире брата и с Кравчинским, проживавшим в то время на Загородном проспекте, около Пяти-Углов. Как-то я пришел к Кравчинскому часов в 9 утра. Он только что встал. За ширмой около его кровати стоял табурет, на нем горел ночник, лежали револьвер и его знаменитый стилет, которым он убил Мезенцова. — «Я сплю с ночником», — объяснил Кравчинский, — чтобы в минуту опасности видеть своего врага». На письменном столе лежали рукопись и какой-то роман на итальянском языке. Кравчинский занимался переводами по заданиям журналов «Знание» и «Отечественные Записки». Это давало ему заработок и скрашивало его вынужденное одиночество. К нему мало кто заходил и, по настоянию друзей, он редко появлялся на улицах. За содействие его редко была обещана крупная сумма. Все же он выбрал вечерок и, любопытства ради, посетил нашу типографию.

Вышел первый номер «Земли и Воли». Я взял несколько номеров в свой портфель и принялся за распространение их. Зашел к брату, от него к доктору Афанасьеву. Мы тогда еще не знали, что в кружке доктора Афанасьева находилась очень ловкая провокаторша, которую, как потом мне предположительно говорили, звали Сонькой. Кружок этот вместе с Сонькой ходил в народ, устроил поселения, но продержался там короткое время. Скоро появились признаки грядущего разгрома, кружок снялся и вернулся в Петербург. Все это, как впоследствии выяснилось, было совершено с ведома и одобрения III отделения, надеявшегося таким образом поднять авторитет Соньки и при помощи последней раскопать корни и нити революционных организаций. Доктор Афанасьев принадлежал к тем студентам 5-го курса, которых во время русско-турецкой войны досрочно выпустили врачами, предоставив им право, если они пожелают, закончить свое образование по прекращении военных действий. Этим правом он теперь и воспользовался, работая при Академии и изучая там, главным образом, химию, под руководством профессора и композитора Бородина. Афанасьев, занимавшего меблированную комнату, в которой он жил вместе со своей женой, я застал дома. Он был один. Волнуясь, он рассказывал мне только что происшедший с ним эпизод. Письменный стол Афанасьева примыкал к затворенной двери, ведущей в соседнюю комнату. Занимаясь, Афанасьев невольно слышал разговоры своих двух соседок, вольно-прак-

тикующих проституток, и их кавалеров. И вот, как-то он слышит, что одна из проституток рассказывает кавалеру, что у нее в деревне есть очень красивая и молодая сестра. Кавалер убеждает написать сестру в Петербург. — «Ты напиши, — говорит он, — что занимаешь хорошее место и для нее, мол, имеется такая же должность». Сестра колеблется, потом соглашается. Через некоторое время приезжает молодая девица. Сегодня Афанасьев слышит: кавалер ухаживает за девушкой, проститутки уговаривают последнюю не отклонять предложения кавалера, а девушка плачет. Афанасьев вскочил, позвал квартирную хозяйку и, указывая ей на соседнюю комнату, сказал нарочито громко, чтобы его слышали соседи: «Передайте этим девицам и их кавалеру, чтобы они не развращали молодую девушку и немедленно вернули ее в деревню. Если они это не сделают, я приму свои меры». Хозяйка испуганно замахала на него руками и шопотом ответила: «А вы знаете кто этот кавалер?.. Это секретарь III отделения». — «А, отлично». Афанасьев облачился в свой военно-докторский мундир, пошел в участок, рассказал о происшедшем и просил принять меры к ограждению деревенской девушки, заманенной в Петербург, от совращения ее в разврат секретарем III отделения. Не знаю, сделала ли полиция что-либо для спасения девушки, но описанные события несомненно стали известны чинам III отделения и через градоначальника — полиция всегда пикировалась с жандармами — и через Соньку. Этот эпизод, надо полагать, послужил последней каплей, побудившей чинов III отделения к увольнению своего секретаря, очистившего таким образом место для Клеточникова. Конечно, все эти факты мной осмыслены лишь по догадкам. Бывшего секретаря III отделения я немного знал, как своего соседа по типографии газеты «Начало», но кавалера, соблазнявшего девицу, я не видел и в старых делах III отделения не копался.

Пришла к Афанасьеву какая-то дама. Бегло просмотрев свежий номер «Земли и Воли», она внимательно вгляделась в мое лицо, мой костюм, мой портфель. Я тогда не обратил на это внимания, но потом мысленно отождествил ее с «Сонькой». Затем пришел наш общий с Афанасьевым старый товарищ по 1874 г. и Мед.-Хир. Акад. — Ломоносов. Он только что приехал из Севастополя, одет был во флотско-медицинский мундир, рассказывал о жите-бытье морских офицеров и своих первых попытках к их распропагандированию. Сонька наматывала себе это на ус. Когда я ушел от Афанасьева, за мной никто не следил. Был у брата, он переменил квартиру, поселился недалеко от нас, в Дмитриевском переулке. У него застал Клеменца, нижегородского земца Александрова, финансиста-писателя Головачева, прис. поверенного Владимира Жуковского, Луцкого и др. Головачев возмущался передовой статьей «Земли и Воли», доказывая, что главная революционная сила в России заключается в передовой интеллигенции, в ее органе — земстве, стремящемся

к конституции. «Разве нам все равно, кто будет нами править?». Его поддерживал Александров, остальные возражали. Жуковский говорил: «Только революционеры ведут непосредственную борьбу с правительством, только они обладают свободным печатным органом. Они опираются на народ. А чего добивается земство в своих петициях на высочайшее имя? Они стремятся, чтобы правительство, при своей борьбе с революционерами, искало опоры в них, представителях помещиков, фабрикантов, купцов... Могут ли революционеры помочь им в этом?».

Дней через пять я пошел к «Дворнику», просившему меня зайти к нему за чистой бумагой для типографии. Он жил на набережной Обводного канала, в доме Фредерикса, прилежавшем к Знаменской гостинице. Занимал небольшую комнатку, вся меблировка состояла из кровати, двух стульев и небольшого столика. На столе — надо полагать, не только для конспиративных целей — лежала библия и на ней четвертушка бумаги с крупно-написанным на ней девизом: «Помни о своих обязанностях». Разговаривая со мной Ал. Михайлов время от времени поглядывал на этот бумажный ключок, поглаживая свой бритый подбородок и что-то соображая. «Что это у вас за плакат такой?» — спросил я. «А это помогает. Прочтешь и соображаешь, что тебе нужно сделать, как и в каком порядке. Дисциплинирует ум и волю». Навернулся Клеменц. Говорили о составлении второго номера «Земли и Воли». Он сообщил мне, — «Дворник» об этом, конечно, знал уже, — что Кравчинского уломали, наконец, и отправили за границу. Клеменц простился, говоря: «Мне нужно зайти еще в свой бар...чек». Так непочтительно называл он редакции либеральных газет, в которых помещал иной раз свои небольшие статейки. Клеменц жил в то время по паспорту какого-то отставного капитана и хвастал: «Если б полиция вздумала навесть справку обо мне по месту выдачи моего документа, то черта с два: военная часть, в которой служил мой капитан-благотель, давно уже расформирована и архив ее уничтожен».

Пришел, наконец, студент Исаев, принес две стопы типографской бумаги. Про Исаева, когда он ушел, «Дворник» сказал: «Это очень энергичный и толковый революционер, нужно приблизить его к нашим делам». Толстым слоem бумаги обернул мою талию «Дворник», тщательно обвязал и укрепил ее бечевкой. Когда я надел свое пальто, очень плотно обтянувшее меня, то преобразился в тучного человека и двигаться мог только маленьким шажком. Так я ушел и, лишь подходя к своему дому, подумал: если встретит меня дворник, не удивится ли он моей толщине? Дворник не встретился, а Пташка, увидев мою фигуру, выругал и меня и Ал. Михайлова. Бумагу он, Пташка, проносил значительно конспиративнее, пряча ее на своей груди и прикрывая складками своей широкой шинели.

Вышел второй номер «Земли и Воли». С экземплярами этого номера, имевшимися в моем портфеле, я шел по Невскому проспекту. И вдруг, навстречу мне попадает мой старый харьковский знакомый, учитель Рябинин. Он пренебрежительно осматрел мою важную персону, очевидно, подумав: «Свернул с революционного пути, пошел в чиновники, по стопам своего родителя». Все же он затащил меня к себе, в один из домов Троицкого переулка. Ознакомившись с содержанием моего портфеля, Рябинин объяснил мне, что он только несколько дней тому назад приехал в Петербург, что он желает плотную примкнуть к какой-либо революционной партии, но прежде всего он хотел бы ориентироваться в их программах. Он взял у меня свежий номер «Земли и Воли» и просил доставить ему первый номер нашего издания, номера газет «Начало» и «Общины». Я обещал. Дней через десять я мог исполнить его просьбу. Настойчиво звоню в его квартиру, не отворяют. Только минут через пять появляется квартирная хозяйка и шопотом сообщает: «Рябинин арестован, были жандармы, нашли какие-то газеты и книги». Как потом оказалось, Рябинин, приехав в Петербург, имел рекомендательное письмо к одному из членов кружка Афанасьева и попал прямо в лапы к «Соньке». Последняя, «спасая» Рябинина от дальнейшего участия в революционных кружках — от каторги, виселицы, — содействовала его аресту. Рябинин был сослан в одну из северных губерний Европейской России, в дальнейшем, не прерывая сношений с революционными деятелями, в партийных делах непосредственного участия не принимал. Он оказался в числе «спасенных». У провокаторов есть своя мораль, побуждающая их свои предательства объяснить великодушными целями.

Мне нужно было срочно вернуться в типографию, захватить там заготовленный уже пакет со свежими номерами газеты и отнести его на квартиру брата. Но прежде чем идти от скопрометированной квартиры Рябинина в типографию, я решил замести свои следы, убедиться, что за мной никто не следит. Я сел в конку и, направляясь во внутреннюю часть ее, оглянулся и увидел, что вслед за мной вскочил молодой человек, быстро вбежавший на перрон. Этого худого, изможденного человека я знал. Он как-то месяца два тому назад остановил меня на Литейном проспекте. Голова его была украшена форменной фуражкой студентов Мед.-Хир. Ак. Таковым он мне тогда и отрекомендовался. Ссылаясь на свое бедственное положение, он просил дать ему временный приют у себя или в каком-либо студенческом общежитии. Нервное лицо его мне не понравилось, он прятал от меня свои глаза. Я извинился, сказал, что, к сожалению, для него ничего сделать не могу. Скоро после этой встречи я прочитал, кажется, в «Голосе», письмо студента Мед.-Хир. Ак. извещавшего, что какой-то молодой человек, нарядившись в форменную фуражку медиков, выпрашивает у прохожих милостыню. Случай, мол, этот грустный исследован, и оказалось, что помянутый

юноша никакого отношения к Академии не имеет. И вот теперь этот молодой человек, перебивший форменную фуражку на партикулярную, сидит над моей головой. Шпион? Слез, конка двинулась дальше; ничего подозрительного. Я прошел через пассаж, нанял извозчика, слез с него около Владимирской церкви. Совершенно успокоенный я направился в типографию. Я спешил. Взяв пакет с газетами, я пошел к брату. Вышел из ворот нашего дома. У ворот, держась за ручку звонка к дворнику, стоял «молодой человек», тот самый молодой человек... От неожиданности мы оба одновременно издрогнули. Для меня было ясно: сейчас выйдет дворник; если он узнает меня, то все пропало. К счастью, со мной не было главной моей приметы — портфеля. Я ускорил шаг, согнулся и, не оборачиваясь, ринулся вперед.

В типографию я вернулся поздно ночью. Около наших ворот, запернувшись в полушубок, спал младший дворник. Я разбудил его, он впустил меня с совершенно равнодушным видом. С этого момента я сел в бест. Дней через пять Ал. Михайлов сообщил нам, что за студенческим общежитием, занимавшим квартиру по одной с нами лестнице, учрежден надзор. Стало очевидным, что дворник не узнал меня и навел «молодого человека» на ложный след. Если бы студенты, жившие на два этажа выше нас, оказались хоть сколько-нибудь прикосновенными к революционному движению, то, вероятно, этим бы и ограничились последствия моей неосторожности. Но студенты помянутого общежития оказались совершенно благонадежными. У них не был произведен обыск. Тогда явилось предположение, что «молодой человек», описав дворнику мои бросающиеся в глаза приметы — модное синее пальто, барашковая шапка, портфель, золотые очки, — мог сосредоточить свое внимание на нашей квартире. Так оно, кажется, и случилось. Но судьба нам благоприятствовала. Еще за неделю до моего столкновения со шпионом, Ал. Михайлов привел к нам в типографию молодого землепользца, приехавшего из Саратова. Это был Бураков, сын саратовского помещика, буквально проевшего все свое состояние и оставившего своего сына без наследства. Про этого Буракова Аптекман пишет в своих воспоминаниях: «Режим типографии был строжайший. Но так как за это дело взялись идейные вполне люди, то эти тяжелые лишения переносились легко, как нужное и должное. Только раз мне — к слову сказать — пришлось услышать жалобы от одного из типографских о невыносимости такого режима. Это был Бураков. Замечательно выдержанный и дисциплинированный работник, он, тем не менее, порою переживал тяжелые минуты. «Право же, Осип, — жаловался Бураков, — словно в тюрьме сидишь. Пожалуй, что придется отказаться от этой работы». Он, действительно, скоро вышел на «волю» из типографии, но тут же попал в «неволю» — был весной 1879 г., после 2-го апреля, схвачен и сослан, если не ошибаюсь, куда-то на север.

Бураков прожил у нас 1½—2 месяца. Жил он без прописки. Во время моего «беста» он, заменяя меня, вооружился моим портфелем, переносил от нас напечатанные листы, приносил чистую бумагу и пр. Заменял он меня, кажется, и в более важном отношении. Как-то, уже перед своим уходом, вернувшись из своих походов, он сказал мне: «Подхожу я к нашим дверям, и вижу на лестнице, что ведет в верхние этажи, стоит какая-то подозрительная личность и упорно оглядывает меня с ног до головы. Ну, и я гляжу на него. Так вопросительно мы и уперлись глазами друг в друга, пока не открыли мне дверь». Я расспросил примет «подозрительной личности», они довольно точно напомнили мне «молодого человека». Бураков совершенно не походил на меня, но, как и я, носил синее пальто, золотые очки и держал в руках мой портфель. Эти три предмета, вероятно, сбили с панталыку сыщика и побудили его прекратить наблюдение за нашим домом.

Я из предосторожности продолжал сидеть в бесте. Только месяца через два, когда «Дворник» сообщил нам об аресте Клеменца и о предстоящем обыске у брата, я поздно вечером пробрался к последнему и помог брату «очистить» его квартиру. Брат был очень тронут моим приходом, но все же сделал мне выговор говоря: «Замной следят, ты рискуешь в данном случае не только собой, но и типографией». Он мне рассказал, что дня два тому назад к нему влетел какой-то неизвестный ему молодой человек и сообщил распущенный в то время провокатором Рейнштейном слух, что будто бы адрес типографии «Земли и Воли» известен III отделению и последнее медлит с арестом ее, поджидая лишь предстоящего момента, когда, «как ему известно», вся редакция этого печатного органа должна собраться в типографской квартире. Брат переполошился и, желая предупредить об опасности, навестил нескольких своих знакомых, но ничего существенного сделать не мог; единственная, непосредственная связь его с землевольцами — Клеменц — была уже порвана. Арест брата был задержан. Занимая видное место в мин. финансов, он мог быть арестован только по соглашению с главой этого учреждения. В мин. финансов давно уже подозревали, что с братом творится «что-то неладное». Причина подозрений заключалась в финансовых статьях брата, напечатанных в газете «Начало». Желая спасти ценного для себя человека и избавить свое учреждение от «пятна», брату, еще почти за полгода перед этим, предложили занять место губернатора в одной из провинций Болгарии, но брат отказался. Теперь мин. финансов вызвал его к себе. Брат откровенно сказал министру, что он пытался стоять на легальном пути, но у него, бедняки, что, шествуя по этой дороге, ни до чего путного не дойдем. В эту же ночь, 27-го февраля 1879 г., брат был арестован. Для «Земли и Воли» он успел написать только одну статью: «Заметка по поводу государственной росписи на 1879 г.». Статья эта была помещена в № 4, вышедшем на другой

день после ареста брата. Продолжение этой статьи, помещенное в пятом № «Земли и Воли», было написано Головачевым. Передавая свою статью в редакцию, Головачев сказал: «Я написал эту статью, главным образом, с целью замаскировать участие Льва Константиновича в вашей газете».

После выхода первого №, редакция «Земли и Воли» лишилась Крачинского, перед выходом четвертого — был арестован Клеменц. Особенно чувствительно для газеты было исчезновение последнего, оживлявшего орган своими остроумными статьями. Первого заменил Плеханов, второго — Тихомиров. Бессменным редактором оставался Морозов. Он мало сходил по своим убеждениям с остальными редакторами, и потому его скоро выделили, дав ему самостоятельный орган — «Листок Земли и Воли». Но и остальные, хотя и твердо стояли под знаменем «Земли и Воли», но все же почти каждый молодец был на свой образец. А Плеханов, автор передовых статей в № 3, вышедшем 23-го января 1879 г., в № 4, появившемся на свет 28-го февраля этого же года, умудрился даже предстать пред нами в двух образах. За эти тридцать шесть дней Плеханов познакомился с программой «Северного Рабочего Союза». Появление этого нового революционного члена в революционной семье произошло на Плеханова, переживавшего, как и все мы, еще детский период своего самоопределения, огромное впечатление¹.

Эта разногласия в единственном руководящем революционном органе была, конечно, ненормальна, но психологически вполне понятна. Такова была эпоха.

Но вернемся к прерванному рассказу. У брата был произведен обыск в ту же ночь. Я ушел от него часов в десять вечера, с обыском явились к нему около 2-х часов ночи. Ничего компрометирующего не было найдено, но все же брат был отправлен в дом предварительного заключения. Как это ни странно, но за мной, когда я шел от брата, никто не следовал. Старательно осмотревшись, я спокойно вернулся в типографию. И снова сел в бест. В феврале был еще один раз у Плеханова. Передавая мне рукопись своей передовой статьи для четвертого №, он сказал мне: «До сих пор публика убедилась только, что мы умеем красноречиво и остроумно

¹ «Северный Раб. Союз», кажется, еще в ноябре 1878 г. обратился к землевольцам с просьбой помочь ему в составлении программы. Таковая была написана для него Клеменцем простым народным языком. Но эта подделка под народный язык членам Союза, гонявшимся на первых порах, как все пионеры, за внешнею, не понравилась. Свой «манифест» они написали сами. В четвертом номере «Земли и Воли» Плеханов дал о нем такой отзыв: «Написан он крайне вычурным и кудреватым слогом. Без словаря иностранных слов, которыми он исчерпан совершенно без надобности, его почти невозможно читать; мудреные обороты затемняют смысл дела и не придают изложению ни серьезности, ни доказательности. Это тем более досадно, что, судя по некоторым местам, авторы могут писать просто, увлекательно, с неподдельной страстью и искренностью, трогаящими за сердце».

писать, но это уже не удовлетворяет ее. С третьего № мы приступили к точному и ясному изложению нашей программы революционного действия».

Рано утром, 2-го апреля, я, не зная еще о предстоявшем в этот день покушении Соловьева на жизнь царя, вышел из типографии. Весь март я просидел в бесте, хотелось хоть немного проветриться в этот пасхальный день. Зашел к Ипполиту Головину. Жена его уже уехала в Черниговскую губернию, в свое поместье. У него сидел Циплов. По уголовному делу он был сослан в каторжные работы. Дорогой, на сибирском этапе, он сменялся «своей участю» с одним из своих камерадов, осужденным на поселение. За сменку дал последнему два рубля и красную рубашку. — «Так мало?» — «Да он хилый был... куда ж ему на поселение... Только в тюрьме таким и жить». С поселения Циплов ушел на заработки. Шатаясь по городам и селам Сибири, он сошелся с политическими ссыльными. Служил им некоторое время почтарем, переносил письма из города в город. Затем, когда он зарекомендовал себя точностью исполнения своих почтарских обязанностей, политические поселенцы, задумавшие бежать, снабдили Циплова деньгами, адресами и командировали его в Петербург. В письмах своих они просили товарищей об оказании содействия их побегу, о присылке денег, паспортов. Этих денег, паспортов и ожидал Циплов. Посторонним он выдавал себя за прасола. «Скот, мол, идет с Урала, а я приехал подготовить продажу его, подыскать покупателей». Пришел Гольденберг, убивший кн. Кропоткина, харьковского губернатора, 9-го февраля того же года, всего месяца два тому назад. Он был очень взволнован. Мне отрекомендовали его под какой-то кличкой. Он прилег на диван. Часов около 11-ти прибежал временно живший у Головина молодой распропагандированный рабочий, а теперь сторож конторы одной из либеральных газет, и сообщил: «В царя стреляли, не попали, царь жив». Гольденберг вскочил с дивана и сказал: «Да, верно». Это было сказано тоном, не допускающим сомнений. И было ясно: этот молодой человек знал о готовившемся покушении на царя, а может быть, и принимал в нем непосредственное участие. Меня потянуло на Дворцовую площадь. Здесь была довольно большая толпа. Взгляд ее, ошеломленной событием, был прикован ко дворцу. Изредка какая-то кучка кричала «ура», но в массе толпы это приветствие не находило отклика. Какой-то рабочий, стоявший около меня, с одушевлением размахивал руками, объясняя: «Идет это царь, а ему навстречу господин. Видит царь, что господин этот револьвер вынимает. Царь бежать, господин за ним, стреляет вдогонку. Царь споткнулся, упал. Убили бы его, да преступника схватить успели...». — «Стреляли бы в тебя, — огрызнулась старушка из публики, — и ты бы побежал». Пошел к Невскому. Проехал взвод кирасир, поблескивая золочеными панцырями и шлемами. Кто-то из публики объяснил:

«Преступник жив, это конвой для него, повезут в Петропавловскую крепость». Потолкался некоторое время у дома градоначальника, во двор которого заехали кирасиры, хотелось повидать «преступника». Не дождался. В толпе было много шпиков, боялся встретить своего «молодого человека». Иду по Невскому проспекту. На углу этой улицы и Казанской площади замечаю озабоченного городского, что-то записывающего в свою тетрадь. Подхожу. Перед городовым стоит с растерянным видом горничная, очевидно подавленная своим предательством, и говорит: «У нас вот тоже живет господин, ниже среднего роста, с черной бородкой. Сегодня рано вышел и до сих пор не вернулся». Городовой записал адрес, а я с тревогой подумал: «Ищут Зунделевича».

В типографию я вернулся поздно вечером. Мы тогда заканчивали пятый № «Земли и Воли». Эту работу пришлось несколько задержать и спешно издать четвертый № «Листка Земли и Воли».

ХІІ. ВЕСНА 1879 г.

В конце апреля 1879 года в Петербургской Вольной Типографии заканчивался печатанием последний номер подпольной газеты «Земля и Воля». На летние месяцы работа у нас прекращалась; сознательных рабочих тогда было очень мало, а интеллигенция и студенчество — главный контингент наших читателей того времени — разъезжались летом по дачам, деревням и провинциальным городам, куда мы не могли, по слабости своей организации, доставлять издаваемую нами газету.

Нервное напряжение, с которым пришлось работать в знаменательную зиму 1878—1879 г.г., требовало отдыха. Желая несколько встряхнуться после долгого сидения в типографии, я попросил товарищей дать мне командировку в провинцию. Командировка была дана. Понятно, с каким нетерпением я ожидал своих летних вакаций.

С 1874 года мне пришлось перейти на нелегальное положение и пользоваться паспортами нашей «небесной канцелярии», поставленной во второй половине 70 годов образцово. По такому же документу я проживал и в Петербургской Вольной Типографии, но для поездки в провинцию мне обещали изготовить новый паспорт. Это было необходимо. Данная мне командировка, как и все наши поездки, соединялась с риском попасть в тюрьму; если бы я был арестован с паспортом, прописанным в типографии, я навел бы полицию на след нашего печатного станка и лиц, охранявших его.

Как только был отпечатан последний лист пятого номера «Земли и Воли», я немедленно выехал из квартиры типографии, т.-е. просто ушел из нее, поручив нашей хозяйке заявить дворнику о моем выезде.

Уходя из типографии, я рассчитывал немедленно получить от товарищей новый паспорт, деньги и выехать из Петербурга по назначению. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Паспортная канцелярия наша, заключавшаяся в двух обшаренных портфелях, благодаря некоторым арестам, застряла на конспиративной квартире, известной только арестованным, и для выручки ее требовалось время. Таким образом я на неопределенный срок очу-

тился между небом и землей. Возвращаться на старую квартиру, из которой меня уже выписали, было неудобно по конспиративным соображениям, а потому решили, что я буду пока жить перелетной пташкой, ночуя в разных местах.

Первые две ночи, белые ночи, провел на улице. Как потом оказалось, это было с моей стороны сопряжено с большим риском. Соловьев на допросе показал, что последнюю ночь перед покушением на царя, он пробродил по улицам Петербурга. В связи с этим полиция и жандармерия установили сугубую слежку за бесприютными молодыми людьми, бродящим в ночное время по панелям столицы.

Часов до двенадцати пробыл в Летнем саду. Музыка, большая толпа. Пришла группа подвыпивших студентов, спела, как видно ради озорства, марсельезу. Оглядел их и они обратили на меня свое внимание.

Вышел на Невский, забрел в демократический рестораник, ютившийся недалеко от Литейного проспекта, обычно открытый до 2-х часов ночи. Застаю в общей зале ту же группу студентов, поддерживающих свое опьянение батареями пивных бутылок. Заметили меня, друг другу показывают; очевидно, приняли за шпика. Вздвинулись, часть спешно покидает зал. Один из оставшихся подсаживается к моему столику и, притворяясь более пьяным, чем был на самом деле, кидает вопрос: — «Студент?» — «Приказчик». — «Нет, не притворяйтесь, камрад, я вижу, что вы студент. Присаживайтесь к нам, а потом поедем... тут, знаете, веселенький домик есть»... Смотрю на него насмешливо и соображаю: «Думаете покутить на счет шпики, наказать его за слежку?» Студенты ушли, зал пустеет, вышел и я. На углу Невского и Литейной останавливает меня дама средних лет, резко отличающаяся от шмыгающих в этом месте проституток, и зир-зирк то на городского, стоящего среди улицы, то на меня, спрашивает:

— Что это, молодой человек, вы так поздно гуляете?

Чую опасность. Придаю себе возможно нагло-циничный вид и, прямо смотря ей в глаза, дерзко-пьяно отвечаю:

— Стара, мадам, — мы помоложе идём.

Сконфузил, отшил. Прохаживаясь по Невскому, замечаю группу дворников человек в пять. Я уж и раньше обратил на них внимание и определил: караулят бесприютных бродяг и жуликов. Но разве я в своем изящном костюме подхожу под эти типы? На этот раз, однако, вижу, что дворники посматривают на меня и переговариваются между собой. Когда я прохожу мимо них, один из дворников говорит:

— Видать, что бесквартирный, — шляется без дела туда-сюда.

Другой, отделившись от группы и, как бы решительно направляясь ко мне, произносит:

— Так чего смотреть, отведем его в участок...

Обдаю их высокомерным джентльменским взглядом и прохожу дальше. Костюм действует, дворники робеют. Решаю: нужно свернуть в боковые улицы.

Прохожу по Конногвардейскому бульвару. Спать хочется зверски. Завидую: на одной из скамеек, укрывшись студенческим пальто и подложив под голову фуражку и книги, беззаботно спит молодой человек. В некотором отдалении от него стоит городской, очевидно тщательно пытавшийся разбудить студента, а теперь словно охраняющий его. Городовой смотрит на меня извиняющимся взглядом за бескорыстно или корыстно допущенный им беспорядок. Отвечаю ему дружелюбно-ободряющим взглядом и движением руки: «Не мешай, мол, пусть выспится».

Иду по Николаевскому мосту. Впереди меня медленно шествуют два высоких отставных генерал-лейтенанта. «Выспались, мерзавцы, совершают теперь свою утреннюю прогулку». Медленно следую за ними. Их присутствие ободряет меня, как признак того, что ночь уже близится к концу. Дойдя до середины реки, генералы вынимают стаканчики, опускают их на длинных шнурках в воду и, вытянув обратно, с видимым наслаждением вливают в свои утробы прозрачно-прохладную жидкость со всеми ее микробами, в то время еще не обнаруженными в невской воде. Зазвонили к заутрене. Блестящая мысль: зайти в храм и попытаться там хоть на полчаса, хоть на десять минут вздремнуть. Захожу в Исакиевский собор. Служба идет в одном из пределов, человек сто молящихся и — о, счастье! — вдоль задней стенки, что против алтаря, тянется скамейка и на ней сидят 10—12 стариков и старушек. Падаю между ними и моментально засыпаю. Не знаю, долго ли я проспал, но вдруг просыпаюсь... от внешнего или внутреннего толчка? Против меня стоит высокий старик в форменной livрее соборного сторожа. В его строгом взоре читаю упрек: «В храм ходят молиться, а не спать». Верно, нарушил вашу дисциплину. Захожу в толпу молящихся. Сон, временно спугнутый сторожем, вновь пытается овладеть мной. Осеняя себя крестным знамением, становлюсь на колени и нащупываю холодный пол своим лбом. Неудобно, можно заснувши свалиться и вторично учинить скандал. Да и заутреня кончается, поп гонит ее, как на почтовых. Выхожу из храма. Утренняя картинка: куда-то спешат рабочие, куда-то бегут хозяйки, вооруженные корзинками. Безбоязненно иду по Невскому. Сажусь в конку и моментально засыпаю. Будит кондуктор: «Приехали, господин, выходите». Выхожу. Сквозь туман красиво сверкают куполы церквей Смольного. Часы показывают около семи часов. Рано. «Дворник» назначил мне свиданье в 9 ч. утра в квартире Тихомирова. Последний жил в большом доме на углу Басейной и Знаменской, снимая комнату у какого-то сочувствовавшего нам семейного интеллигента. В конспиративном отношении квартира была расположена весьма удобно. Парадный ход выходил на Знаменскую, но на каждой площадке лестницы имелась дверь для со-

общения с черной лестницей, по которой можно было спуститься на двор и затем выйти через ворота на Басейную улицу. Решаю: «погуляю до 8 часов, а потом поеду к Тихомирову и до прихода «Дворника» попытаюсь у него заснуть». Так и сделал. Тихомиров выразил неудовольствие на «Дворника», что тот в его квартире устраивает пункт свиданий. Напоил чаем с булкой, но спать не разрешил. «Что подумает горничная?». Так, вероятно, внушил ему его ангел-хранитель св. Митрофаней. В своих воспоминаниях (ст. 288) Тихомиров пишет: «Я хранил тщательно образок св. Митрофана, никуда без него не выезжал и часто даже не выходил. Вечно носил в кармане и чувствовал себя спокойно. Когда же со мной не было моего талисмана, я ждал беды. Этот образок, благословение матери, был мною брошен в 1873 году, и через месяц я поплатился за это тюрьмой 1873—1878 годов. Однако, образок не пропал. Он как-то непонятно очутился у брата, мать его там разыскала и привезла в СПб, в тюрьму, в 1877 г. Через месяца два я был выпущен и с тех пор никогда не решался его оставить. Все бросал, но не его». Мы в то время не подозревали этой роковой слабости Тихомирова, которого ценили, главным образом, как литературную силу. Образок же свой Тихомиров так ловко хранил, что никто из товарищей этого талисмана его не заметил.

Пришел «Дворник». Адресов для моих ночевок он не принес. Обещал дать вечером. Еще раз пили чай. Тихомиров говорил: «Прочитал я французский уголовный роман. Компания жуликов, — и у этих прохвостов иной раз можно научиться полезному, — устроили пункт для свиданий. Мы, вот, ходим друг к другу и компрометируем свои квартиры. А у них не так, по квартирам не шляют. Для деловых свиданий своих они устроили пивную. Каждый из членов их кружка, приходя в эту пивную, требует от хозяина пиво известной несуществующей марки. Это пароль. Хозяин отводит такого посетителя в отдельный, недоступный для других, кабинет. В этой комнате и происходят совещания. Ловко? Вот и нам бы такую пивную открыть».

Где же мне выспаться? Вспомнил о квартире Ипполита Головина. Хозяин уже уехал или был арестован — не припомню теперь. В квартире застал только молодого рабочего и Кибальчича, сидевшего в отдельной комнатке, заваленного целой кипой французских, немецких, английских газет, служивших ему сырым материалом при составлении иностранного отдела для той же газеты, в которой служил сторожем рабочий. Последний предупреждает меня, что за их квартирой следят, и указывает в окно на шпиона, стоящего на другой стороне улицы. Маленький, белокурый человечек, как-бы финского происхождения. Досадно: был один молодой человек, знавший меня в лицо, а теперь будет два. Семь бед, один ответ. Не перекинувшись ни единым словом с Кибальчичем, с которым не был знаком и который в то время еще не примыкал к организации, ложусь на диван и засыпаю мертвым сном.

Встал. Вышел. Финн, мерзавец, не прозевал меня, следует за мной. Направляюсь к ближайшему знакомому мне проходному двору. Ихожу один двор, через ворота — в другой, потом в третий. У четвертых ворот, что ведут на другую улицу, замечаю дверь, ведущую очевидно, на внутреннюю лестницу трехэтажного дома. Делаю, что направляюсь к ней. Оборачиваюсь. Финн, стоя на втором дворе, сквозь внутренние ворота торжествуя смотрит на меня: «Пался, мол, голубчик, теперь знаем, где ты бываешь или живешь. Как бы с тревогой отклоняюсь от двери и через ворота просквозываю на улицу. Конка. Догоняю ее, взбираюсь на перрон и наблюдаю растерянную фигурку Финна. Злорадно желаю ему возможности торчать у указанной мной ему двери. Вечером «Дворник» не пришел, прислал Арончика, находившегося в таком же бесприютном положении, как и я. «Дворник» советовал нам провести эту ночь в лодке или где-либо на островах, обещая на следующий день снабдить нас нужными адресами для ночевки. Ладно. Нанимаем лодку. В лодке боченок с прикрепленным к нему канатом. Спрашиваю лодочника: «Что это за боченок?» Отвечает: «Так приказано. Если лодка перевернется, ухватитесь за этот канат и не утонете». Предусмотрительно. Но пока стоит тихая, чудная, белая ночь. По Фонтанке выплываем на Неву. Под звуки «Коль славен», что доносятся к нам с Петропавловского собора, укладываюсь спать. Через Троицкий мост направляемся к Дворцовому. Арончик еле-еле гребет веслами. Засыпая, люблю на серебряную гладь воды, на отражающуюся в ней Петропавловскую крепость, гранитную набережную, ряд красивых зданий. Вспоминаю еще картину: часов пять утра, Арончик, свернувшись калачиком на дне лодки, спит глубоким сном; направляюсь к центру. Выплываю из-под Обуховского моста и замечаю человеческую фигурку, перегнувшуюся через перила и пристально вглядывающуюся в нашу лодку; инстинктивно наклоняю голову, чтобы не дать этой фигурке рассмотреть моего лица. Для через четыре разыскал меня «Дворник» и предупредил: один из агентов третьего отделения донес, что им замечены два молодых человека, плывшие в лодке и имевшие при себе какой-то странный боченок; агент предполагал, что эти молодые люди, скрывавшие от него свои лица, подложили мину под мост, чтобы взорвать последний при предстоящем проезде царя. Мост осмотрели, мины не нашли, но все же, установив место, где я с Арончиком наняли лодку, поставили там двух жандармов, поручив им, по указанию лодочника, арестовать нас.

В числе квартир, где можно было найти временный приют, мне указали квартиру начинающего писателя Морозова. Это был одофамилец нашего Морозова, попавшего потом в Шлиссельбург. Он сотрудничал в газете «Неделя» и доставлял литературный материал из иностранных газет в редакцию «Земли и Воли». В одну из ночевок у этого молодого писателя мы с ним разболтались, я объяснил ему

причину, заставляющую вести меня кочевую жизнь, и сообщил в этих чертах о предстоящей мне поездке.

— И вы не боитесь ехать в провинцию с поддельным документом? — спросил он. Как ни уверял я его, что наши документы ничем отличаются от действительных, он мне не поверил и продолжал настаивать, что к риску, с которым соединена моя поездка, неразумно соединять еще риск, связанный с проживанием по фальшивому документу.

— Тем более неразумно, — добавил он, — что у знакомых всегда можно найти паспорт, в данный момент им не требующийся.

За этом наш разговор о паспортах прекратился, и я скоро забыл о нем, не придав ему никакого значения.

Но денечка через два, когда я вновь пришел на ночевку к Морозову, он встретил меня с радостным лицом и объявил, что дело относительно паспорта им улажено. Документ на жительство он добыл у своего товарища по университету, приятеля и кума Рачковского. Этот Рачковский, как объяснил мне Морозов, окончив университет, уехал в Архангельскую губернию и занял там место и. д. судебного следователя. Ссылно-политический элемент, всегда обильный в этой губернии, находил у Рачковского самый радушный прием. Это не понравилось местному начальству. Рачковский к тому же и в своей служебной практике вел себя вызывающе-либерально, становясь всегда на сторону угнетенного брата. Жандармы написали донесение. Рачковский был уволен от занимаемой им должности и причислен к министерству. Политические ссылки устроили ему торжественные проводы. В Петербург он явился с рекомендательными письмами от них, завел обширные знакомства в социалистических сферах, и от них, завел обширные знакомства в социалистических сферах, и можно было надеяться, как уверял меня Морозов, что из него вырабатается выдающийся революционный деятель. Рачковский, переехавши в Петербург, прописался здесь по какому-то имевшемуся у него паспорту, но, как причисленный к министерству, он во всякое время мог взять отпуск и для предполагаемого путешествия получить временный служебный паспорт. Вот этим-то паспортом он и предлагал мне воспользоваться для моей поездки.

Свидание мое с этим «будущим революционным деятелем» должно было состояться на другой день в квартире Морозова в 12 часов дня. Когда в назначенное время я подходил к квартире молодого писателя, мне бросились в глаза два подозрительных субъекта, стоявшие на противоположной стороне улицы. Глаз у меня был опытный, я заподозрил их в наблюдательных функциях.

Рачковский, человек выше среднего роста, плотный, с темной шелочурой волос, такого же цвета густыми усами и бритой бородой, уже ждал меня вместе с Морозовым. Он извинился, что не успел еще достать обещанный паспорт, но обнадеежил, что документ возьмет из канцелярии сегодня же или завтра утром и немедленно доставит его Морозову или по адресу, который я укажу ему. Для полной га-

рантин моей личности во время путешествия он предложил мне воспользоваться его форменной судейской фуражкой и вицмундиром. «Дадите, — говорит, — в гостинице лакею почистить вицмундир — это произведет на него хорошее впечатление». Разговорились. Рачковский подробно рассказал о всех преследованиях, которым он подвергался со стороны администрации, о своих приятелях, политических ссыльных в Архангельской губернии, и решительно заявил, что он больше служить не будет и думает заняться литературным трудом. «Я уже сотрудничаю в одной из газет» — сказал он. Он назвал газету, названия которой теперь не припомню, но вспоминаю, что газета эта в то время влачила жалкое существование и носила весьма неопределенную физиономию. Газету эту он советовал нашей организации взять при его содействии в свои руки и превратить ее в легальный орган партии.

— Такой орган необходим для партии, — настаивал он, — и представил бы для нее массу практических удобств. Весь литературный материал, напр., корреспонденции, статьи из-за границы и из провинции — мог бы быть адресован в редакцию легального органа и здесь сортироваться. Все подходящее к цензурным условиям данного времени печаталось бы в легальном издании, остальное — в «Земле и Воле».

Когда уже достаточно подробно мы обсудили этот проект, я спросил Морозова о нашем общем знакомом-мичмане Луцком, сидевшем в то время в доме предварительного заключения. Морозов ответил, что на днях встретил жену Луцкого, и она сообщила ему, что для освобождения мужа прокуратура требует внесения залога в 2.000 р. или надежного поручителя. Рачковский немедленно предложил свои услуги.

— Лично я не имею капиталов и поручителем быть не могу, — сказал он, — но у меня есть приятель, князь... Очень хороший человек, его следует приобщить к партии: это поручительство будет служить для него первым пробным камнем.

Он назвал фамилию князя, теперь не припомню ее. Прощаясь с Рачковским, я уговорился с ним, что паспорт и форменную фуражку, — от вицмундира я отказался, — он принесет мне на другой день в квартиру Морозова.

Как только захлопнулась за мной парадная дверь, я вновь увидел двух подозрительных субъектов, уже замеченных мною раньше. Один из них стоял на одном конце квартала, другой на противоположном. Куда бы я ни повернул, направо или налево, я должен был пройти мимо одного из них. Это обстоятельство заставило меня быть осторожным. Я пошел по прилегающим пустынным улицам и убедился, что за мной следят. К счастью, мне встретился извозчик, одиноко трусивший на своем одре среди глухой улицы, я сел на него и уехал от преследующих. Только убедившись, что за мной никто уже больше не следит, я направился на конспиративную квартиру. Здесь,

к великой моей радости, ожидали меня: паспорт нашей небесной канцелярии, деньги и записка товарища, просившего меня ехать немедленно, так как отъезд мой и так совершенно неожиданно был задержан на полторы недели, что могло невыгодно отразиться на провинциальных делах.

Получивши паспорт, я почувствовал — как бы крылья выросли на моих плечах. Паспорт, предложенный мне Рачковским, имел для меня значение лишь настолько, насколько он мог ускорить мой отъезд, теперь же я не чувствовал в нем никакой нужды. Явился такое соображение: чего бы ради я без всякой надобности стал рисковать за счет Рачковского, этого, может быть, в скором будущем выдающегося деятеля революции? К тому же паспорт Рачковского приходилось добывать с квартиры, за которой, как я в этом убедился, установлен надзор. Да и достать его можно было только на следующий день, а мне время было дорого и очень уж хотелось возможно скорее покинуть наскучивший мне Петербург. Я посмотрил на расписание, до отхода поезда оставалось всего два часа. Захватив с собой самое необходимое, маленький узелочек с одной парой белья, я с усмешкой вспомнил о предложенном мне вицмундире и, наскоро пообедав в кухмистерской, поспешил на вокзал.

Мне предстояло проехать с разными поручениями в К. в, Одессу, где находился «Дворник», следивший там, между прочим, за предприятием Сашки-инженера (Юрковского), ведшего в то время подполье под херсонское казначейство; из Одессы я должен был проехать в Саратов, потом в Тамбов и затем вернуться в Петербург.

В Киеве 14 мая были повешены Брандер, Антонов и Осинский. Не зная еще этого, я приехал в этот город дня три спустя после их казни. Остановился я в гостинице. Почти следом за мной вошел в номер заведующий, отобрал у меня паспорт и потребовал объяснения: откуда, по каким делам я приехал в Киев. С присущей гордостью приказчиков того времени я ответил ему:

— По делам фабриканта Морозова, надо по векселям долгишки cobrar.

Заведующий удовлетворился моим объяснением и пожаловался:

— Так, коротко и ясно. А вот рядом с вашим номером вторые сутки офицерик живет и паспорт не дает и ни на какие вопросы отвечать не желает... с гонором. «Убирайся, говорит, к чертовой матери; видишь, что я офицер». А куда я уберусь, когда с меня начальство требует. Теперь, знаете, какое время.

Офицер этот отвлёк от меня внимание заведующего и последний не обратил внимания на мой оригинальный багаж — небольшой узелок. Таких ли приказчиков, с таким ли багажом для сбора своих долгов посылал фабрикант Морозов?

Благодаря летнему и тревожному времени значительное число революционеров покинуло Киев. По данным мне адресам я разыскал только трех слушательниц Киевских высших женских курсов, еще

не успевших закончить свои экзамены. От них я узнал о только что совершившихся здесь казнях. Двух из казненных я знал: Брандера, с которым мельком встречался в Харькове, и Валерьяна Осинского. Особенно поразила меня смерть последнего. Как-то примет это известие любящая и любимая им жена? Валерьян был подведен к виселице, когда два товарища его уже безжизненно качались на веревках. Палач неудачно накинул петлю и тем причинил ему несколько минут лишних страданий. В день казни мать Валерьяна, еще не зная о смерти сына, пришла в тюрьму. «Нет здесь твоего сына», грубо ответил ей пом. смотрителя тюрьмы. Пораженная его грубостью, старушка ответила:

— Вы знаете, что я жена генерала...

Злобно взглянув на нее, тюремный чин презрительно добавил:

— И мать повешенного.

Пораженная известием старушка опустила на скамью и разрыдалась, повторяя:

— Повешенного?.. повешенного?..

На другой день утром я был уже в Одессе. Оставив свой узелок в номере гостиницы, я направился в управление, в котором служил мой старый приятель, Василий Лепешинский. Я давно не видел Васильку и переживал теперь радость предстоящей встречи. День был жаркий, я сильно вспотел. Прежде, чем зайти в управление, я решил освежиться, выкупаться. Вышел на Приморский бульвар, спустился по гранитной лестнице и зашел в купальню. В костюме Адама я стоял у лестницы, ведущей в море, поджидая, пока остынет мое разгоряченное тело, так приятно обвеваемое теперь прохладным морским ветерком. Кто-то сзади положил свою руку на мое плечо. Обернулся — «Дворник». Он был в таком же костюме, как и я, и смотрел на меня радостным взглядом своих голубых глаз. Мы долго купались с ним, отплывая на большое расстояние от берега или стоя подставляли свои спины под мерно катившиеся морские волны. Потом оделись и пошли пить чай в номер его гостиницы. Я не принадлежал еще к кружку землевольцев, а потому «Дворник», как истый конспиратор, притчаив привезенное мной ему письмо, не посвятил меня в детали своих одесских дел. О Лепешинском он мне сказал:

— Не ходите к нему в управление. Сегодня в четыре часа у меня назначено с ним свидание на Приморском бульваре. Это, кажется, хороший парень и будет идеальным организатором.

На Приморском бульваре мы встретили Лепешинского. Я с трудом узнал его. Из пухлого, белого, румяного северянина он обратился в худощавого, бронзового южанина. «Дворник», перекинувшись с ним несколькими короткими деловыми фразами, покинул нас. Лепешинский повел меня в какую-то столовую обедать. Он в то время уже разыскивался. Это заставляло его, находившегося на легальном положении, быть очень осторожным. Я уговаривал его перейти на нелегальное положение и покинуть Одессу, но он надеялся, что

жандармы не выяснят его личности. Квартиру свою он оберегал, как зеницу ока, а потому не мог познакомиться со своей семьей. На следующий день утром я должен был покинуть Одессу. Вечером Лепешинский зашел ко мне, и мы отправились с ним к нашим старым товарищам по петербургскому кружку, Кожанову и Шталю, проживавшим теперь по нелегальным паспортам в Одессе и состоявшим где-то на службе. За чайным столом в последний раз собрался почти весь наш петербургский кружок. Недоставало только Дорфмана, уже уехавшего заканчивать свое медицинское образование в Швейцарии. Кожанов и Шталь, как предупредил меня Василек, относились враждебно к террористической деятельности землевольцев. Шталь шопотом просила нас не говорить о политике, так как жившие в соседней комнате подозрительные лица могли подслушать наш разговор через отделившую нас от них дверь. Все мы, связанные кружковой тайной, не могли откровенно говорить и о своих текущих делах. Настроение было подавленное. Вспомнили старину и разошлись.

На другой день я сел на пароход и через Николаев направился в Саратов. В Одессе жандармы скоро напали на след Васильку. Ожидая найти страшного революционера, готовясь встретить вооруженное сопротивление, они явились к нему с большой помпой. На обыске присутствовал жандармский полковник. И вдруг контраст: красивый, вежливый молодой человек, симпатичная семья. При обыске ничего подозрительного не найдено. Жандармский полковник, добродушный старичок, прослезился при трогательном прощании Васильку с женой и маленькой красивой дочкой. Справка по службе: весьма ценный, аккуратный, старательный работник. Жандармский полковник сказал в обществе своих знакомых: я сделаю все возможное, чтобы спасти этого молодого человека. И спас. Дело Лепешинского было выделено, он судился отдельно от своих товарищей и был приговорен к какому-то незначительному наказанию.

Через два-три дня я уже был в Саратове, и часов в 7 утра стукался в контору нотариуса Праотцова. Последний был, кажется, вдов и жил с двумя сыновьями 12-13 л., обучавшимися в местной гимназии. Один из них и отворил мне дверь.

— Папа, — сказал он, — сейчас придет, он ушел на базар.

Прислуги не было. Гимназистки деятельно и дружно убирали жилые комнаты и контору своего отца. Скоро вернулся и папа с полной корзинкой всяких съестных припасов. Мальчики схватили полотенца и побежали на Волгу купаться. Праотцов поставил самовар и приготовил чайный стол. К возвращению гимназистов все было готово, они быстро напились чаю, закусили и побежали в гимназию. А папенька, вооружившись большой кастрюлей, положил в нее все, что нужно для будущего супа, налил водой и, покрыв крышкой, поставил на малый огонь керосинки.

— Вот, к приходу ребят, — сказал он, — у нас и обед будет готов. Теперь мне нужно заниматься в конторе, а вам совету я пройтись... Там обычно собираются все товарищи.

Он дал мне адрес. Я легко нашел указанный мне домик, в котором проживали два землевладельца. Один из них был слесарь, другой служащий. Скоро пришел Юрист — Преображенский. Он отбывал воинскую повинность. Высокий, стройный он был одет в форму вольноопределяющегося. Он сказал мне:

— Вот вы совершили кругосветное путешествие, встретились со многими товарищами. Окажите, какое впечатление произвели на них совершившиеся казни?

Впечатления мои за время путешествия были весьма скудны, но, основываясь больше на петербургских наблюдениях, я ответил:

— Никакого устрашающего влияния, эти казни внесут только озлобление в революционные ряды.

Исполнив данные мне поручения, я в тот же день уехал в Тамбов. В вагоне против меня сели офицер и мелкотравчатый чиновник. Как-то просыпаюсь и слышу разговор. Чиновник, обращаясь к офицеру, говорит:

— Чисто как на войне-с. Стреляют из-за угла, режут... Их ссылают, расстреливают, вешают... И хоть бы что... Как клопы плодятся, расплодился по всем щелям... И, ведь, какая сила: свои типографии имеют, свои газеты печатают и здесь, и за границей. На царя руку по-дня-ли...

Около разговаривающих, как обычно, сгрудилась кучка слушателей. Крестьянин-старик кидает вопрос:

— И чего же они хотят?

Окидывая его злобным взглядом и отвечаю:

— А вот хотят, чтобы вы, сиволопые, помещиков прогнали, чиновников прогнали, чтобы сами всей землей и государством управляли... Будет от этого толк?

Чиновник, как бы предупреждая мой ответ, улыбнулся, пожал плечами и сказал:

— Как же это возможно?... Никакого толку не будет, никакого. Крестьянин недоуменно развел руками и промолчал.

В Тамбове я застал только одного товарища, сказавшего мне, что вся остальная компания рассыпалась по деревням и вряд ли скоро вернется в город. В тот же день я двинулся дальше.

В Петербург я возвратился в конце мая и, идя с вокзала, встретил на Литейном просп. товарища — Александра Квятковского. Идя с ним, я рассказывал ему о своей поездке, об общих знакомых и проч., как вдруг Квятковский, очевидно, внезапно вспомнив нечто значительное, остановился и спросил меня, не предлагал ли мне кто-либо перед моим отъездом чиновничий паспорт, форменную фуражку и вицмундир. Квятковский очень встревожился, когда я ответил утвердительно, и забросал меня вопросами: кто, когда,

где? и с большим вниманием выслушал мой рассказ об условиях, при которых я познакомился с Рачковским.

Квятковскому поручено было в это время ведение тайственных сношений с нашим товарищем Клеточниковым, которому удалось в конце 1878 г. пробраться в секретари 3-го отделения. Клеточников сообщил нам самые подробные сведения о деятельности этого учреждения и, между прочим, о всех агентах-провокаторах, поступавших туда на службу. Вскоре после моего отъезда Клеточникову сообщил начальник 3-го отделения о поступлении к ним нового агента-провокатора, подающего большие надежды. Агенту этому шеф жандармов и начальник грозного в то время отделения придавали такое большое значение, что даже Клеточникову они не решились сообщить фамилию нового прозелита. Агентом этим оказался Рачковский. Клеточников познакомился с ним. Он не пытался, конечно, спросить фамилию тайственного агента — это было бы нескромно с его стороны, но по делам службы, связанной с необходимостью установления за мной слежки во время моей поездки, тот рассказал ему о предложенных им мне паспорте, форменной фуражке и вицмундире.

— Я предложил ему форменную фуражку, — сказал Рачковский, — чтобы за ним легче было следить.

Разговор этот Клеточников не замедлил, конечно, передать Квятковскому. Товарищи долго и напрасно ломали голову над разрешением заданной им загадки. Ключ к разрешению ее, за моим отсутствием, мог дать им только Морозов, но последний стоял довольно далеко от организации и был отрезан, так как перед отъездом я сообщил товарищам об установленном надзоре за его квартирой.

Через несколько дней после моего приезда Клеточников сообщил и фамилию Рачковского, которую, наконец-таки, ему решили доверить. До этого фамилию Рачковского знали только шеф жандармов и начальник 3-го отделения. Теперь к этим двум лицам прибавился еще Клеточников. Больше никто из служащих в 3-м отделении о Рачковском ничего определенного не знал. В виду этого Клеточников, опасаясь быть скомпрометированным, просил нас быть очень осторожными относительно Рачковского и все сведения, переданные о нем, хранить в самом строгом секрете.

Получив такое предостережение и опасаясь болтливости Морозова, который с этой стороны был мало известен, товарищи долго не решались предупредить его о коварном приятеле, но, наконец, решили приподнять завесу с его ослепленных глаз.

Когда сообщили Морозову, что его приятель состоит на службе в 3-м отделении, он возмутился до глубины души. Он не мог допустить, чтобы его приятель, товарищ по университету, выгнанный за либерализм с казенной службы, мог унижаться до провокаторства.

— Это возмутительное обвинение, — сказал он. — После этого я не могу быть уверенным, что завтра же вы и на меня не взведете такую же гнусную клевету.

Стараясь убедить Морозова в его излишнем доверии к Рачковскому, один из товарищей имел неосторожность сказать ему, что в 3-м отделении знают о предложенных мне Рачковским паспорте, форменной фуражке и виц-мундире. Но и этот довод не убедил Морозова, и он продолжал возмущаться. Посвятить Морозова во все подробности наших таинственных сношений в 3-м отделении, в которые детально не было посвящено даже большинство членов партии, товарищи не имели права, а потому один из них сказал ему: — Ну, прекрасно. Каждый из нас может остаться при своем убеждении относительно личности Рачковского. Но вы должны нам дать слово, что весь разговор о вашем приятеле останется между нами, что вы о нем никому, а тем более Рачковскому, не скажете, сохраните все в самом строгом секрете.

Требуемое слово было дано.

Не знаю, что побудило Морозова изменить этому слову, но он его не сдержал. Встретившись с Рачковским, в невинность которого он так глубоко верил, Морозов с негодованием сообщил ему о взведенной на него гнусной клевете. Но когда он, желая, может быть, выяснить причину возникшего подозрения, упомянул, что в 3-м отделении знают о сделанном Рачковским мне предложении (паспорт, фуражка, вицмундир), последний так растерялся, так побледнел, что даже в кристальной душе Морозова возникло первое зерно сомнения.

Взволнованный Рачковский прибежал в 3-е отделение и бурно выразил свое негодование. Каким образом революционеры, скрывавшиеся где-то в подпольях, могли узнать о его сообщениях тайной канцелярии. О донесениях его знали только шеф жандармов, начальник и секретарь 3-го отделения. Кто же из этих трех лиц мог предать его или проболтаться о нем?

От Клеточникова было получено тревожное известие; подозрение, правда, еще слабое, падало на него. Требовалось принять энергичные меры к его обелению. Я вспомнил о князе, рекомендованном Рачковским в поручителя за освобождаемого Луцкого. По справкам фамилия и адрес этого князя оказались в имевшемся у организации списке третьестепенных провокаторов. Сообщили об этом Клеточникову и общими усилиями составлен был план действий. Одной из заведомых провокаторш — «Соньке», стремившейся по поручению 3-го отделения узнать причину, вызвавшую подозрение против Рачковского, рассказали через третьих лиц, что последний стремился ввести в организацию какого-то князя, известного провокатора. Обстоятельство это, мол, и вызвало подозрение. Желая проверить, насколько это подозрение основательно, Рачковскому сказали, что о предложенных им мне паспорте, фуражке и

вицмундире известно в 3-м отделении. Хотели посмотреть, какое впечатление произведет на него это сообщение. Испуг Рачковского и все дальнейшее поведение его несколько укрепило зародившееся подозрение, но что и до сих пор, мол, подозрение это висит еще в воздухе, так как достаточных оснований для него нет.

Объяснение это в 3-м отделении было принято за чистую монету и возбудило надежду на возможность исправления досадного промаха новичка-провокаatora. Решено было сделать все возможное для восстановления в социалистических сферах репутации Рачковского. В этих видах у Морозова и Рачковского одновременно был произведен обыск, и оба они, как соучастники тайного общества, стремящегося к ниспровержению существующего порядка, были арестованы и посажены в дом предварительного заключения. Сидя в одиночном заключении, Рачковский не прерывал сношений с внешним миром и всячески старался восстановить свое доброе имя. К нему часто приходил редактор вышеупомянутой газеты, и Рачковский продолжал свою литературную деятельность. В чем заключалась эта деятельность, что он писал — не знаю, так как газету, которую он предлагал мне обратить в легальный орган партии, не видел.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	Стр.
Предисловие	3
I. Детство	5
II. Юность	28
III. В Петербурге	45
IV. В народ!	60
V. На Волге	81
VI. После погрома	97
VII. Южные бунтари	106
VIII. На пути к Чигирину	114
IX. В городах Украины	126
X. «Начало»	142
XI. «Земля и Воля»	173
XII. Весна 1879 г.	186
